

СЕКС В ЭПОХУ ДЕКАДАНСА

пряные



НОЧИ

Олег Волховский

УДК 821.161.1-3Волховский О.
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
В68

Главный редактор Мария Григорян

Волховский, Олег.

Секс в эпоху декаданса : пряные ночи / Олег Волховский. — М. : Гелеос. — 320 с.

ISBN 978-5-8189-1551-7

Агентство СІР РГБ

Они здесь. Они ждут, когда придет блудница ночь. Когда при свете оплывающих свечей вновь оживет их страсти пыл неутоленный. И темные восторги расставанья станут нежней, чем смерть. И одиночество вдвоем утонет в чаше горького вина. И яд цикуты благосклонной прольется на постель, как в бездну. Кинжал и веер, цветы, камни... отразятся в зеркалах, в этих омуты порока. И из этих омутов и бездн выступят они. Окружат вас. Оплавят тело. Опалят душу. Останутся с вами, туша и зажигая свечу, плача, мечтая, умирая, — на все те пряные ночи, что вы проведете с этой книгой. С ними. Притаившимися под обложкой.

ОНИ ЗДЕСЬ.

Злой подросток Артур с неизменной трубкой в зубах, вонзающий нож в кисть Верлена, возвышенного поэта, раба абсента, сбежавшего от жены с любовником.

Денди и аристократ Шарль, уверенный в собственном превосходстве лишь тогда, когда совокупляется с худшими из проституток, ощущает себя не любовником, а хирургом или палачом.

Рыжеволосая и нежная красавица с хризолитовыми глазами, святая дева Зинаида Гиппиус, смеющаяся над своей славой гермафродита.

Серебряная влюбленность Дмитрия Мережковского — Ольга Флоренская.

Так похожая на египетскую царицу Тиах Маргарита Сабашникова — ангельская жена вечного девственника Макса Волошина. Непреодолимо прелестная Елизавета Дмитриева-Черубина — звонкая страсть Гумилева.

Михаил Кузмин с незабываемой греческой головой и похотливыми глазами, похожий то ли на Казанову, то ли на Калиостро, то ли на гробовой труп раскрашенной проститутки. А с Кузминым, конечно, Юрочка Юркун — его прекрасный Дориан, нежный Иосиф и взбалмошный Рембо...

ОНИ ЗДЕСЬ.

© Волховский О., 2008

© ЗАО «АГ Информэйшн Груп», 2008

© ЗАО «Издательский дом «Гелеос», 2008

Олег Волховский

СЕКС В ЭПОХУ ДЕКАДАНСА

пряные
НОЧИ

«Декадентство (декаданс) (франц. *décadence*, от ср.-век. лат. *decadentia* — «упадок» — обозначение течения в литературе и искусстве конца XIX — начала XX в., характеризующегося оппозицией к общепринятой «мещанской» морали, культом красоты как самодовлеющей ценности, сопровождающимся нередко эстетизацией греха и порока, амбивалентными переживаниями отвращения к жизни и утонченного наслаждения ею».

Российский энциклопедический словарь

«Поэт превращает себя в ясновидца длительным, безмерным и обдуманым приведением в расстройство всех чувств. Он идет на любые формы любви, страдания, безумия, он ищет себя. Он изнуляет себя всеми ядами, но всасывает их квинтэссенцию...»

Артур Рембо

«Сложно, почти невозможно писать о поэте, не впадая в его собственный стиль».

N.N.

Décadence. Упадок. Падение. Культ падения в омуты и бездны с непременным, настойчивым (чтобы не сказать истерическим) манифестированием восхождения, воспарения. Приобщения к высшему знанию — Мировой Душе. Обретения ясновидения. Постижения мирового процесса. Собираания пространства... Конечно, все это — не стиль, даже не течение, а настроение и тема.

Конечно, настроение. Меняющееся с непредсказуемой неизбежностью — качает черт качели мохнатою рукой. Меняющееся внезапно и стремительно — от скуки смертельной — к экстатической проповеди искусства как жизнетворчества. И — еще один взмах шатучей доски чертовых качелей — к отчаянию на грани безумия. Впрочем, почему же «на грани»? Ведь согласно декадентской эстетике — уж если идти-воспарять-падать — то до конца. До самого края бездны; до ее, морфологически не существующего, дна. До самой сути. До той грани, за которой поэту-провидцу-безумцу может открыться-явиться-пригрезиться... все что угодно.



Олег Волховский

Безумие писателя или художника (например, Мериона и Бодлера) способствует их популярности после смерти. Оно привлекает внимание к их творчеству, подобно тому, как гильотина взвинчивает цены на автографы тех, кто взошел на эшафот. Какая ирония! Декаденты всеми фибрами души противились буржуазности; предпочитали любые, самые разрушительные страсти обыденности. И заслужили такую эпитафию.

Впрочем, они и сами были мастерами и эпитафий, и эпитафам. Каждый союз, декларируемый как мистериальный, каждое падение в постель, как... да-да! все туда же!.. в бездну, было не только растворено в смутном воздухе поэзии, но осталось жить в дневниковых записях, мемуарах, (авто)биографической прозе...

Прозе? Отнюдь! Эти совокупления палача и жертвы; тройственные (и более) союзы; ангельские жены, вечные девственники, inferнальные супруги, прекрасные дамы, незнакомки, андрогины, оборотни... Эти любовные порчи, черные перстни, дружбы насмерть... Какая уж тут проза! (Разве что ритмическая.) И все это ни в коем случае не ради гедонизма, но для дерзновения и творчества.

Жизнь кружила и плясала без стыда, не оставив им ни единого шанса на покой, который они сами называли скукой и мещанством. И отплатила им сторицей за то, что они походя пренебрегали ею, полагая, что пренебрегают обыденностью: прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего. Жалкого — нет.

Теперь для них уже **на самом деле** нет настоящего. Но есть эти страницы, хранящие горькую красоту проклятых ночей тех, кого мы называем декадентами.

Кира Черкавская

БОДЛЕР

Париж. Сумерки. Площадь Пигаль. Район красных фонарей. Восемнадцатилетний франт, одетый как секретарь британского посольства, углубился в лабиринт улочек. Там и сейчас идешь между дверей с фотографиями полуодетых девушек в откровенных позах, и негры-швейцары в красных пиджаках призывно улыбаются любому прилично одетому иностранцу.

Сто пятьдесят лет назад все было так же, только вместо фотографий в витринах борделей висели фривольные рисунки, а их модели приставали к празднующимся господам.

Наш юноша худ, строен, у него крупный нос чуть с горбинкой, тонкие, плотно сжатые губы и тяжеловатый взгляд исподлобья. Его зовут Шарль. Недавно он сдал экзамены на степень бакалавра и заявил, что хочет стать писателем.

Мать и отчим приложили столько усилий, чтобы выбить из его головы эту дурацкую идею, словно следовали знаменитому совету Чехова (который еще не был дан): «Новорожденных же надо воспитывать так: обмыть, накормить и выпороть, приговаривая: “Не пиши, не пиши, не пиши!”»

Шарль уже не новорожденный — время было безвозвратно упущено.



Ему настоятельно советовали выбрать между армией и дипломатией. И он почти сдался и поступил на юридический факультет Парижского университета.

Шарль элегантен и безукоризненно аккуратен. На нем пиджак, длинный жилет, сшитый у модного портного, рубашка с белыми манжетами. Он предпочитает розовые перчатки и красит волосы в зеленый цвет. У него свой стиль дендизма, но он денди до мозга костей, по стилю и убеждениям.

И вот перед денди открываются двери одного из заведений. На диване ждут полуодетые коммерсантки Эрота. Он обводит их взглядом. У него необычный вкус. Шарль украшает себя и любит уродство, находя в совокуплении с уродливой женщиной особенное удовольствие: не только от секса, но и от подтверждения собственной оригинальности, а значит, исключительности. Он — ниспровергатель эстетических канонов.

Его взгляд останавливается на пышногрудой девице с косыми глазами и черными косами. Ее прозвище Косенькая. Она почти соответствует уродливому идеалу Шарля: косоглазие и болезненный цвет лица.

Трость денди слегка поднимается, указывая на черноглазую девицу.

— Вот эта! — равнодушно бросает он «мадам».

— Сара, иди! — приказывает хозяйка заведения.

Они поднимаются наверх, в комнату. Сара садится на кровать и начинает раздеваться, волосы волнами падают на плечи, как спелые виноградные гроздья, свисает грудь. Она еще и иудейка! Для убежденного аристократа Бодлера — презренная вдвойне. А значит, вдвойне желанная.

В этом есть что-то садомазохистское: быть денди и аристократом и совокупляться с худшими из проституток. Только так Шарль может быть уверен в собственном превосходстве.



Он садится рядом, берет ее грудь, припадает к ней и кусает соски.

Сара все равно. Опостылевшая работа! Еще один обезумевший от желания юнец, еще одна ночь в борделе, еще немного денег...

Но ему неважно ни то, что она чувствует, ни то, что думает. «Женщина — только прекрасное животное», — писал один из его кумиров — католический философ-традиционалист Жозеф де Местр. Шарля удивляет, как это женщинам дозволяется входить в церковь. О чем они могут говорить с Богом? Женщина вульгарна и примитивна, у женщины нет души. Только публичная девка полностью соответствует этим представлениям, и в борделях он получает еще одно тонкое удовольствие — полную убежденность в своей правоте.

Сара старается играть любовь как того требует профессия, быть ласковой и страстной. Но клиент морщится. Его мечта — фригидная женщина, холодная, как труп, которая позволяет овладеть собой только из равнодушия. Он останавливает ее ласки, разводит в стороны руки и прижимает к кровати. Он яростно входит в нее. Сокупление сродни пытке или медицинской операции. Он делает операцию, в которой участвует только тело и остается отстраненной душа, он пытается ее на грязных простынях борделя. Он не любовник — он хирург или палач. И сокупление — не наслаждение, а акт господства.

Сара сдается и не пытается имитировать оргазм, просто ждет, когда он закончит. Ей уже двадцать, и она опытная, она научена чувствовать желания клиента, какими бы странными они ни были.

Я эту ночь провел с еврейкою ужасной;
Как возле трупа труп, мы распростерлись с ней...

Да! Ему это и нужно! Бесстрастие, равнодушие, женщина без желаний. Ему кажется, что фригидность ее



возвышает. Он рассуждает как африканцы, практикующие женское обрезание и удаляющие девочке клитор и половые губы — чтобы половое влечение не унижало ее. Его бы полностью устроила такая черная африканка.

На пике экстаза в чрево публичной девки бьет горячая струя спермы. Впрочем, какой экстаз! Лицо человека во время оргазма отвратительно (тем более лицо женщины), — распад, а не экстаз, падение, а не воспарение. Да и любовь — только преступление, для которого необходим сообщник.

Он ложится рядом, кажется, он почти влюблен. Это тоже оригинально — сделать проститутку дамой сердца. В этом есть особая святость, особое величие. И величие, и святость — для самого себя, зачем ему другие оценщики?

Дамой сердца я выбрал не светскую львицу,
А влюбился в одну потаскушку-девицу.
От насмешливых взглядов и шуток вдали
Ее прелести лишь для меня расцвели...

После этого визита Шарлю понадобился врач. В возрасте восемнадцати лет будущий поэт заразился гонореей.

Бодлер был не в обиде на Косенькую за то, что она его заразила. Он продолжал посещать Сару и вспоминал ее в стихах, пока его мыслями не овладела другая — «черная Венера», мулатка* по имени Жанна Дюваль.

Но встреча с ней еще впереди. Родители не вынесли и двух лет пребывания Шарля в студентах. Они возмутились его разгульной жизнью, непомерным мотовством и полным небрежением к занятиям юриспруденцией. Лекарство нашли оригинальное и такое, которое восхитило бы девять из десяти начинающих литераторов — отправили в путешествие в Индию, надеясь уберечь от

* Некоторые исследователи считают ее квартеронкой.



«скользкой мостовой Парижа». С его выбором уже смирились. Ладно, пусть будет поэтом, но «черпает вдохновение из источников более возвышенных, чем дно Парижа».

Но не таким было вдохновение Бодлера, чтобы питаться возвышенными источниками. До Индии он не доехал, вернувшись с полдороги, и привез из путешествия только сонет-посвящение жене плантатора Отара Брагара и стихотворение «Альбатрос», которое потом войдет в сборник «Цветы зла».

Во время плаванья, когда толпе матросов
Случается поймать над бездною морей
Огромных белых птиц, могучих альбатросов,
Беспечных спутников отважных кораблей, —

На доски их кладут: и вот, изнемогая,
Труслив и неуклюж, как два больших весла,
Влачит недавний царь заоблачного края
По грязной палубе два трепетных крыла*.

Превосходно, но мало. Экзотика не трогала Шарля, новые впечатления раздражали, поездка казалась бесцельной и малоинтересной. Для вдохновения были нужны «скользкие мостовые Парижа», парижская атмосфера и парижское дно.

По приезде Шарль вступил в права наследства и почувствовал себя богатым человеком: оно составляло немногим меньше ста тысяч франков, которые он начал с упоением мотать на девок, портного, безделушки и еще бог знает на что, но с невероятной скоростью. Примерно через полтора года родственники с ужасом обнаружили, что от денег осталась едва половина.

Было решено учредить опекунский совет, чтобы уберечь Шарля от чудовищной расточительности. В суд подала его мать Каролина, что было расценено Шарлем

* Перевод Д. Мережковского.



как очередное «предательство», первым было ее замужество после смерти отца. Суд принял решение единогласно. С двадцати трех лет и до конца жизни Бодлер не имел права распоряжаться собственным наследством и постоянно кланчил деньги у матери и главы опекунского совета нотариуса Анселя.

И тогда он встретил свою «африканку».

Жанна Дюваль — статистка одного из парижских театров, она же — Жанна Лёмер. Рослая мулатка с «эбеновой» кожей, пухлыми губами, тяжелыми бедрами и смутными представлениями о морали. Экзотическая подруга, которая позволит выделиться из толпы и не мучиться угрызениями совести оттого, что он «оскверняет» ее в постели. Она женщина-демон. Что ее может осквернить?

Соблазнительна, волосы пахнут гаитянскими ночами, двигается, как дикая кошка, кожа — темный шелк. И она умеет играть равнодушие — сидит на постели и презрительно смотрит на него. То, что тебе от меня нужно, — нужно только тебе.

Денди, он ненавидит естественность, фетишист — он заставляет Жанну одеваться перед сексом. Он обнимает ее за затянутые тканью плечи и пробирается через лабиринт юбок к тому цветку, который ему угодно считать темным и грешным, цветку зла. Юбки обволакивают его, принимая в свои сети, а горячая и влажная цель почти не видна, а значит, можно вообразить что угодно, например, как он насилует коченеющее тело убитой им негрятки. Как холодеет и сжимается лоно, обнимающее член.

Странно он описывает любовь к этой южной женщине:

И в атаку бросаюсь я, жаден и груб,
Как ватага червей на бесчувственный труп.
О, жестокая тварь! Красотою твоей
Я пленяюсь тем больше, чем ты холодней!"

* Перевод В. Шора.



Еще один труп в его постели, еще одна холодная женщина.

Количество упоминаний могил, могильных червей, похоронных дрог, склепов, гниющей плоти, трупов и гробов в «Цветях зла» поражает воображение. Выбирая между эросом и танатосом, Бодлер отдавал несомненное предпочтение танатосу.

Жанна не была его единственной женщиной, он по-прежнему посещал веселые кварталы. И бог смерти снова победил — Шарль подхватил сифилис. Говорят, нарочно. Эта профессиональная болезнь декадентствующей богемы, которой умудрился заразиться даже не слишком любивший бордели молодой Оскар Уайльд, наиболее заразна на первой стадии, когда симптомы хорошо видны — это красные язвочки на губах, гениталиях и на груди. Знал ли об этом наш юный денди?

«Счастлив, как школьник, впервые подцепивший сифилис», — потом напишет он в дневнике.

Шарль создавал свою жизнь, как художественное произведение, столь же трагичное, как и его стихи. Болезнь придала его облику очарование увядания, туманную прелесть ранней осени, бледность и утонченность, отпечаток смерти. Он не представлял красоты, не «пронизанной горем», наконец-то став красивым в собственных глазах.

Долги Шарля неумолимо росли, сожитительство с вульгарной и агрессивной уличной девкой Жанной, с которой не было и не могло быть никакой духовной близости, трудно было назвать счастьем, а литературная слава существовала где-то сама по себе, лаская более трудолюбивых и целеустремленных юнцов вроде Теодора де Банвиля.

В июне 1845 года Шарль решил покончить с собой. Его намерения вряд ли были вполне серьезными, скорее корыстными — разжалобить родственников и слишком прижимистого нотариуса Ансея.



Но демонстративное самоубийство — весьма рискованно. По статистике, пятая часть завершённых суицидов — это демонстративные мероприятия, закончившиеся летальным исходом по неосторожности самоубийцы: дозу не рассчитал, стул опрокинулся, на подоконнике поскользнулся, рука сорвалась, откачать не успели. Впрочем, Шарль избрал способ, который трудно осуществить даже при наличии очень серьёзных намерений и анатомических знаний.

30 июня. Бодлер пишет письмо мэтру Анселю: «Когда мадемуазель Жанна Лёмер передаст Вам это письмо, я буду уже мертв. Она этого не знает... Я убиваю себя потому, что не могу больше жить, потому, что устал и засыпать, и пробуждаться, устал безмерно. Я ухожу из жизни потому, что никому не нужен и опасен для самого себя. Я ухожу потому, что считаю себя бессмертным, и потому, что надеюсь... Я завещаю госпоже Лёмер все, что имею, в том числе мебель и мой портрет, ибо она — единственный человек с которым душа моя отдыхала... Только в ней я нашел покой... Жанна Лёмер — единственная женщина, которую я любил, и у нее нет ничего».

Шарль запечатывает письмо и отдаёт Жанне. Они в кабаре на улице Ришелье. Зал полон народа, играет музыка, на сцене танцуют канкан, сверкают из-под пышных юбок изящные ножки, пахнет вином и табаком.

Шарль выхватывает нож и наносит себе удар в грудь.

Способ, конечно, романтичный — заколоться кинжалом, как древнеримский герой. И весьма любимый писателями, видимо, из-за красоты и трудности осуществления.

Для того чтобы попасть в сердце надо, как минимум, знать, где оно находится, уметь обращаться с холодным оружием, иметь тренированные руки воина и выдержку римского солдата. Иначе инстинкт самосохранения удержит руку и не даст нанести удар нужной силы, даже если



это будет настоящий кинжал, а не перочинный нож, как у Бодлера. Заколоться кинжалом для мирного поэта не легче, чем европейцу сделать себе сэппуку.

Шарль потерял сознание.

Жанна Дюваль попросила перенести раненого к себе. Рана оказалась просто смешной, подоспевший врач рекомендовал больному полный покой и объявил, что его жизни ничего не угрожает.

Жанна окинула любовника презрительным взглядом и ушла, заперев дверь. Шарль было оделся, чтобы пойти навестить мать, но обнаружил, что заперт, и принялся писать ей письмо. Мать тут же прибежала к нему, забыв об отвратительной мулатке.

«Самоубийство» все же дало некоторый результат — мать уговорила отца приютить Шарля в их апартаментах на Вандомской площади. Но поэт долго не выдержал и вскоре уже жил в гостиницах или снимал меблированные комнаты, изменяя с танцовщицами из труппы «Мабиль» своей «единственной любимой женщине» Жанне.

И посещал вечеринки у художника Буассара и его любовницы Марикс.

Развлечения в этом салоне были весьма экстравагантны: оргии и гашиш. Зато здесь собирался весь цвет парижской богемы: от Теофиля Готье до Бальзака. Последний, правда, так и не решился попробовать «зеленое варенье», взял чайной ложечкой шарик, величиной с орех, изучил, понюхал и вернул обратно.

Знакомство Шарля с гашишем произошло еще на заре отношений с Жанной Дюваль, и он знал, что почти сутки после употребления зелья человек не способен ни к какой полезной деятельности, а потому держался — он сотрудничал в газете «Корсэр-Сатан», и ему было нужно ясное сознание. Настоящее увлечение наркотиками еще впереди.



1852 год. Они вместе десять лет. И Жанна все больше раздражает. Красота ушла, исчезла грация и мягкость движений. Она похудела, стала костлявой, на лице появились морщины.

Когда-то Бодлер написал похвалу женской глупости: «Глупость часто служит оправой для красоты, это она придает глазам сумеречную прозрачность омутов и маслянистое спокойствие тропических морей. Глупость — это вечный страж красоты, она предохраняет от морщин, это божественная косметика, оберегающая наших кумиров от шрамов, которыми способность размышлять награждает нас, скверных мудрецов!»

Глупость оказалась плохим косметическим средством и худшим стражем красоты. Красота ушла, а страж остался, разжирел от безделья и затмил собой все. Шарль обнаружил, что живет с женщиной, с которой невозможно говорить ни о политике, ни об искусстве, которая не понимает его усилий и ни в чем его не поддерживает. Которая ни в малейшей степени не интересуется его занятиями и с радостью бы бросила в огонь все его рукописи, если бы это принесло больше денег, чем публикации. Которая пьет, кричит на него и считает чем-то вроде вещи. Которая изменяет ему с кем попало.

Они ссорятся даже по мелочам. Как-то Жанна вышвырнула на улицу его любимую кошку и притащила взамен собаку, которых он терпеть не мог. Ссоры переходят в драки. «Я очень рад, что в доме нет никакого оружия, — признается он матери, — я думаю о тех моментах, когда мне трудно совладать с собой, а также о той ужасной ночи, когда я разбил ей голову консолью».

Наконец он произносит приговор: «Она мешает совершенствованию моего духа». И решается расстаться с ней и выставляет за дверь. Но считает себя обязанным ее обеспечивать. Навещает и каждый раз приносит деньги. «Я дважды проел ее драгоценности и ее мебель, —



вспоминал он, — заставлял залезать из-за меня в долги и подписывать векселя...»

Инфернальный поэт Бодлер будет обеспечивать Жанну до самой смерти, сам едва не умирая от голода, и на собственные деньги похоронит ее мать.

После расставания с Дюваль в жизни Шарля начинается очередная любовная история. Его новая возлюбленная далеко не глупа, очаровательна и известна в литературных кругах. Это дама полусвета Аглая Сабатье, известная также как Аполлония и Президентша. Она любовница промышленника Альфреда Моссельмана. В доме номер 4 на улице Фрошо, оплаченном предпринимателем, у нее собираются известнейшие поэты, писатели и художники Парижа.

Видимо, впервые Шарль увидел ее изваянной в мраморе на Салоне 1847 года. Скульптура Клезенже была сделана по заказу Моссельмана, жаждавшего похвастаться очаровательной возлюбленной. Для этого сняли слепок с ее тела, соблюдая мельчайшие детали.

Обнаженная молодая женщина лежит на ковре из роз, голова запрокинута назад, глаза закрыты. На запястье — маленькая змейка, словно браслет. От ее укуса девушка потеряла сознание. Скульптура называется «Женщина, укушенная змеей». Но сладостный изгиб тела, соблазнительного и зовущего, положение рук и выражение лица более напоминают о любовной истоме, чем о предсмертных муках. Змейка — только для отвода глаз, для обмана придирчивой цензуры.

Бодлеру понравилось, что ее укусила змея, что она умирает.

Реальная госпожа Сабатье оказалась слишком живой. Она весела и остроумна. У нее правильные черты лица, пухлые губы, вечно озаренные улыбкой, шатеновые волосы, спадающие на плечи мягкими волнами. Она вся лучится счастьем и распространяет вокруг этот свет.



В декабре 1852 года Бодлер посвятил ей стихотворение «Слишком веселой», полное эротических намеков, настолько откровенных для этого ханжеского времени, что его запретил суд.

Преподнести не решился, отправил без подписи и приложил записку с объяснением в любви: «Тот, кто написал эти стихи в привычных своих мечтах о ней, любил ее с необыкновенной силой, никогда не признаваясь ей в этом...»

Он посылает стихотворение за стихотворением, письмо за письмом, признание за признанием, он продолжает посещать ее салон, любит ее, желает ее, он восхищен и раздражен одновременно. Ее веселость кажется ему достойной наказания, слишком чистой, слишком живой. У нее нет той басовой струны, что дает возможность наслаждаться горем и любить уродство, и это и очаровывает, и бесит.

Письма он по-прежнему не подписывает, но она уже обо всем догадалась и хранит молчание только из чувства такта.

Спустя пять лет эту историю ждет неожиданная и странная развязка, а пока Шарль не удовлетворяется платонической любовью к госпоже Сабатье. В его жизни есть еще одна женщина — довольно успешная актриса Мари Добрен.

Зеленоглазая блондинка, чуть более пышная, чем полагалось по моде того времени, она умела очаровывать публику и играла во многих пьесах одновременно. В том числе в пьесе Филоксена Буайе и Теодора де Банвиля, и была любовницей последнего. Весной 1854 года она играла на сцене театра «Гете», а Бодлер частенько появлялся в ее гримерной. Это была очередная любовь-обожание.

Шарль пригласил ее в ресторан, умолив мать оплатить обед, а потом выпрашивал у матери деньги на подарки для возлюбленной. Каролина не скупилась, довольная тем, что сын наконец порвал с Жанной.



Он был готов для возлюбленной на все. Мари хотела получить роль в новой пьесе Жорж Санд, которую собирались ставить в театре «Одеон», и Бодлер решился просить писательницу о покровительстве, хотя яростно ненавидел ее. «Тот факт, что несколько мужчин втюрились в это отхожее место, доказывает лишь глубину падения мужчин нашего века», — писал он о Жорж Санд в своей книге «Обнаженное сердце». Однако его прошение выдержано в совершенно другом тоне: «Нужно ли говорить о моем восхищении Вами и о чувстве глубокой признательности, которое я заранее испытываю».

Жорж Санд по доброте душевной и от неосведомленности о его истинных чувствах приложила все усилия, чтобы роль досталась Мари Добрен. Но успеха не имела, постановщик счел актрису слишком полной для этой роли, и ее кандидатура была отклонена.

Бодлер решил, что во всем виновата отвратительная «резонерша» Жорж Санд, которая специально подстроила, чтобы роль не досталась Мари, и в ярости написал на ее письмо: «Госпожа Санд обманула меня и не сдержала обещания» — и подчеркнул сделанную ею грамматическую ошибку.

На этом закончилась его недолгая связь с Мари Добрен, так и оставшаяся платонической. Мари разочаровалась в своем поклоннике и вернулась к Теодору де Банвилю, а Бодлер — к Жанне Дюваль.

И все началось сначала: пьянство, скандалы, ссоры. Их новая связь не продлилась и года. Жанна ушла от него, оставив Шарля в состоянии, близком к отчаянию. «Десять суток я не спал, меня тошнило, я был вынужден прятаться, потому что я все время плакал», — писал он матери.

1857 год — пиковый в жизни Бодлера. В апреле скончался ненавистный отчим генерал Опик, а в июне опубликованы знаменитые «Цветы зла». Но не все так радужно. В официальных изданиях появляются рецензии на



книгу, больше похожие на доносы. В высшем обществе ходят слухи, что тираж будет арестован. 7 июля Главное управление общественной безопасности (департамент Министерства внутренних дел) составляет заключение о том, что «Цветы зла» «бросают вызов законам, защищающим религию и нравственность». Книга объявлена порнографической и богохульной.

Когда читаешь запрещенные по суду стихи Бодлера, испытываешь некоторое недоумение: а за что, собственно, их запретили? По нашим временам, они не тянут даже на мягкую эротику. А большинство — целомудренное викторианство. Сегодня, чтобы шокировать читателя, надо, как минимум, залить фекалиями партер Большого театра или зажарить и съесть шестнадцатилетнюю девушку. Представьте себе, что будет лет через сто пятьдесят. Читатели только плечами пожмут над произведениями Сорокина: а почему их, собственно, пытались сжигать?

И с чего это привлекали к суду автора эротико-наркоманских романов Баяна Ширынова?

Вторая империя не отличалась снисходительностью к писателям. Примерно за полтора года до суда над Бодлером в феврале 1856 года Ксавье де Монтепена приговорили к трем месяцам тюрьмы и штрафу в пятьсот франков за «Гипсовых девушек». А несколько месяцев назад, в феврале 1857 года состоялся суд над Гюставом Флобером за «безнравственный» роман «Госпожа Бовари». Но благодаря заступничеству принцессы Матильды автор был оправдан.

Бодлер узнал о постановлении управления общественной безопасности, но был обеспокоен не столько процессом, сколько судьбой «Цветов».

«Скорее спрячьте — причем спрячьте как следует — весь тираж, — писал он издателю. — Вот к чему приводит нежелание всерьез заниматься распространением



книги. Если бы вы сделали все, что нужно, мы, по крайней мере, могли бы утешаться тем, что распродали весь тираж за три недели, а процесс — который, кстати, не так уж опасен — принес бы нам только славу».

За два дня до суда Шарлю пришло в голову, что ему бы тоже, как Флоберу, не помешала покровительница — очаровательная женщина с неплохими связями. Знакомых принцесс у него не было, зато он вспомнил о госпоже Сабатье, которой посвятил столько стихов, вошедших в «Цветы зла», тем более что лучшее из этих стихотворений «Слишком веселой» собираются объявить безнравственным и запретить.

18 августа он шлет ей экземпляр «Цветов» на голландской бумаге в светло-зеленом переплете с сафьяновым корешком и прилагает к нему письмо, где наконец раскрывает инкогнито, в очередной раз объясняется в любви и молит о помощи:

«В четверг я видел моих судей. Не скажу, что они хороши собой; нет, они на редкость безобразны, и душа, должно быть, подстать телу.

Флобера защищала императрица. Мне недостает женщины. И вот несколько дней назад мною овладела странная мысль: а вдруг Вы, с Вашими связями и знакомствами, смогли бы — пусть не напрямую, а через посредников — образумить этих тупых скотов...

Помните, что кто-то живет мыслями о Вас, что в мыслях этих нет ничего пошлого и что этот кто-то немного сердит на Вас за Ваше насмешливое веселье...

Прощайте, сударыня, благоговейно целую Ваши руки.

P.S. Все стихи с 84 по 105 страницу — Ваши».

Не поздно ли? Неужели не очевидно, что за два дня ничего не сможет изменить и женщина более влиятельная, чем дама полусвета госпожа Сабатье?

Скорее всего дело не в возможном покровительстве бывшей музы — Бодлер ждал подарочный экземпляр



книги, который можно будет красиво преподнести и красиво надписать: «Той, что всех добрей и драгоценней».

Не мольба о спасении, не объяснение в любви, а всего лишь очередной поворот сюжета его жизни, очередное проявление эстетства и дендизма.

Но госпожа Сабатье была польщена и объяснением, и тем, что ей предлагали роль принцессы-заступницы, и все приняла за чистую монету. И начала действовать.

Смогла добиться аудиенции у советника Кассационного суда Луи-Мари де Белейма, но он не захотел рисковать репутацией.

Суд состоялся 20 августа 1857 года в зале, где обычно судили мелких воришек, пьяниц, хулиганов, сутенеров и проституток. Речь прокурора была сдержанной, полной цитат из «Цветов зла» и скорее напоминала речь защитника: «Будьте снисходительны к Бодлеру... Но осудите, по крайней мере, некоторые стихи из книги, поскольку необходимо сделать предупреждение». Выступление адвоката успеха не имело. Бодлер был признан виновным и приговорен к штрафу в триста франков, который потом, видимо, по ходатайству императрицы и воле нового генерального прокурора (отца адвоката Бодлера), был снижен до почти символических пятидесяти. Худшим было постановление суда, запретившее шесть стихотворений сборника: «Украшения», «Лету», «Слишком веселой», «Проклятых женщин», «Лесбос» и «Метаморфозы Вампира». Зато весьма сомнительные с точки зрения христианства «Отречение святого Петра», «Авеля и Каина», «Вино убийцы» и «Литании Сатане» — суд пощадил. Молиться Сатане уже было можно, а писать о сексе — еще нет.

Запрет был снят только 31 мая 1949 года, почти через сто лет.

Бодлер гордился тем, что книга все равно продается, «тайно и за двойную цену». Он хотел этого суда и этого осуждения, по крайней мере, подсознательно. Верил в



то, что скандал может стать началом успеха, создавал себе репутацию и наслаждался ролью жертвы.

Вполне классический мазохизм. Точнее садомазохизм. Стремление к страданиям и несчастьям, любовь к безобразному и стремление наказывать слишком счастливых, слишком жизнелюбивых и слишком веселых.

«Когда придет блудница-ночь
И сладострастно вздрогнут гробы,
Я к прелестям твоей особы
Подкрасться в сумраке не прочь;

Так я врасплох тебя застану,
Жестокий преподав урок,
И нанесу я прямо в бок
Тебе зияющую рану;

Как боль блаженная остра!
Твоими новыми устами
Завороженный как мечтами,
В них яд извергну мой, сестра!» —

писал Шарль в запрещенном стихотворении «Слишком веселой». Эротика? Несомненно! Четко по Фрейду. Удар холодным оружием означает половой акт. Но причем здесь «жестокий урок» и яд?

Госпожа Сабатье чувствовала себя не оправдавшей надежд и не исполнившей миссию заступницы. И сочла себя обязанной вознаградить верного поклонника и утешить осужденного.

Несчастливая жертва судейского произвола оказалась в ее постели то ли в день суда 20 августа, то ли неделей позже, причем совершенно того не желая.

Аглая сама предложила ему себя. Шарль был смущен, но отказать не мог.

И вот, они наедине. Госпожа Сабатье позаботилась о соблюдении секретности — никто не знает, где они. На



окнах тяжелые шторы, постель с дорогим покрывалом, запах духов.

Она целует его, берет за руку и ведет к кровати. Начинает раздеваться. Платье, сшитое по эскизу знакомого художника, ползет с плеч, и рассыпаются по плечам шатеновые волосы с золотым отливом, и пламя свечей играет на их крупных волнах. Чуть раскрываются губы и зовут его:

— Шарль!

Тот самый очаровательный голос, что пленял парижских богачей и людей искусства.

Что же он? Восхищен тем, что, наконец, будет обладать своей богиней?

Ничуть не бывало. В его сердце только страх и отвращение. Богиня желает его, как обычная человеческая самка, как животное, как сука? Как можно было принять ее за богиню. Шарль до смерти боится, что у него не получится.

Она обнажена. Ей уже тридцать пять, и тело утратило бывшее совершенство мраморной статуи. Богиня растолстела: слишком объемистые бедра, слишком тяжелый бюст. Но в этом ли дело? Бодлеру нравились пышные женщины, Мари Добрен тоже не была худышкой. Скорее его пугает страсть.

Но дело надо доводить до конца. Он раздевается и ложится рядом. Обнимает ее, целует грудь, припадает к соскам. Он нетороплив, ему и самому нужно возбудиться. А она уже закрыла глаза, прикусила нижнюю губу и стонет, как довольная кошка.

Мужчина, который не слишком хочет секса, может удовлетворить женщину гораздо лучше того, кто слишком страстен. Он не так стремителен и дает ей время, чтобы медленно, по-женски, маленькими шажками приблизиться к точке наивысшего наслаждения.

— Шарль, — стонет она. — Войди в меня, Шарль. Я больше не могу терпеть!



Он только подчиняется, как раб, как мальчик. А она уже выгибается и вздрагивает под ним.

Может быть, ему стоило тоже закрыть глаза? Как же отвратительно лицо женщины во время оргазма!

Аглая в восторге, она без памяти влюбилась в своего поэта: «Могу сказать без опасения услышать от тебя упрек в преувеличении, что я самая счастливая женщина на свете, что никогда еще я не ощущала с такой остротой, как сейчас, что люблю тебя, что никогда еще ты не представлялся мне таким красивым и таким желанным, таким обожаемым моим другом».

Бодлер испугался пуще прежнего. Уж не собирается ли эта сумасшедшая похотливая особа бросить ради него своего промышленника? На что они будут жить!

А госпожа Сабатье пишет ему новое письмо: «Мне кажется, что я твоя с первого же дня, как тебя увидела. Делай что хочешь, но я твоя и душой, и сердцем, и телом».

Нищета? Необходимость уединения для работы писателя? Уж не надуманно ли это?

Он просто боится любви. Его не должны любить, быть любимым не входит в его сценарий. Он сочиняет трагедию для театра под названием жизнь с собою в главной роли. Он не сочиняет водевилей.

«Я уничтожил тот поток ребячеств, который собирался обрушить на Вашу голову, — отвечает он. — Я счел его недостойным Вас, дорогой и любимой. Я еще раз перечел Ваши два письма и отвечаю на них заново. Для этого мне нужно, пожалуй, набраться храбрости, потому что нервы у меня расшатались вконец, хоть плачь: посреди ночи я проснулся во власти необъяснимого беспокойства, а началось это еще вчера вечером, у Вас... Есть люди, готовые упрятать в тюрьму всякого, кто не платит им по векселям; а вот тех, кто нарушает клятвы в дружбе и любви, никто не наказывает.



Поэтому я Вам и сказал вчера: “Вы меня забудете; Вы меня предадите; тот, кто сегодня Вас забавляет, завтра Вам наскучит”. А теперь я добавляю: “Мучиться будет только тот, кто как дурак всерьез принимает дела сердечные”. Как видите, драгоценная моя красавица, у меня в отношении женщин мерзкие предрассудки. Одним словом, я Вам не верю. Душа у Вас прекрасная, но, что ни говори, женская».

Он ссылается на связь Аглаи с Моссельманом («мы оба боимся огорчить порядочного человека, которому выпало счастье быть всегда влюбленным») и на свои отношения с Жанной, с которой уже почти не встречается («есть узы, которые трудно разорвать»). И, наконец, доходит до самой сути: «Еще несколько дней назад ты была богиней, а это так удобно, так прекрасно, так нерушимо. А теперь ты женщина».

Удобно! Видимо, это ключевое слово. Аглая Сабатье была удобным трамплином для его вдохновения. В остальном отношения с ней могли только привести к лишним проблемам.

Бывшая богиня все поняла: «Послушайте, милый, хотите, я скажу Вам правду, правду жестокую и для меня мучительную? Мне кажется, Вы меня не любите. Отсюда все эти страхи, это нежелание длить связь, которая в этом случае стала бы для Вас обузой, а для меня — нескончаемой пыткой... Вы не верите! Значит, Вы не любите».

До середины сентября Бодлер шлет ей многочисленные записки вполне невинного содержания: извиняется, что не сможет встретиться, приглашает в театр, дарит безделушки. И неизменно подписывается: «Ваш преданный друг и слуга».

Аглае быстро надоедает эта игра: «Что за комедию, а вернее, драму мы разыгрываем? Мой рассудок отказывается понимать... Для такой неотесанной особы, как я,



это чересчур тонко. Объясните мне, друг мой, я просто хочу понять. Что за могильный холод подул на наше прекрасное чувство?»

Она начинает ревновать к Жанне Дюваль: «Что мне думать, когда я вижу, как ты избегаешь моих объятий? Лишь одно: ты думаешь о другой, чье черное тело и черная душа встают между нами... Меня сжигает ревность, а в такие моменты трудно быть рассудительной. Ах, милый друг, я хочу, чтобы Вы не знали таких мучений. Какую дикую ночь я провела и как я проклинала эту жестокую любовь!.. Как чувствует себя то, что осталось от Вашего сердца? Мое успокоилось. Я его всячески урезаю, чтобы не слишком надоедать Вам со своими слабостями. Вот увидите! Я сумею умерить жар моего сердца — до температуры, о какой Вы мечтали...»

Она сдержала обещание. Их отношения вернулись в спокойную светскую колею. Быстротечный роман был забыт.

Бодлер снова одинок. На его долю остались недолгие периоды покоя под крылом у обожавшей матери в ее имении в Онфлере на берегу моря, вялые отношения с Жанной Дюваль и все более близкое знакомство с наркотиками.

Там, в гашишном раю — настоящая яркая жизнь. Там он перестает существовать и растворяется в мире. «Ваш глаз останавливается на стройном дереве, раскачивающемся от ветра: через несколько секунд то, что вызвало бы только сравнение в мозгу поэта, становится для вас реальностью, — пишет он. — Вы переносите на дерево ваши страсти, ваши желания или вашу тоску; его стоны и раскачивания становятся вашими, и вскоре вы превращаетесь в это дерево. Точно так же птица, парящая в небесной лазури, в первый момент является как бы олицетворением вашего желания парить над всем человеческим; но еще момент — и вы превратились в эту пти-



цу. Вот вы сидите и курите... и вот, в силу какой-то странной перестановки, какого-то перемещения или интеллектуального переворота, вы вдруг почувствуете, что вы испаряетесь, и вы припишете вашей трубке (в которой вы ощущаете себя сжатым и сдавленным, как табак) поразительную способность курить вас...»

Вихрь мыслей уносит его, и минуты растягиваются в вечность.

«Он поработен; но, к несчастью, поработен самим собою, — записывает Бодлер, — той частью своего «Я», которая господствовала в нем; он хотел сделаться ангелом, а стал зверем, в данный момент могущественным зверем, если только можно назвать могуществом чрезмерную чувствительность при отсутствии воли, сдерживающей или направляющей ее».

После 1857 года он написал только стихотворения в прозе «Парижский сплин», эссе о наркотиках «Искусственный рай», несколько стихотворений для переиздания «Цветов зла», дневники и критические статьи.

Его сифилис прогрессирует, и врач выписывает ему шафранно-опийную настойку, без которой он вскоре не сможет обходиться: «Единственное, что мне улыбается, — это пузырек с шафранно-опийной настойкой, моей старрой и зловещей подругой, как все подруги, увь, щедрой на ласки и на предательство».

Остальные подруги так и не принесли ему ни счастья, ни покоя, а теперь не приносят и вдохновения: уличные девки не оставляют следа в душе, Жанна неумолимо проваливается в прошлое, она больна, наполовину парализована и вызывает только жалость, а светские красавицы не желают удовлетворяться платонической любовью. В заметках «Мое обнаженное сердце» он упоенно мстит всем: «Женщина — это противоположность денди. Следовательно, она должна внушать отвращение. У женщины возникает чувство голода — и она хочет есть».



Жажда — и она хочет пить. У нее течка — и она хочет, чтобы с ней совокуплялись. Великая заслуга! Женщина естественна, то есть омерзительна. Вот почему она всегда вульгарна, то есть является полной противоположностью денди».

Стареющий денди сидит в открытом парижском кафе. Седые волосы зачесаны назад, он гладко выбрит, у него отмытые до белизны руки и ухоженные ногти.

Один. Перед ним кружка пива. Набивает трубку табак и курит. Он популярен среди молодежи, в воздухе витает аромат бодлеризма, и иногда к нему подходит какой-нибудь неофит и начинает читать стихи. У Бодлера резкий голос и менторский тон. И он больше похож на священника, чем на проклятого поэта.

В 1864 году он уезжает в Бельгию читать лекции. Но страна вызывает отвращение, а лекции проходят при пустых залах. В отместку Шарль начинает писать злобные и пропитанные желчью записки под названием «Бедная Бельгия!»

Между тем он болен. Бодлер прекрасно знает, что у него сифилис, но не говорит врачу о причине болезни. И его лечат от истерии прогулками на свежем воздухе, ваннами, минеральной водой и запретом на пиво, чай, кофе и вино. У него страшные головные боли, приступы удушья, головокружений и рвоты. А после — чудовищная апатия.

В середине марта 1866 года голова закружилась прямо в церкви Сен-Лу, и он упал на каменный пол. Друзья помогли подняться, и он объяснил падение тем, что поскользнулся. Они сделали вид, что поверили. На следующее утро у Бодлера появились признаки помутнения сознания.

В начале апреля он уже в больнице. Это клиника монахинь-августинок в Брюсселе. У него паралич правой стороны тела. Но сестры не желают держать у себя боль-



Олег Волховский

ного, который знает только слово «нет». Бодлер отказывается от всего: от возвращения в Париж, от поездки к матери в Онфлер, от пищи, от благословений, от крестных знамений и молитв. Монахиням трудно держать у себя неверующего человека, и мать вынуждена забрать его. Стоило Шарлю выйти из палаты, как сестры опрыскали святой водой его кровать и пригласили священника освятить помещение.

29 июня Бодлера перевезли в Париж. Он почти не мог говорить и объяснялся знаками; его единственными словами остались «Нет, черт возьми, нет!» и «Проклятие!»

Он умер спустя 14 месяцев в клинике доктора Эмиля Дюваля неподалеку от Триумфальной арки 31 августа 1867 года.

В 1870 году было издано полное собрание сочинений Бодлера, которого привлекло внимание публики к поэту, последний сборник которого «Обломки» был опубликован тиражом всего в 260 экземпляров. А спустя еще девять лет Эдмон де Гонкур, раздосадованный популярностью поэтов, которых практически не замечал при их жизни, написал в своем «Дневнике»: «Безумие писателя или художника (например, Мериона и Бодлера) способствует их популярности после смерти. Оно привлекает внимание к их творчеству, подобно тому, как гильотина взвинчивает цены на автографы тех, кто взошел на эшафот».

ВЕРЛЕН И РЕМБО

Артюр Рембо ненавидел Шарлевиль.

Архитектура XVII века на Герцогской площади — дома с галереями квадратных колонн, высокие крыши и шпиль — туманы, лежащие в горах, заросли желтых цветов на склонах и солнечные лучи веером сквозь листву.

Арденны. Шарлевиль. Его родина.

Да как он мог не любить все это!

Русского путешественника, впервые оказавшегося за границей, поначалу восхищает все, тем более русского писателя. Для него земля Франции почти святая — символ утонченности и литературной моды, и он готов вслед за Жанной д'Арк воскликнуть: «Прекрасная Франция!»

Быть может, Шарлевиль был ненавистен Рембо германским духом. Арденны — полунемецкий департамент, неоднократно переходивший из рук в руки. И домики здесь, как в Германии, — белые двухэтажные мазанки с коричневыми бревнами перекрытий.

Только человек, полностью оторвавшийся от корней, начинает любить «фольк» и находит его романтичным: аристократ, буржуа, интеллигент в третьем поколении. Бывший крестьянин, только что ставший горожанином, — никогда. Для него это слишком близко, слишком привычно, как горшок и ухват, слишком ненавистно и презренно. Рембо был слишком провинциалом, чтобы любить провинцию.



Там жила его мать Витали Кюиф. Он ненавидел Шарлевиля, как и ее.

Она была чопорна, строга, упряма, носила только черные траурные платья и заставляла ходить парами четверых детей, а за малейшую провинность сажала на хлеб и воду. Воспитывала их одна, муж оставил ее беременную младшей сестрой Артюра Изабель, и она тут же заказала себе визитные карточки с надписью «вдова Рембо».

Итак, в приличном квартале Шарлевиля, куда семья перебралась из пролетарского района, на засаженном каштанами и застроенном особняками Орлеанском бульваре живет злой подросток по имени Артюр. Ему шестнадцать, а за спиной блестящие успехи в колледже, награды за латинские стихи и знание катехизиса, несколько побегов из дома, один из которых закончился кратковременным арестом, и проект коммунистической конституции собственного сочинения.

Он пишет стихи. Теперь уже по-французски. У него есть публикации, но этого мало, чтобы прорваться в литературный мир. Он рассылает свои вирши знаменитым поэтам. Начинает с Теодора де Банвиля, тот отвечает, но не торопится публиковать. Поль Верлен не столь авторитетен, зато менее завистлив и готов покровительствовать. Он восхищен.

Из письма Верлена сохранилось только две строки, и биографы Рембо цитируют ту или другую в зависимости от отношения к своему герою. Первая звучит и в знаменитом фильме «Полное затмение»: «Приезжайте, дорогая великая душа, вас призывают, вас ждут!» Вторая фраза менее напыщенна и не вяжется с первой: «Чувствую запах вашей ликантропии».

Ликантроп — оборотень, человек-волк или человек, вообразивший себя волком. Верлен сам не воспринимает всерьез свои слова, подтрунивает над пристрастием



Рембо к научной лексике, иронизирует, слегка издевается. Но как он прав!

Мать купила Артюру новый костюм, но денег не дала, и ему пришлось занять у друзей двадцать франков на билет.

Сентябрь 1871 года. Сквер с желтыми листьями под бирюзовым небом. Тепло и солнечно. Рембо прохаживается по платформе, поглядывая на вокзальные часы. Легкий ветер трогает длинные каштановые волосы и играет небрежно повязанным галстуком. Артюр полон самых радужных надежд: его примут, признают, восхитятся, и он заткнет за пояс всех: от Гюго до Леконта де Лиля.

Оставим пока нашего героя на вокзале Шарлевиля и вернемся к его парижскому корреспонденту — Полю Верлену. Кто он? И чего ждать от него злому подростку Рембо?

Поль был балованным ребенком, желанным и долгожданным. До него у матери было три выкидыша, и она хранила не рожденных детей заспиртованными в банках и показывала сыну «братиков». Однажды в минуту ярости он разбил эти сосуды, и она со слезами похоронила трупики в саду. Вспышки необузданной ярости будут повторяться и очень дорого ему обойдутся.

Полю двадцать шесть. У него землистый цвет лица, монгольский разрез глаз, посаженных слишком глубоко, выступающий лоб и скулы. К тому же он начинает лысеть. Но веселость и обаяние компенсируют недостатки внешности.

Он выпустил три сборника стихов и пережил две великих любви. Первая — влюбленность в двоюродную сестру Элизу — уже закончилась трагически. Мать Элизы Монкобль умерла во время родов, и девочка воспитывалась в доме Верленов как приемная дочь. Ей было восемь лет, когда родился Поль. Она любила его, как мать.



В психологии это называется «детским любовным треугольником»: маленький мальчик любим сразу двумя женщинами: мамой и бабушкой, мамой и тетей, мамой и сестрой. И потом в течение жизни он пытается вернуться к этой блаженной ситуации детства. Полю Верлену для счастья всегда нужно было минимум двое возлюбленных одновременно, мужчины это или женщины.

Элиза Монкобль была уже замужем, когда брат Поль начал домогаться любви, и быстро пресекла его попытки, но не умерила пыл. Он посвящал ей стихи, которые она принимала вполне благосклонно, и дала денег на издание первого поэтического сборника «Сатурнические стихотворения».

Элиза умерла в феврале 1867 года, видимо, от передозировки наркотиков. После выкидыша ей давали морфий, и она пристрастилась к нему. Муж попросил ее спеть, но она поднялась из-за стола и потеряла сознание, не успев начать.

На ее смерть Верлен написал поэму «Побежденные». Георгий Шенгели назвал ее «потрясающей силы поэмой о коммунарах», то ли не обратив внимания, что коммуна была четыре года спустя, то ли солгав «во спасение», надеясь хоть так протащить в печать символиста и декадента Верлена. Все равно не протащил: его переводы пролежали в столе пятьдесят лет.

Вторая любовная история началась примерно через год после смерти обожаемой сестры. Верлена познакомили с двадцатилетним композитором Шарлем де Сиври, у которого была юная сводная сестра Матильда Моте де Флервиль. В советской историографии ее часто называли «ничем не примечательной мещаночкой». Это, как минимум, несправедливо. Ее мать когда-то была знакома с Шопеном и Вагнером, а она сама наивно признавалась, что «обожает поэтов» и читала стихи Верлена еще до знакомства с ним.



Июнь 1869 года. Верлен идет навестить Шарля. Кривая улица Монмартра спускается по склону холма. Закатное солнце сквозь листву, решетка сада. Трехэтажный дом семейства Моте. Там много таких тонущих в зелени особняков.

Поль позвонил, и его провели на третий этаж, в маленькую комнатку композитора.

Они решили пойти поработать в кафе Дельта. Там и сейчас район богемных кафе: увитые цветами, подвальные, крошечные и недоступно дорогие. И возвышается над всем мельница самого знаменитого — Moulin de la Galette («Мельница печенья») с сияющим названием над аркой ворот, ведущих в сад.

Друзья собрались и уже предвкушали опьянение то ли творчеством, то ли абсентом, когда в дверь постучали.

Это была очаровательная девушка, даже девочка. Слишком хрупкая, она не выглядела на свои шестнадцать. София-Мария-Матильда — та самая сводная сестра Сиври. В актрисе, которая играет ее в фильме «Полное затмение» есть что-то вульгарное. Старинные фотографии дают совсем другой образ: аккуратная прическа, нитка бус в волосах, маленькие серьги-жемчужины, и глаза, смотрящие куда-то ввысь, словно в молитве, — портрет ангела или святой. С нее хочется писать аллегорию Чистоты и Невинности.

— Шарль, почему тебя не было за обедом? — спросил ангел. — Мы беспокоимся. Как ты себя чувствуешь?

Шарль провел бурную (в творческом плане) ночь, он до утра играл на фортепьяно в одном из богемных салонов, и обед проспал.

— Познакомься, это поэт Верлен.

Было довольно нескольких фраз, чтобы Поль понял, что влюблен. На следующий день он отправил ей «Сатурнические стихотворения»: «Мадемуазель Матильде



Моте де Флервиль от любящего и верного друга — Поля Верлена».

Влюбленный поэт страдал. Он никогда не обманывался по поводу своей внешности. Прекрасно помнил все эпитеты, которыми награждали его и друзья, и недруги: «орангутанг, сбежавший из зверинца», «голова скелета, обросшего мясом», «омерзительная физиономия оскотинившегося преступника».

Одно дело двоюродная сестра, которая любила его с детства, и совсем другое — юная девушка, слишком прекрасная для того, чтобы быть рядом с ним.

Он страдал, а потому пил — испытанный способ борьбы с комплексами и неуверенностью в себе. Пьяный Верлен преображался: мягкость и застенчивость сменяли безудержные вспышки ярости.

Как-то пришел домой пьяным в пять утра, выхватил саблю и охотничий нож из отцовской коллекции и стал угрожать матери:

— Я убью тебя!

Тогда же он разбил тростью сосуды с «братиками».

Его мать уехала из дома и была вынуждена скрываться у друзей.

Наконец Верлен написал Шарлю де Сиври и попросил руки Матильды. Официального ответа от ее родителей он не получил, зато Шарль обнадежил: «Сватовство не отвергнуто категорически».

Матильда с родственниками уехала на два месяца в Нормандию, а Верлен писал ей пылкие письма и посвящал стихи. Об алкоголизме, вспышках гнева и угрозах убить мать девушка, к несчастью, не знала и все больше поддавалась обаянию поклонника. Сначала письма передавал Шарль, потом она выпросила у матери разрешения отвечать Верлену.

Осенью 1869 года влюбленные посещали многочисленные вечеринки и литературные гостиные, как прави-



ло, в сопровождении Шарля де Сиври или матери Матильды госпожи Моте. Литературные вечера проходили и у госпожи Верлен, и на них царила Матильда. Она была влюблена. Верлен не слишком красив? Зато весел, умен, обаятелен, и его ждет литературная слава. Матильда без колебаний отказала нескольким ухажерам.

Свадьба состоялась 11 августа 1870 года, несмотря на начало войны с Пруссией. Со стороны невесты свидетелями были драматург Поль Фуше (шурин Виктора Гюго) и ученый-востоковед Седильо.

На Монмартре, в особняке на улице Николя, их ждал праздничный обед. Потом чай. Шарль де Сиври сел за фортепьяно, потом они играли с Матильдой в четыре руки. А Верлен нетерпеливо ждал десяти вечера, когда молодым, наконец, позволили удалиться к себе.

Матильда была ужасающе наивна.

— У нас будет много детей, — как-то еще до свадьбы сказал Поль.

— По крайней мере один.

— Один? Почему?

— Мы же уже целовались.

Потом, в своих воспоминаниях Матильда оправдывалась: «Нас всех так воспитывали. Ни одна из моих подруг не знала больше».

Сцена в духе Мопассана: опытный, если не развращенный, мужчина и наивная девушка. Первая брачная ночь была подобна инициации — можно посвятить в таинства неведомого доселе наслаждения, а можно и все испортить, грубостью, нетактичностью, болью.

Теплая августовская ночь, окно распахнуто в сад. На улицах Монмартра — далекие газовые фонари. Жена поэта стоит в одной ночной рубашке из тонкого полотна. Спереди — обшитое кружевами отверстие.

Да зачем оно вообще нужно это полотно! Разве его потерпит поэт, автор «Галантных празднеств», поклон-



ник XVIII века и любитель искусства времен Людовика XV?

Он обнял ее, губы коснулись губ, ткань ночной сорочки собралась под его руками и поползла вверх.

— Зачем, — испугалась Матильда. — Не надо!

— Ну, я же твой муж.

Он был деликатен, но настойчив. Она стыдлива, но слишком влюблена, чтобы сопротивляться. Рубашка упала на пол. Воздух наполнил острый и терпкий запах страсти.

Поль бережно поднял жену и отнес на кровать. Он торопился, и пуговицы жилета и брюк поддались не сразу, но вот их ничего не разделяет: он на постели рядом с ней, и она — в его объятиях.

— Что ты делаешь? — Матильда взволнована и слегка испугана.

— Доверься мне.

Он слегка раздвигает ей ноги, гладит внутреннюю сторону бедер, пальцы нежно скользят к лобку и ищут клитор в зарослях мягких волос.

— Что ты делаешь?

— Все будет хорошо. Я люблю тебя.

Он уже готов и стучится к ней.

— Что это? Он такой большой.

— Да, не совсем как у греческих статуй.

— погоди! Мне больно!

— Потерпи немного. Так надо.

Он целует ее. Она пытается отстраниться. Он удерживает ее ласково и властно. Она стонет, но они уже одно целое.

Первая ночь не для удовольствия женщины, боль — не лучшая спутница оргазма. Но если мужчина не слишком торопится и тактичен — наслаждение возможно и в первую ночь.

«Первая брачная ночь принесла мне все, что я ожидал, — вспоминал Верлен, — и, осмелюсь сказать, все,



что мы — она и я — ожидали, ибо в эти божественные часы моя деликатность и ее стыдливость могли сравниться только с истинной пылкой страстью с обеих сторон. Ни одна ночь в моей жизни не сравнится с этой, и — ручаюсь в том головой — в ее жизни также не было второй такой ночи!»

Молодожены поселились в доме номер 2 по улице Кардиналь-Лемуан. Из окна открывался прекрасный вид на Сену и остров Сен-Луи. Поль служил в Ратуше делопроизводителем. До работы было недалеко, и он мог приходить домой обедать. Бросил пить и наслаждался семейным счастьем, о котором мечтал, сочиняя посвященный Матильде сборник стихов «Добрая песенка»:

Под лампой светлый круг и в очаге огонь;
Висок, задумчиво склоненный на ладонь;
Взор, что туманится, любимый взор встречая;
Час книг захлопнутых, дымящегося чая;
Отрада чувствовать, что день уже поник;
Усталость нежная, надежды робкий миг
На сладостную ночь, на брачный мрак алькова...

Воспоминания Матильды не менее радужны. «Наш брак был браком по любви, это все знают, — писала она. — Я все больше и больше привязывалась к Верлену, и могу сказать с полной искренностью, что в день венчания я любила его так же сильно, как он любил меня. Ведь только я, одна лишь я знала иного Верлена — не такого, каким он был с другими людьми: влюбленного Верлена, то есть полностью преобразившегося духовно и морально...»

Шла война с Пруссией, 4 сентября произошла революция, и империю сменила Третья республика. На улицах смеялись и обнимались, все пели «Марсельезу» и встречали новое правительство овациями.

Под влиянием жены Верлен поддался патриотическим настроениям, записался в Национальную гвардию и был



зачислен солдатом в 160-й батальон. Патриотизма трусоватого представителя богемы хватило не надолго: служба наскучила, и он начал отпрашиваться с дежурств под предлогом работы в Ратуше. Вскоре обман раскрылся, и поэт оказался на гауптвахте.

Заключение оказалось не слишком тяжким, но повторения не хотелось, и Поль нашел изящный способ дезертировать без неприятных последствий: он вместе с женой переехал к матери в Батиньоль и написал оттуда своему капитану, что теперь приписан к другому батальону, а тот не потрудился проверить.

Он вновь свободен. Нет изнурительных ночных дежурств на морозе. Зима выдалась холодная, так что Сену сковало льдом. Во время службы Верлен вновь стал пить, согреваясь традиционным солдатским способом. Питьем в форте дело не ограничивалось. После караула гвардейцев отпускали по домам, и по пути они переходили из кабака в кабак. В милое его сердцу семейное гнездышко Поль возвращался в стельку пьяным. Матильда плакала и осыпала его упреками. Он приходил в ярость. Началось с пощечин, потом молодой жене пришлось придумывать падения с лестниц, чтобы объяснить родственникам синяки. Со дня венчания не прошло и полугода, когда ей пришлось искать убежища у родителей.

Но ярость Поля проходила вместе с опьянением, он каялся и просил прощения. Мать Матильды госпожа Моте посоветовала дочери вернуться — они помирились. В начале весны Матильда обнаружила, что беременна.

18 марта началось восстание, а спустя десять дней на площади перед мэрией, запруженной солдатами Национальной гвардии и огромной толпой народа, провозгласили Коммуну. Верлен был полон энтузиазма и революционной горячности. Он стал пресс-секретарем Коммуны.

Что побудило этого мирного и не слишком отважного человека пойти на такой риск? Многие исследовате-



ли считали, что он просто плыл по течению: как ходил на службу, так и продолжал ходить, опасаясь, что иначе его забреют в солдаты. Другие объясняют это дружеской солидарностью: среди руководителей восстания было множество его друзей. Но сам Верлен утверждал, что был вполне искренен и называет Коммуну «самой мощной и плодотворной из революций, которые когда-либо украшали Историю».

Биографы расходятся в оценках его влияния. Одни убеждены, что начальник отдела прессы — должность весьма важная, и только протест Верлена спас собор Парижской Богоматери, который собирались взорвать. Другие — что он был лишь мелким чиновником и абсолютно ничего не решал.

Так или иначе, власть коммунаров продержалась недолго.

Вечером, в воскресенье 21 мая, поползли тревожные слухи о наступлении противников Коммуны, укрывшихся в Версале.

На заре слышались выстрелы: батареи версальцев, установленные на площади Звезды, обстреливали площадь Согласия и Монмартр.

Супруги Верлен были еще в постели. Яркое весеннее солнце освещало комнату. Вдруг двери распахнулись, и в спальню влетела горничная с криком: «Мадам, они у ворот Майо!»

Версальцы! Верлен был перепуган и неизвестно, кого боялся больше: коммунаров, которые спят и видят поставить его под ружье, или версальцев, которые непременно отправят на гильотину.

Разнесся слух, что версальцы обстреливают Батиньоль. Там, на улице Леклюз, осталась его мать Стефани. Надо немедленно вызволять ее. Но Батиньоль — это другой конец Парижа, где-то посередине между Монмартром, который совершенно точно обстреливают, и



площадью Звезды, где стоят батареи. Он не в состоянии туда идти!

— О боже! — стонал он. — Завтра они будут здесь! Меня расстреляют! Я даже не увижу мать! Батиньоль сожгут.

Всю ночь он плакал и стонал, а Матильда жалела его и пыталась успокоить.

Пять утра. Вдали слышна канонада. Звонит колокол на соборе Нотр-Дам. В городе, перегороженном баррикадами, не прекращаются уличные бои.

— Пойдем вместе, Поль, — предлагает Матильда, — и приведем госпожу Верлен.

Муж испуганно смотрит на нее.

— Ты что, совсем свихнулась? Федераты схватят меня и поставят под ружье.

— Хорошо, я пойду одна.

Она вышла замуж за труса, но сама никогда не была трусихой, и она выполнит свой долг.

— Конечно, — кивнул мигом успокоившийся Поль. — На Монпарнасе сейчас бой, так что иди по бульварам.

К шести она оделась, и муж поцеловал ее на прощание:

— Возвращайся скорее!

Прогулка семнадцатилетней беременной женщины под огнем версальских батарей достойна отдельной повести.

«Ты же сын офицера! Какой стыд!» — говорила она мужу еще во время осады Парижа пруссаками. Уже тогда она поняла, насколько он труслив. Но она не такова. Ее отец тогда остался на Монмартре, несмотря на обстрелы, и предоставил особняк в распоряжение госпиталя для раненых. А ведь он не офицер, а всего лишь чиновник.

И вот она идет по бульвару Севастополь, а над городом поднимаются белые дымы — значит, там рвутся сна-



ряды. Грохот боя приближается. Бульвар Орнано. Снаряды рвутся на мостовой и крошат фасады домов.

Матильда бросается на Монмартр, к отцу. Повсюду баррикады: обломки строений, мебель, доски, кирпичи — все свалено в кучу. Не слишком надежные укрепления, их несложно взять. И их берут одно за другим, версальцы захватывают город.

— Твой муж сошел с ума! — вскричал господин Моте, увидев дочь на пороге дома. — Как он мог отпустить тебя под пули? Жди здесь, пока не возьмут Монмартр!

Бой не прекращался до пяти вечера, когда наступило временное затишье. Господин де Флервиль решил проводить дочь до площади Клиши, откуда рукой подать до дома Стефани.

На улицах, перегороженных полуразрушенными горящими баррикадами, лежат трупы. Матильда приподнимает подол платья и перешагивает через мертвецов, в крови остаются следы туфелек. Пахнет гарью и смертью.

Пожары, завалы, грохот снарядов. Не пройти! Они возвращаются, и Матильда без сил падает на кровать.

На следующий день она отправилась домой, отец проводил ее до бульвара Монмартр, но она сбилась с пути.

Навестила друзей возле Сен-Рош и брата Шарля на улице Ларошфуко.

— На улице стреляют, а ты наносишь визиты, — поразился он. — Возвращайся домой, к отцу, моя жена предупредит госпожу Верлен.

24 мая она решила вернуться домой, к Полю, на улицу Кардиналь-Лемуан, и пошла кружным путем, через бульвар Сен-Жермен. Там ее остановили. Одинокая девушка показалась подозрительной.

— К стенке ее! — крикнул кто-то.

Приказ тут же начали выполнять.



Она уже чувствовала спиной кирпичи стены, глядя, как поднимаются стволы винтовок и целятся солдаты, ожидая только команды «Пли!».

Ее схватили за руку и отшвырнули в сторону.

— Проваливайте отсюда к чертовой матери!

Какой-то офицер. Она успела бросить на него благодарный взгляд и скрылась в переулках. На улице Кардиналь-Лемуан ее уже ждала Стефани, которая тоже прошла по всему горящему Парижу. И тут же напустилась на невестку:

— Как ты могла оставить мужа одного, в опасности!

Они стояли друг друга, эти женщины, одинаково отважные, прошедшие пол-Парижа под пулями, по крови и трупам, в дыму горящего города, одна ради мужа, другая ради сына. А тот, ради кого они жертвовали собой, тем временем устроил бункер в туалете, забронировав стены толстыми матрацами и не решаясь высунуть носа даже на балкон.

Коммуна пала, начались аресты и казни. Бывший коммунары Верлен вместе с женой срочно покинули столицу и укрылись на родине матери, в Фампу.

Однако в конце августа было решено вернуться в столицу, а там его ждало письмо от некоего Артюра Рембо. Над его и так непрочным браком нависла новая, еще неведомая опасность.

Юный поэт умолял устроить его в Париже: он погибает в этом отвратительном Шарлевиле, мать дает деньги только на посещение воскресной мессы и собирается осенью отправить в пансион.

Верлен раздумывал, показывал его стихи друзьям. Далеко не все были восхищены, впечатление скорее смешанное: то ли гениально, то ли отвратительно. Но общий вердикт благожелательный: «Это новый Бодлер, и он должен быть с нами». Для Рембо собрали деньги на дорогу.



Поль и рад бы приютить у себя Артюра, но сам живет у родителей жены. Арендный договор на квартиру на улице Кардиналь-Лемуан расторгнут сразу после поражения Коммуны, и вся мебель перевезена в особняк Моте. К тому же Верлен потерял работу в Ратуше, и теперь существует на деньги матери и жены.

Но мадам Моте привычна к безденежным друзьям зятя. Ей уже приходилось давать им приют, и она нисколько не возражает против Артюра Рембо. Ему выделяют «бельевую» на третьем этаже, по соседству с комнатой Шарля.

В середине сентября Верлен и его друг Шарль Кро идут встречать Рембо на Восточный вокзал, но не узнают его и возвращаются на улицу Николе.

Друзья поднимаются в малую гостиную. Там в компании Матильды и госпожи Моте обедает высокий угловатый подросток, совершенно не похожий на утонченного поэта, которого ожидал увидеть Верлен. У него длинные руки, красноватое лицо крестьянина, пухлые щеки, как у тринадцатилетнего мальчика, красивые голубые глаза с синим обводом и ужасающий арденский акцент.

— Вот, Поль, это Артюр Рембо, — говорит госпожа Моте.

Она шокирована новым знакомым зятя. Перед ним пустая тарелка из-под супа, в зубах — длинная трубка, которой он с удовольствием попыхивает, неохотно отвечая на вопросы. Глаза смотрят угрюмо, исподлобья. Одет неряшливо и по-провинциальному дурно. Галстук съехал на одну сторону, пышные волосы рвутся в другую (язык не поворачивается сказать, что зачесаны). Скорее разметаны под ветром, то и дело меняющим направление.

Верлен и Кро садятся за стол и пытаются завести разговор о поэзии.



Не помогает. Рембо односложно отвечает на вопросы, видимо, вообще не умея поддерживать беседу.

— Ну, я пойду, — говорит он. — Очень устал с дороги.

На следующий день Верлен показывал гостю Париж, не забывая о многочисленных кафе и пивных. Там за кружкой пива юного поэта наконец удалось разговорить. Он поведал Полю о своей ужасной жизни в Шарлевиле, чудовище-матери, идиоте-брате и монашках-сестрах, побегах из дома и любимом учителе Жорже Изамбаре, который освободил его из тюрьмы Мазас, куда его заключили за недоплату железнодорожной компании и подозрение в шпионаже во время его первого побега из дома. Но учитель оказался таким же дерьмом, как и все остальные, и тут же выдал его матери. Вообще, «дерьмо» — одно из любимейших слов талантливого подростка.

И вот он хвастается Полю участием в Коммуне, как примкнул к революционной армии и некоторое время жил в Вавилонских казармах с борцами революции, а потом вместе с коммунарами попал в тюрьму. Надо заметить, что современные исследователи считают это чистой воды выдумкой — Рембо был не чужд мистификаций. Судя по его письмам и свидетельству Изамбара и его сестры Изабель, всю Коммуну он просидел в Шарлевиле.

Но Верлен верит, он и сам был коммунаром, приятно встретить единомышленника.

Теперь Артур решил стать поэтом, а это значит «ясновидцем», и на этот счет у него есть своя программа.

Теория «расстройства всех чувств» широко известна, многократно комментирована, а письма Рембо к Изамбару, где она изложена, публиковались и переводились на русский язык.

Но начнем несколько издалека. В газете «Русская мысль» уже в начале XX века была опубликована удиви-



тельная фраза: «Все современное искусство — это культ безобразного». Оставим слово «все» на совести автора статьи, но тот факт, что культ безобразного — это одно из господствующих направлений в современном искусстве не подлежит сомнению. Конечно, до Рембо был и Бодлер, и многим раньше Иероним Босх, но Артюр создал теорию нового искусства, и она — в его письмах.

Итак, что же это за великая методика?

«Надо сделать свою душу уродливой, — пишет Артюр. — Да, поступить наподобие компрачи́ков. Представьте человека, сажающего и взращивающего у себя на лице бородавки». Конечно, все это не просто так, а ради великой цели — ясновидения. Как же ее достичь?

«Поэт превращает себя в ясновидца длительным, безмерным и обдуманым приведением в расстройство всех чувств. Он идет на любые формы любви, страдания, безумия, он ищет себя. Он изнуряет себя всеми ядами, но всасывает их квинтэссенцию. Неизъяснимая мука, при которой он нуждается во всей своей вере, во всей сверхчеловеческой силе; он становится самым больным из всех, самым преступным, самым проклятым — и ученым из ученых!»

Что за странное заблуждение — методично уничтожая нервные клетки, добиваться их более эффективной работы? И ведь заблуждение живучее. О том, что вино и наркотики помогают писателям создавать гениальные произведения, порою приходится слышать от весьма умных людей, но во всех без исключения случаях, далеких от литературы.

Они путают причину и следствие. Пьянство литераторов — не источник их гениальности, а метод борьбы с переутомлением — хочется хоть немного расслабиться и усыпить на время непрерывно работающий мозг.

Рембо и сам вскоре разочаруется в собственной теории. Да, он все попробует: и гашиш в Париже, и опиум в



Лондоне, но райских видений не достигнет. Ему пригрезятся только две луны: белая и черная, которые будут гоняться друг за другом. И это все. Только тяжесть в желудке и головная боль.

А самое печальное, что свои лучшие произведения он уже написал, впереди только «Озарения» и «Пора в аду».

Но пока Рембо и Верлен начинают с жаром воплощать в жизнь теорию Артюра. Они слишком долго засиживаются в кафе и возвращаются домой пьяными.

Рембо отвратительно ведет себя за столом во время семейных обедов в особняке Моте. Он чавкает и без стеснения рыгает, к тому же, мягко говоря, не очень опрятен. Наконец, в доме начинают пропадать вещи: охотничий нож господина Моте, распятие из слоновой кости, несколько статуэток. «О боже! Он ворует!» — восклицает потрясенная мадам Моте. «Он же сын офицера!» — вторит ей Матильда.

Артюр ужасающе груб и бесцеремонен. Как-то он разделся и растянулся на лестнице в сад, чтобы погреться на солнышке.

Наконец, терпение госпожи Моте кончилось.

— Поль, — сказала она. — Скоро возвращается с охоты муж, и он не потерпит этих безобразий. Потрудись найти для этого юноши другое жилье.

Верлен собрал знакомых художников и литераторов, и они решили, что Рембо будет жить по очереди у каждого.

Когда он покинул дом Верлена, Матильда обнаружила, что его подушка кишит вшами.

— Да, — расхохотался Поль. — Он разводил вшей в своей шевелюре, чтобы бросать их в священников.

Такой метод выражения религиозных взглядов был для Матильды глубоко непонятен и отвратителен. Пока она промолчала, но запомнила.



Первым Верлен обратился к карикатуристу Андре Жилью. Однако его терпение оказалось далеко не таким ангельским, как у Матильды и госпожи Моте. Художник не выдержал и двух дней и выставил юного гения со словами: «У этой скотины склонность к воровству».

Второй жертвой Артюра стал другой художник — друг Верлена Шарль Кро. Он любовно собирал подшивку журнала «Артист», но Рембо не понял страсти коллекционера и использовал подшивку в качестве туалетной бумаги. За что был немедленно изгнан. Верлен попытался за него вступиться, и в результате Шарль несколько недель с ним не разговаривал.

Артюр сбежал, ночевал с бродягами и рылся в помойках в поисках еды. Верлен уж было решил, что его юный друг вернулся в Шарлевиль, как случайно встретил его на улице. Грязного, худого, в рваной одежде. Старший из поэтов винил во всем себя и снова созвал друзей, чтобы скинуться на ежедневное пособие для гения. На предоставление жилья удалось уговорить известного поэта мэтра Теодора де Банвиля. Он отдал в распоряжение Рембо комнату для прислуги.

Друзья Верлена осыпали его и другими милостями: пообещали публикацию статей в «Фигаро», решили познакомить с главным редактором и снабдили деньгами на покупку костюма.

Чем же ответил Рембо? В первую же ночь в доме Банвиля он появился обнаженным в окне мансарды и выбросил на улицу нижнюю рубашку, полную вшей. Рассказывают и более шокирующие легенды: якобы наутро он перебил в комнате весь фарфор, включая ночную вазу и таз, а затем продал мебель гостеприимного хозяина. Так или иначе, но Теодор де Банвиль выставил его за дверь так же, как все остальные. Однако Рембо успел вытереть ботинки муслиновыми занавесками и, по обычаю бродяг, справить на пол большую нужду.



Последним великодушным хозяином стал друг Верлена Кабане. Видимо, из чувства благодарности Рембо использовал в качестве отхожего места его лестницу, и вновь был изгнан.

Больше желающих не нашлось, но и тут юное дарование не бросили в беде: в декабре ему сняли мансарду на улице Кампань-Премьер, полностью обставили и даже украсили рисунками грязные, заляпанные жиром стены.

Довольный Рембо переехал туда и наконец стал жить один.

Если почитать современные книги по психологии, посвященные тому, как сделать карьеру, мы обнаружим, что Артюр совершил все грубейшие ошибки начинающего карьериста. Он хотел проникнуть в литературный мир и укрепиться в Париже и делал все для того, чтобы настроить против себя будущих собратьев по перу, которые должны были восхищаться его гением.

Зачем?

Так ненавидел «буржуазный» быт, что не мог сдержаться? Ерунда! Вся его дальнейшая жизнь показала, что он прекрасно умел держать себя в руках.

Эпатаж подростка, скрывающего за грубостью многочисленные комплексы вкупе с природной застенчивостью? Слишком сильные средства для такой мелкой цели.

Он хотел жить один и добился своего? Слишком дорогой ценой.

Исполнял собственную программу, старательно делая душу уродливой?

Может быть.

Но скорее причиной тому непомерная и извращенная гордость. Он мечтал быть признанным, несмотря ни на что, в высшей степени признанным. Он гений, а гению все позволено.

Он просчитался.



Видимо, после переезда, отношения Верлена и Рембо перешли на новую стадию. Впрочем, еще в ноябре друг Поля Лепелетье под псевдонимом «Гастон Валентен» написал в театральной рецензии, что Верлен появился в «Одеоне» под руку с «очаровательной мадемуазель Рембо». Автор смягчил ситуацию: на самом деле они ходили в обнимку, шокируя публику. И роль «мадемуазель» в этом союзе играл «сатурнический поэт» Верлен.

Вряд ли Рембо был инициатором этих отношений. Он, конечно, был начитанный молодой человек, но до Маркиза де Сада, весьма полно изданного после 1789 года, пока не добрался. Зато его друг уже обладал практическим опытом «сократической» любви, полученным еще в пансионе.

И вот они одни. Свет едва проникает через маленькое окно в крыше мансарды. Всю обстановку составляет железная кровать, стол, плетеные стулья и холсты художника Форена, того самого, который украсил стены рисунками и теперь использует комнату как мастерскую.

Поль обнимает Артюра, целует.

— Я люблю тебя. Возьми меня.

«Мадемуазель Рембо» выше его на голову — метр семьдесят. Большие руки Артюра отвечают на объятия, узловатые пальцы жестко впиваются в кожу и сжимают до боли.

Кто сказал, что и он не влюблен? Верлен — его проводник в мир парижской богемы, его покровитель, его кабацкий Вергилий. Именно он помогает Артюру осуществить программу «расстройства всех чувств», последовательно посвящая в систематическое пьянство, в абсент, в гашиш, а теперь и в запретную любовь, воспетую Древними греками и римлянами, теми самыми язычниками, которыми так восхищается юный поэт, теми самыми «сыновьями солнца».



— Давай, давай, старая жаба, подставляй задницу! — усмехается Рембо.

Верлен любит унижения. Он унижает и бьет жену, и от Артюра хочет боли и унижений. И юный гений охотно идет ему навстречу. Следы от ногтей на ягодицах — мелочь, только начало. Слишком яростная атака и бесцеремонное вторжение — терпи, так будет всегда. Тебе же это нравится, гадкий мальчишка!

Поль стонет в его объятиях на жесткой железной кровати, Артюр кусает его ухо, царапает кожу, наконец, выходит и вытягивается у грязной стены.

«Мы любим друг друга по-тигриному», — потом скажет Верлен жене, которая не сможет понять настоящий смысл этих слов. Поль упрекал ее в «необоснованной ревности» к Рембо, а она вспоминала, что никак не могла заподозрить их в «гнусных отношениях», поскольку не знала о существовании такого греха.

Но это только начало, настоящая «тигриная» любовь впереди.

Тем временем отношения Верлена с женой стремительно катятся под откос. Все началось еще в октябре через три недели после появления Рембо.

Дожливый день 23 октября. Поль и Матильда ужинают у Стефани. Матильда на последнем месяце беременности. Ей становится плохо, они вынуждены взять экипаж и немедленно вернуться домой.

Матильда раздевается и ложится в постель. Поль садится на край кровати.

— А знаешь, как Рембо умудрился прочесть все, что появлялось в шарлевильском книжном магазине?

Она устало смотрит на мужа. Опять про этого шкодливого мальчишку!

— Он уносил оттуда книги и прочитывал их дома, не разрезая страниц, — увлеченно продолжает Верлен. —



А потом тайком возвращал обратно. Но это было рискованно, могли поймать. Поэтому он частенько оставлял книги у себя и продавал их.

— Это лишний раз доказывает, что он дурно воспитан, — замечает Матильда.

Верлен злится.

— Ну как ты не понимаешь! Он рисковал из любви к литературе. Там были и мои стихи. Его могли посадить в тюрьму!

— И поделом. Воровство есть воровство.

Поль вскакивает с кровати, он на грани ярости.

Матильда с трудом приподнимается на локте.

— Поль, почему ты предпочитаешь мне какого-то вора?

Верлен бросается к ней, хватая за запястья так, что остаются синяки, и сбрасывает с кровати на пол. Потом Матильда будет объяснять ссадины тем, что упала на кучу камней.

На крики прибежал Шарль де Сиври, который занимал комнату под ними. В присутствии посторонних Верлен еще держал себя в руках. Через пять дней Матильда родила мальчика, которого назвали Жорж Огюст.

Через четыре дня после рождения сына Поль вернулся домой совершенно пьяным, лег на постель в одежде и ботинках, бесцеремонно потеснив еще не оправившуюся после родов жену, и мгновенно уснул.

13 января. Матильда больна и не выходит из спальни. Верлен возвращается домой после ужина, так что ему подают только теплый кофе и подогретый суп. Он опять пьян, а потому агрессивен.

Врывается к жене. Она сидит в кресле и держит на коленях сына.

— До каких пор меня будут кормить дерьмом? Ничего не нашлось для любимого муженька, кроме холодного кофе? Давай деньги! Я пойду в кафе, чтобы выпить горячего.



— Тебе вовсе не надо придумывать предлог, чтобы пойти в кафе, ты и так проводишь там все дни напролет.

Лицо Поля краснеет, глаза становятся сумасшедшими. Он хватается сына и бросает на кровать так, что тот ударяется о стену.

Матильда вскрикивает и вскакивает на ноги.

Верлен хватается ее, опрокидывает на кровать, встает коленом на живот, руки смыкаются у нее на горле и начинают душить.

Дверь распахивается, в комнату врываются господин и госпожа Моте и оттаскивают Поля.

— Убирайтесь из моего дома! — кричит господин де Флервиль.

Верлен мигом смирится и молча уходит ночевать к матери.

После этого Матильда наконец призналась родителям, что муж бил ее, и они пригласили врача, чтобы засвидетельствовать побои.

И она с отцом уехала на юг Франции.

Поль вернулся от матери и нашел пустой дом: жена нездорова, она в Перигё и проведет там всю зиму. Письма ей можно передавать только через госпожу Моте.

Уже 20 января Верлен пишет униженное послание Матильде, где умоляет о прощении.

У нее воистину ангельский характер на грани средневековой святости. Да, она согласна простить, да, после всего, но только если Поль окончательно и безоговорочно порвет с Рембо.

Но Артюра уговорить не удалось, и в феврале Матильда подала иск о раздельном проживании с мужем (разводы были еще запрещены).

Весной Верлен отправил Рембо в Аррас и дал ему денег: пусть побудет там, пока Матильда не вернется домой. Но деньги быстро кончились, и Рембо был вынужден уехать к матери, в ненавистный Шарлевиль.



15 марта Матильда вернулась. Верлен совершенно счастлив, в очередной раз бросает пить и возвращается точно к ужину. Что не мешает ему тайно переписываться с Рембо: «Твой малыш согласен получить справедливую порку... и, о мученичестве твоём не забывая, думает о тебе с ещё большей страстью и радостью...»

Ему нужны оба, и он не желает выбирать, чем мучает обоих. Не прощают ни тот, ни другая.

В мае Поль призывает Рембо обратно в Париж. Отношения с женой снова резко меняются. 9 мая он возвращается домой пьяным и тут же затевает ссору с Матильдой. Она молчит. И тогда он бьет ее по лицу.

— Лучше бы вы меня убили, — говорит она.

Поль хватается спички, коротко трещит зажженная сера, вспыхивает огонь. Поль подносит спичку к длинным волосам жены, и они вспыхивают. Она кричит и убегает, пытаясь сбить огонь, он хохочет.

А «тигриная» любовь двух поэтов становится все жестче.

Май, еще цветут розовые каштаны и райские яблони, сумерки.

Ярко освещенное кафе под названием «Дохлая крыса». За столом сидят трое: Верлен, Рембо и их знакомый — врач Антуан Кро.

Артюр встает с места.

— Положите-ка руки на стол, я вам покажу одну «штуку». Ничего не подозревая, друзья исполняют просьбу.

— Ладонями вверх, — говорит Рембо.

Поль и Антуан раскрывают ладони. Артюр выхватывает нож и вонзает в кисть Верлена. Поль стонет, на ладони выступает кровь и течет к подушечкам пальцев. Кро успевает отдернуть руку.

Но этим не кончается.

Антуан наскоро перевязывает руку Верлену, они выходят на воздух. Поль вскрикивает. Это Рембо вонзает



нож ему в бедро. Потом жена обнаружит эти порезы. Он скажет, что поранился стилетом. Он соврет ей так же, как она родителям.

Поль унижен, и ему нужна компенсация.

15 июня. Супруги ужинают у мадам Верлен. Она вышла, чтобы принести второе. Верлен вынул нож и под столом грозит им Матильде. Стефани возвращается, и он прячет нож. Уходит, и все повторяется снова. Матильда только пожимает плечами. Она никогда не была трусихой, не она ли прошла по горящему Парижу от Монмартра до набережной Турнель? Верлен приходит в ярость и набрасывается на жену, оттолкнув собственную мать. Матильда бежит к родителям, Верлен бросается за ней, но его не пускают к жене, укрывшейся в комнате, соседней с супружеской спальней. Господин Моте в приказном тоне отправляет зятя спать.

7 июля, в воскресенье, у Матильды поднялась температура, и Верлен предложил сходить за лекарством и доктором Антуаном Кро. Возле ворот особняка прогуливался Рембо и курил трубку.

— Я пришел передать тебе письмо, — сказал он. — Мне опостылел Пармерд, сегодня вечером уезжаю в Брюссель.

«Пармердом» друзья называли Париж, образовав слово от «мерд» (по-французски «дерьмо»), любимого выражения Артюра.

— Поедем со мной, — добавил Рембо.

— А как же моя жена?

— Ты мне надоел со своей женой.

До заката любимцы муз шатались по кабакам, а вечером сели в поезд. Так начались знаменитые скитания Рембо и Верлена.

Утром больная Матильда отправила отца на поиски мужа. Его не было нигде: ни у Антуана Кро, ни у Шарля де Сиври, ни в Латинском квартале, где до последнего



времени жил Рембо. Было решено сообщить в полицию и проверить морги.

А друзья уже в Брюсселе — столице веселья, как его тогда называли, городе прекраснее, живее и легкомысленнее самого Парижа. Они прогуливаются по его улицам, бульварам и площадям. Брабантская готика: французское изящество с английским декором. Крыши над фасадами, подобные перевернутым колоколам в разрезе, увенчанные башенками, вазами, портиками с изломом. Огромные окна зданий гильдий на Гранд-Плас, как широко открытые глаза восхищенных путешественников, ратуша почти арабской изысканности с рядами колонн и святым Михаилом на шпиле.

Они свободны. Они счастливы.

— Это слишком прекрасно! — восклицает Рембо.

А вечером в «Льежском Гранд Отеле» их ждет «тигриная» любовь, и на теле Верлена прибавляется шрамов.

«Моя бедная Матильда, не грусти, не плачь, я вижу страшный сон, и в один прекрасный день вернусь», — пишет он Матильде.

Откладывает записку и берется за письмо к матери: «Моя женитьба была самой ужасной ошибкой в моей жизни, я уехал с твердым намерением не возвращаться».

Обе получают его послания: одна пугается, другая плачет.

В Брюсселе много французских эмигрантов. Верлен общается с бывшими коммунарами.

Вскоре он посылает Матильде еще одно письмо: он собирается писать историю Коммуны, пусть она вышлет материалы, которые остались среди его документов, и, заодно белье, одежду, теплые вещи и книги.

Матильда начала разбирать документы и наткнулась на письма Рембо. Отец застал ее плачущей с письмами в



руках, отобрал бумаги и безжалостно уничтожил некоторые автографы Артюра. Письма были ужасающе страшными, шокирующими и местами абсолютно неприличными.

«О боже! Он в руках сумасшедшего!» — испугалась Матильда и отправилась с матерью в Брюссель спасать мужа от дьявола-Рембо.

21 июля обе дамы были в Брюсселе и остановились в «Льежском Гранд Отеле», откуда только что спешно съехали Верлен и Рембо. Было 8 часов утра, воскресенье. Верлен поднялся по лестнице и приоткрыл дверь. Матильда отдыхала с дороги. Увидев Поля, она, не одеваясь, вскочила с кровати и бросилась к нему. По щекам ее текли слезы. Он обнимал и целовал ее, ощущая их соленый привкус на губах. И вот она наконец улыбнулась.

— Мы уедем в Новую Каледонию, там много бывших коммунаров, там никто тебя не найдет, и ты напишешь свою Историю.

— Да, да, мы уедем, куда ты скажешь, — говорил он и вновь целовал ее.

Он расстегнул рубашку и поймал на себе удивленный взгляд.

— Что это?! — воскликнула она.

Вся грудь была в шрамах.

— Это следы нашей любви, — сказал он. — Моей и Рембо. Мы любим друг друга «по-тигриному», это от ножа и от зубов.

Она не сразу поняла, о чем он. «Поль в руках безумца! Его надо спасать!» Только через три дня до нее придет истинный смысл слов мужа.

Она коснулась шрамов, легко-легко провела по ним рукой, приложила теплую ладонь. Он бережно взял запястья, на которых когда-то оставлял синяки, он поцеловал кончики ее пальцев, он зарылся в волосах, которые когда-то поджигал...



Они были в постели, и все случилось почти как в первую ночь, он был на пике наслаждения, и она кричала. А потом они, обнявшись, лежали рядом, словно не было ссор, угроз, побоев. Словно никогда не было Рембо.

— Поезд в Париж в пять часов, — сказала она. — Мы с мамой будем ждать тебя в Ботаническом саду у вокзала. Ты придешь?

— Да! Черт возьми, да!

Она выиграла, она победила, а его мерзкий дружок, вор и грубиян Рембо пусть убирается в свой Шарлевиль!

Поль пришел. Он был мрачен, если не зол. Они расположились в купе. Мадам Моте предложила зятю холодную курицу. Он ел, словно не чувствуя вкуса, зло вытер руки и бросил салфетку на стол. Потом молча отвернулся и уснул.

На таможне Поль исчез. Дамы искали его, но увидели на перроне, только когда садились в поезд.

— Идите же скорей сюда! — закричала мадам Моте.

— Нет, я остаюсь, — бросил в ответ Верлен и ударил кулаком по шляпе, нахлобучив ее на лоб.

Больше они не виделись.

В том же поезде ехал Артюр Рембо.

Матильда вернулась домой в слезах и слегла в постель. Через три дня ей передали записку от Верлена:

«Несчастливая морковная фея, мышинная принцесса, клоп, которого давно пора раздавить, вы все испортили, вы, быть может, разбили сердце моего друга. Я возвращаюсь к Рембо, если он меня примет после того предательства, которое вы заставили меня совершить».

Матильда покажет это письмо Виктору Гюго, и он проникнется к ней сочувствием. «Ужасная история П.В., — запишет он в своем дневнике. — Несчастливая женщина! Несчастный ребенок! И сам он, как же его жалко!»



Пройдет время, и маятник любви Верлена вновь качнется в сторону Матильды, он в очередной раз попытается вернуться в семью. Матильда отнесется к этому без энтузиазма, и Поль попросит посредничества Виктора Гюго. Живой классик пообещает, но ничего не добьется. «Некоторые вещи невозможно исправить», — прокомментирует отец Матильды.

Пробыв месяц в Брюсселе, Верлен и Рембо отправились в Лондон, где сняли небольшую квартиру на Хауленд-стрит. Английская столица сначала вызвала у них отвращение. «Представьте себе плоского черного клопа — это Лондон. Маленькие, мрачные домишки или высокие ковчеги в готическом и венецианском стиле, четыре-пять кафе, где еще можно кое-как утолить жажду, — и больше ничего».

Зато в Лондоне есть порт и доки, «невиданное зрелище: в них заключены Карфаген, Тир и все, о чем можно только мечтать!»

И еще в Лондоне есть опиум. «Волшебная дыба! — напишет о нем Рембо в «Озарениях». — Мы веруем в эту отраву. Каждодневно готовы пожертвовать всей нашей жизнью». И есть гашиш. «Пришли времена хашишинов-убийц», — пишет Рембо.

Тем временем Матильда начала процедуру развода и потребовала с Верлена 1200 франков в год на воспитание сына. Стефани настолько возмутила эта сумма, что она пришла на улицу Николе и закатила скандал, объявив, что продаст все свои земли и спустит все состояние, лишь бы снохе ничего не досталось.

Матильда обвиняет мужа в «гнусных отношениях» с Рембо.

Из-за новых ли перипетий брака Верлена, «волшебной дыбы», гашиша, других эффективных методов «расстройства всех чувств» или особенностей характеров любовников, но уже осенью на Хауленд-стрит начинаются кон-



фликты, переходящие в рукоприкладство и столь любимые Рембо «эксперименты» с колющими и режущими предметами. Они дерутся и катаются по полу, а иногда оба берут ножи, оборачивают их салфетками и пытаются проткнуть друг друга. Ножи вонзаются в рукава рубашек, ткань трещит и повисает клочьями. До первой крови. Как только по ткани начинает расплзаться хотя бы крошечное красное пятнышко — дуэль прекращается, и они бегут мириться в кафе или пивную. «У нас жестокая страсть!» — не без гордости восклицает Верлен.

Дважды они расстаются: сначала Рембо уезжает на три недели в Шарлевиль, потом Верлен — в бельгийские Арденны. Но в конце мая 1873 года снова оказываются в Лондоне.

В одном из стихотворений сборника «Давно и недавно» Верлен назвал Лондон «городом из Библии». В русском переводе это «Гоморра», но он, конечно, имел в виду Содом. Для него войдет в традицию возить сюда любовников.

Они поселились на улице Грейт Колледж-стрит в северо-западной части Лондона, в Кемден-Таун — квартале художников.

Верлен поглощен бракоразводным процессом и мечтает о примирении с женой. И чем больше он об этом мечтает — тем злее становится Рембо. И чем более жесток Артур — тем больше Поль тоскует об утерянном семейном очаге. Напряжение разряжается скандалами, причем иногда публичными. Истинные отношения двух поэтов быстро становятся тайной полишинеля, и любовников встречают молчанием и двусмысленными улыбками. Поль пытается оправдываться перед лондонскими знакомыми, но ему не верят.

Верлен начинает тайную подготовку к отъезду в Брюссель, так он хотя бы на время избавится от Рембо и будет умолять жену приехать к нему, как год назад. Он



передает на хранение рукописи и одежду, собирает чемодан и узнает расписание кораблей до Антверпена. Достаточно одной последней капли, одного неверного движения Рембо, одного неосторожного слова, чтобы он сорвался с места.

В четверг, 3 июля 1873 года, корабль отходит в полдень. Утром Поль возвращается с рынка, неся в одной руке селедку, а в другой — бутылку с маслом. Жарко, окно их квартирки распахнуто настежь, там, на подоконнике, сидит Рембо. Он хохочет.

— Верлен к нам идет дурацкой походкой, в руках у него — масло с селедкой!

Поль в ярости врывается в комнату, сшибает с ног Артюра и бросает селедку ему в лицо:

— Так неси ее сам!

Рембо продолжает хохотать.

Верлен хватает чемодан.

— Все, хватит! Будь проклята такая жизнь! Мое терпение кончилось! Я уезжаю.

Бросается из комнаты и хлопает дверью.

Для Рембо это полная неожиданность, как когда-то исчезновение Поля на таможне для Матильды.

Артюр не спеша выходит вслед за ним. Но Верлен решительно направляется в порт и садится на корабль, отходящий в Антверпен. Рембо бросается вслед, зовет, машет руками, но ничего не помогает. В полдень убирают трап и отдают швартовы.

На борту Верлен пишет записку Рембо: «Эта бурная жизнь, вся состоящая из беспричинных сцен, не будет более продолжаться, твоя чертова фантазия больше не будет меня донимать. Но поскольку я любил тебя безмерно (пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает), хочу заверить тебя, что если через три дня не воссоединюсь с женой, то пушу себе пулю в лоб... Ты хочешь, чтобы я целовал тебя подыхая?»



Одна из исследовательниц творчества Верлена заметила, что поэт всегда умел построить фразу так, чтобы вторая половина противоречила первой и решительно ничего невозможно было понять. Письмо о своем «решительном разрыве» с Рембо Верлен завершает обещанием дать ему свой адрес и просьбой писать.

Артур, хорошо зная друга, не воспринял всерьез угрозу самоубийства. Но он остался в Лондоне совершенно один и без средств к существованию. Он тут же отвечает Верлену и умоляет его вернуться: «Вернись, вернись, дорогой друг, единственный друг, вернись. Клянусь тебе, я буду вести себя хорошо. Я был с тобой груб, но это была просто шутка, я не сумел вовремя остановиться и страшно об этом сожалею. Вернись, мы все забудем... Вот уже два дня я плачу без конца... Твой навеки. Рембо».

В ответ на письмо Верлен высылает Артуру немного денег, и он становится смелее: «Лишь со мной ты можешь быть свободен... если ты не вернешься и не позволишь приехать к тебе, то совершишь преступление и будешь раскаиваться в этом долгие годы, потому что заплатишь за это свободой и несчастьями более страшными, чем те, что уже пережил. Подумай, кем ты был до встречи со мной...

Единственное же истинное слово, вот оно: вернись, я хочу быть с тобой, я люблю тебя...»

Тем временем Верлен рассылает телеграммы о своем грядущем самоубийстве. Не забывает никого: ни жены, ни Рембо, на матери, ни друга детства Лепелетье, ни даже мадам Рембо.

«Самоубийца» хочет не смерти, а спасения, чтобы его успели схватить за руку, чтобы остановили и пожалели.

Поль докладывает о готовящемся самоубийстве даже художнику Огюсту Муро, которого случайно встретил на улице.



— Ради женщины не кончают самоубийством, — говорит Муро. — Лучше закончить жизнь на войне. Например, можно поступить добровольцем в армию дон Карлоса, чтобы сражаться против Испанской республики.

Верлену идея понравилась, тем более что откладывала пулю в лоб на неопределенное время.

Утром 8 июля он отправляет Рембо телеграмму: «Добровольцем Испанию. Приезжай. «Льежский отель». Белье, рукописи, если возможно».

Он действительно обратился в испанское посольство, где узнал, что заявления от иностранных добровольцев не принимаются.

Стефани уже с ним, она примчалась в Брюссель, как только получила письмо сына. Вечером 8 июля приезжает Рембо.

Матильды нет. Она не приехала в течение трех дней — ультиматума Поля.

Она не приедет никогда.

Матильда Моте оказалась слишком храброй и решительной для роли кроткой, безропотно сносящей издевательства и побои мужа. Он влюбился в средневековую чистую деву со средневековым именем Матильда. Неужели он думал, что средневековая дева останется с ним после всех его предательств?

Она любила возвышенного поэта, а не раба абсента, сбежавшего от нее с любовником.

Поль слишком привык к тому, что ему все прощают: мать, сестра, Матильда, Рембо... Но должен был настать момент, когда его перестанут прощать. Он уже настал.

Итак, 8 июля. С ним возлюбленный Артюр и любящая мать. Верлен в запое.

Поль с матерью тут же переезжают в отель «Виль де Куртре» на углу Гранд-Плас. Пьяный поэт все еще надеется, что Матильда приедет.



На следующий день Поль решает ехать в Париж. Зачем он и сам не совсем понимает: то ли мириться с женой и убедить ее жить с ним, хотя бы силой, то ли убить ее, то ли покончить с собой у нее на глазах. Рембо заявляет, что тоже едет в Париж, художник Форен снимет ему комнатку.

Нет! Вот этого никак нельзя допустить. Для Верлена это отнимает всякую надежду на примирение с Матильдой и спокойную семейную жизнь. Снова начнутся попойки с Рембо, шатания по кабакам, гашиш, приступы ярости и их «тигриный» роман.

— Только не в Париж! — говорит он Артюру.

— Оставь меня в покое! Если я собрался ехать в Париж — это только мое дело. Разбирайся сам со своей идиоткой-женой!

Они пьют бокал за бокалом. Молочно-зеленый яд абсента проникает в кровь и ударяет в голову. Спор идет на все более высоких тонах.

— Я еду в Париж, старая свинья, и ты меня не остановишь! — орет Рембо.

— Это мы еще посмотрим!

— Ха! Да что ты со мной сделаешь!

Он усмехается и начинает скандировать:

— В Па-риж! В Па-риж! В Па-риж!

Поль прикладывает к абсенту, бокал дрожит в руке, глаза наливаются яростью.

— Я убью тебя! — тихо говорит он, язык отчаянно заплетается.

— Ну-ну! Стреляться передумал?

— А потом себя.

Рембо хохочет.

Утром 10 июля Верлен отправился в магазин оружейного мастера Монтины в Королевских галереях Сен-Юбер. До них рукой подать. Но Поль оказался у закры-



тых дверей пассажа: шесть часов утра. И отправился гулять по просыпающимся брюссельским улицам. К сожалению, холодный утренний воздух так и не отрезвил его. Поль не изменил решения.

И вот, наконец, он на месте, под стеклянным сводом, между тремя ярусами роскошных магазинов.

Витрина господина Леруа, компаньона Монтины, со всеми видами оружия, кроме разве что пушек. Красивые смертельные игрушки под красивой аркой, между темных колонн.

Поль решается и входит.

— Мне нужен револьвер.

Он почти трезв, а потому не слишком решителен, но пока смелости хватает.

Продавец выкладывает на прилавок пару моделей.

— Это Веблей 1866 года, его еще называют «Бульдог».

Оружие с коротким дулом действительно напоминает бульдога, и красотой не отличается.

— А это Адамс, модель 1867 года без экстрактора*, дверца открывается назад.

Верлен слушает вполуха. Весь его опыт общения с огнестрельным оружием ограничивается стоянием в караулах во время осады Парижа пруссаками.

Сотрудник господина Леруа выкладывает еще одно орудие убийства.

— Новейшая модель. Кольт, появился в продаже только в прошлом году. Смотрите, месье, здесь откидной барабан, это очень удобно.

Нет, Рембо следует убить из английского револьвера. Лондон — город из Библии. Содом.

— Адамс, — решительно говорит Поль.

Он красивее. В дополнение Верлен покупает кобуру из лакированной кожи — перед кем он собирается хвас-

* Устройство для удаления отработанных гильз.



таться? — и коробку с пятьюдесятью патронами — зачем столько?

— Покажите мне, как этим пользоваться, — робко просит Поль.

Продавца ничего не удивляет. Он открывает щиток, загоняет патрон в камору, крутит барабан, показывает, как взводить курок, как целиться, объясняет назначение экстрактора.

— Благодарю, вас, — кивает Поль.

И отсчитывает требуемые двадцать три франка.

Это надо запить. Он отправляется в кафе на улице Шартре, чтобы поднабраться абсента и куража. Револьвер и коробка с патронами ложатся рядом с бокалом зеленоватого яда. Поль все делает напоказ. Здесь же в кафе, на глазах у всех, патроны занимают места в барабане. Все — револьвер заряжен. Пустой бокал из-под абсента сменяет следующий.

Неужели его никто не остановит? Ведь когда-то в Аррасе их с Артюром арестовали за одни разговоры, когда они изображали преступников и говорили о своих жертвах, дурача обывателей. Тогда все закончилось всего лишь высылкой. Поль усмехается, потом пускает слезу.

Неужели никто не обратит внимания на его зловещие приготовления, никто не схватит за руку, никто не спасет?

Никто.

К полудню он уже готов на любые «подвиги».

Возвращается в гостиницу и хвастается револьвером Рембо.

— Ну, и зачем тебе эта «игрушка»? — скептически спрашивает Артюр.

— Для меня, для тебя, для всех.

— Пойдем выпьем по стаканчику.

Кажется, Артюр, наконец, понимает, что друг не шутит.



Кафе «Мезон дю Брассёр». Рембо курит неизменную длинную трубку. Кусочки сахара лежат на дырявых ложечках на бокалах с «зеленой феей». Официант медленно, по капле, льет на них ледяную воду. Абсент мутнеет от воды и сахарного сиропа, становится опаловым с зеленоватым оттенком. Терпкий запах полыни смешивается с запахом табака.

— Ты задумал глупость, — говорит другу Рембо. — Ты сделаешь это, и уже ничего не исправишь. Матильду ты этим не вернешь. А потеряешь все. Что ты хочешь? Чтобы она заплакала над твоей могилкой?

Верлен нервно пьет.

— Не возвращайся в Париж! Умоляю тебя! Если ты меня еще любишь.

— Почему я должен плясать под твою дудку ради твоей сучки?

— Замолчи!

— Ты глуп, Поль. И говоришь одни глупости.

Верлен опрокидывает бокал. Горько-сладкое густое пойло, полынь с сахаром.

— Я убью тебя! — кричит Поль и порывается встать.

— Сядь и успокойся!

— Мне все надоело! Я устал от всех вас!

Они возвращаются в гостиницу в два часа, до отхода поезда в Париж остается час сорок.

Рембо начинает собирать вещи.

И спор разгорается снова.

Артюр глух и к мольбам, и к угрозам.

— Ты мне надоел! — коротко бросает он.

Мадам Верлен пытается их успокоить, приглашает сесть за стол и отложить разговор на завтра.

— Я уезжаю немедленно, — говорит Рембо. — И дайте мне денег.

Говорит так, словно не просит, а приказывает.

Стефани уже согласна. Она чувствует, что, если не выпроводит Артюра, может случиться непоправимое.



— Де-нег! Де-нег! Де-нег! — с издевкой скандирует Рембо.

— Нет! — кричит Верлен. — Не смей ему ничего давать! Артюр пожимает плечами.

— Уеду и без денег!

Верлен почти в истерике, он спускается вниз «промочить горло». Какой это сегодня бокал абсента? А еще есть бельгийское пиво. Он и им не брезгует. Возвращается мрачным. Он близок к последней степени опьянения, когда он поджигал волосы жене и бросал на кровать ребенка.

Артюр уже собрал вещи и держит узел в руке.

— Ах, так! — орет Поль.

И запирает дверь на ключ. Хватает стул, с грохотом ставит его спинкой к двери, тяжело падает на него. В руке — револьвер.

— Уезжаешь, да! Получай же!

Рембо у стены. Он бросается было вперед, чтобы отобрать оружие и уже протягивает руку.

Раздается грохот. Артюр вскрикивает от боли — пуля попала ему в запястье.

Верлен стреляет еще раз, на этот раз мимо — пуля рикошетит от пола и застревает в стене.

Все происходит на глазах мадам Верлен.

Она бросается к Рембо, чтобы перевязать ему руку. Усаживает на кровать. Кровь идет, не переставая, платок промокает насквозь, капли стекают на пол. Артюр бледен, губы его плотно сжаты, он морщится от боли, но молчит.

Поль бросается на соседнюю кровать, плечи содрогаются от рыданий.

Протягивает Артюру револьвер:

— Возьми, ради бога! Убей меня!

— Нужно обратиться к врачу, — говорит Стефани. — Пойдемте!



Втроем они направляются в больницу святого Иоанна. Рембо объясняет, что случайно поранился, неосторожно обращаясь с оружием. Ему делают перевязку, дают успокоительного и приглашают прийти на следующий день — надо извлечь пулю.

Всю дорогу до гостиницы Верлен плачет и кается.

— Ничего, — говорит Рембо. — Это не помещает мне сесть на вечерний поезд.

Он упрям, как стадо быков.

Верлен в отчаянье. Значит, все было напрасно? Все рушится! Все потеряно! Он потерял Матильду и теперь теряет Артюра!

Стефани спешно выдает Рембо деньги на дорогу. Артюр больше не собирается в Париж, он намерен вернуться к матери в Шарлевиль. Вроде бы компромисс найден. Но Поль не хочет, чтобы Артюр покидал его.

Верлен вызывается проводить его до Южного вокзала. Лучше бы ему остаться в отеле!

Роковой для Поля путь: от Гранд-Плас до Руппской площади. На полпути Верлен вдруг выходит вперед и поворачивается лицом к Рембо.

— Умоляю тебя, останься.

Артюр молча идет вперед.

— Я не пущу тебя! — кричит Верлен и резко сует руку в карман.

Его лицо искажено яростью. Это уже было сегодня. В кармане револьвер!

Рембо бросается бежать. На посту на площади стоит полицейский. История даже сохранила его имя: Огюст-Жозеф-Мишель.

Артюр указывает на Поля:

— Помогите, он хочет меня убить!

Некоторые слишком строгие биографы склонны осуждать Рембо: трусил, побежал, сдал друга. Однако опасения Артюра были не беспочвенны: в комиссариате



полиции открыли коробку с патронами, купленную Верленом их оказалось 47, а значит, револьвер был заряжен. А в том, что Поль вполне в состоянии нажать на курок, Артюр уже убедился на собственной шкуре.

Итак, всех троих ведут в участок, где они вынуждены дать объяснения. Показания эти сохранились, и, читая, поражаешься, насколько люди способны противоречить сами себе и врать, невзирая на логику событий. Верлен тут же рассказал о своих планах самоубийства из-за бракоразводного процесса с женой и о том, что жена обвиняет его в безнравственной связи с Рембо, что является бесстыдной ложью. Его друг, несмотря на все его мольбы, тоже решил его покинуть, чем привел в полное отчаяние, и Поль выстрелил в него в минуту помутнения рассудка. И вообще был пьян и ничего толком не помнит.

— Мне непонятно, почему отъезд друга мог повергнуть вас в такое отчаяние, — резонно замечаетследователь. — В каких вы были отношениях?

— Это клевета! Гнусные слухи, распускаемые моей женой!

Через несколько дней «гнусные слухи» подтвердила медицинская экспертиза.

Рембо то обвиняет Верлена в подготовке убийства, то упоминает о его суицидальных намерениях, то вообще отказывается от всех претензий. Последнее не удивительно: отказ от поддержки обвинения позволяет Рембо выйти из дела и избежать многих неприятностей, например медицинской экспертизы.

Мадам Верлен показала, что Рембо жил на средства ее сына, Поль купил револьвер, чтобы отправиться в путешествие, выстрелил в Артюра в результате ссоры, а по пути на Южный вокзал Рембо попросил полицейского арестовать Поля совершенно без всякого к тому повода.

Суд состоялся 8 августа 1873 года. Прокурор посетовал, что дело разбирает гражданский суд, а не военный



трибунал, для которого пьянство не является смягчающим обстоятельством, и попросил для Верлена максимального срока по статье об умышленном причинении телесных повреждений — три года. Приговорили к двум. На публике Поль держался, но как только его вывели в коридор, расплакался так, что его начали утешать даже тюремщики.

Бельгийские тюрьмы XIX века выгодно отличались от современных российских. В тюрьме «Маленькие кармелиты», где Верлен отбывал предварительное заключение, мать навещала его дважды в неделю, по вторникам и четвергам, и он имел «свой кошт», позволявший за свои деньги иметь приличное питание, постель и отдельную камеру. Причем одиночка не могла его особенно тяготить, поскольку с шести утра до восьми вечера двери камер оставались открытыми, и общение заключенных не возбранялось.

После суда его перевели в тюрьму в городе Монс, «Монсский замок». Стефани и здесь выхлопотала для него «свой кошт». Его перевели в отдельную просторную камеру и позволили держать у себя целую библиотеку. Здесь Верлен перечитал всего Шекспира, в оригинале, с примечаниями и комментариями, давал уроки французского одному из надзирателей и, конечно, писал стихи.

Но и одной тягостной тюремной атмосферы, неизбежных унижений и отсутствия свободы оказалось достаточно для впечатлительного поэта. Говорят, в тюрьме атеистов нет. Она слишком похожа на преддверие ада, чтобы в ней водились атеисты. Верлен обратился в католичество и начал посещать все мессы и молиться с истинным пылом неопфита.

Потом, по выходе из тюрьмы, он попытается обратиться Рембо, и будет писать ему полные веры письма, за что заслужит прозвище Лойола.

Его выпустили досрочно за хорошее поведение и отбывание заключения в одиночке.



В тюрьме он написал католический сборник «Мудрость», который, увы, не пришелся ко двору. Католицизм был не в моде, и автору удалось продать только восемь экземпляров из пятисот. Последующие исследователи называли его лучшим сборником Верлена.

Последняя встреча с Рембо произошла в 1875 году в Штутгарте.

Разговор начался с высоких материй: вера, христианство, Бог. Но Рембо остался глух к проповедям друга. Исследователи склонны издеваться над Лойолой. Но так ли уж он был наивен? Рембо и сам не был чужд мистицизма. Его «Сезон в аду» настолько переполнен им, что некоторые католические биографы склонны записывать Артюра в свои ряды.

Конечно, они выдают желаемое за действительное. Рембо был сам себе мессией и не терпел никакой конкуренции, даже в лице Христа.

— Пошли погуляем по городу! — раздраженно предложил Артюр.

Они пошли гулять по кабакам. «Три часа спустя мы отвергли его Бога и заново распяли Спасителя, заставив кровоточить все 98 ран Христа», — потом написал Рембо. Поль обратился и, видимо, искренне, но сильнее не стал. Рассказывают, что была и драка, и Артюр бросил избитого друга, которого утром подобрали крестьяне. Это скорее всего не соответствует действительности. Они обменялись текстами: Рембо передал Верлену стихотворения в прозе «Озарения», которые тот бережно сохранил и впоследствии опубликовал, а Верлен Рембо — рукопись «Мудрости», которую Артюр утопил в сортире.

Но расстались они мирно, и Верлен уехал в Париж, а потом в Лондон.

На этом история любви двух поэтов заканчивается, и начинаются две истории: поэта Верлена и негоцианта Рембо.

ИСТОРИЯ НЕГОЦИАНТА РЕМБО

Рембо оставил поэзию. Это случилось еще до Штутгарта, до последней встречи с Верленом.

Вся его поэтическая карьера казалась сплошной неудачей.

Он так и не был признан. Тираж единственной книги, изданной при его жизни («Сезона в аду», 500 экз.), он не смог выкупить за отсутствием средств на оплату типографских расходов, и в начале XX века ее нашел на складе бельгийский библиофил Леон Лоссо, уничтожил 75 экземпляров, чересчур отсыревших и поеденных крысами, а остальные выкупил по себестоимости.

Артюр не был востребован как поэт. Лесть Верлена? Он сам выходил тиражами по 500 экземпляров, которые не мог продать. Слава Поля была впереди, на закате жизни, когда он потерял все и жил за счет пожертвований или скитался по больницам. Да и стоило ли прислушиваться к мнению любовника? Даже лесть друзей не особенно ценна. А на пять человек, которые говорят, что ты гений, всегда найдется пять, которые скажут, что ты графоман.

В 1874 году поэт Артюр Рембо умер. И родился... Путешественник? Грузчик в Марселе? Нищий с паперти храма Святого Штефана в Австрии? Глашатай шведско-



го цирка? Управляющий каменоломней на Кипре? Дезертир-рецидивист? (Рембо несколько раз записывался в армии разных стран мира и неизменно «прокидывал» военных, едва получив денежное довольствие.)

Кажется, что в судьбе Рембо причина и следствие поменялись местами; обычно человек сначала меняет десятки профессий, скитается, ищет место в жизни, а потом становится писателем. Рембо сначала перестал быть поэтом, а потом начал искать место в жизни. С 1875 по 1880 год он сменил около тридцати шести профессий.

И наконец, оказался в Хараре — главном торговом пункте Южной Эфиопии на должности агента торгового дома «Виане, Мазеран, Бардей и К°».

И вот он торгует кофе, хлопком, кожами, слоновой костью, благовониями, потом — оружием, а по мнению американской исследовательницы Энди Старки, и рабами. Ему удастся скопить шестнадцать тысяч франков золотом, которые он постоянно носит с собой, зашитыми в пояс.

И вся поэзия уже кажется баловством и пустой потерей времени.

Рембо мечтает о семье, о том, чтобы реализовать себя в детях, жалеет, что не женился, и вроде бы собирается жениться на некой абиссинке, которая живет с ним. Но абиссинка внезапно исчезает из его жизни, не оставляя следов, что позволяет некоторым исследователям считать ее выдумкой биографов-апологетов Рембо, до последнего пытающихся отрицать его гомосексуализм.

Зато есть верный слуга Джами Вадаи. Он появился в жизни Рембо где-то около 1883 года, когда Артюр подобрал 14-летнего юношу из племени харари и спас от голода. Рембо вспомнит о нем на смертном одре и завещает 750 талеров.

Кто он был этот Джами? Слуга? Друг? Наперсник?



Или любовник?

Харар. Священный город ислама с 82 мечетями, окруженный рыжеватой крепостной стеной. Узкие извилистые улицы, мощенные камнями неправильной формы, приземистые мазанки с плоскими крышами. В 1888 году Рембо возглавляет здесь факторию.

Он снимает небольшой дом за сорок франков в месяц и считает это мотовством.

На рубеже тысячелетий дом Рембо в Хараре будет восстановлен. Реконструкция обойдется в пятьдесят тысяч фунтов стерлингов — сумму, которую бывший хозяин не решился бы потратить даже с учетом инфляции за столетие. Получился красивый трехэтажный особняк с деревянным фасадом и балконами. Подлинность его сомнительна, скорее всего дом Рембо был гораздо скромнее.

1888 год. Вечер. Справа — закатное небо, красно-золотое, похожее на накидку харарской женщины, слева — загораются звезды Южного Креста. Пахнет благовониями, кофе и сомнительными ароматами сточных канав. Артюр на балконе, курит неизменную трубку. Он высок, тощ и почти сед, хотя ему немногим больше тридцати.

С восьмидесяти двух точек небольшого города раздаются тягучие крики муэдзинов, местное население творит салат ал-магриб — закатную молитву. «Аллах Акбар!» — раздается где-то в глубине дома — это творит салат Джами — любимый слуга.

Артюр и сам чуть было не обратился в ислам. Еще пять лет назад он заказал Коран на арабском и французском, научился покорности судьбе, лукавому слову «иншаллах»^{*} и обреченному «кутиба»^{**}, и стал подписываться «Абдаллах Рембо».

^{*} Если Богу будет угодно (араб.).

^{**} Так было суждено (араб.).



Дело испортило то, что Артюр спорил с мусульманами о смысле их священной книги, и бывал бит. В результате шахада* так и не была произнесена.

Темнеет, торговцы возвращаются с рынка, пустеют улицы. Скоро там останутся только нищие, собаки да гиены, дерущиеся за отбросы и с теми, и с другими.

— Господин? Подавать ужин? — раздается голос Джами.

Рембо входит в комнату, кладет трубку на столик возле дивана. Джами зажигает свечу.

— Оставь! Иди сюда! — говорит Артюр.

Он обнимает темнокожего юношу, целует мочку уха с медной серьгой и полужакрытые глаза, заставляет снять тунику-камис**. Цветная вышивка у ворота в сумерках кажется почти черной.

Смуглая рука господина ложится на плечо слуги цвета кофейных зерен, скользит вниз к поясу штанов-сури.

— Сними это! — шепчет Артюр на наречии харари.

Юноша покорно раздевается.

Как же он красив! Тонок, гибок, волосы скорее волнистые, чем кучерявые, черты лица почти европейские, только утонченнее: мальчик — черная пантера, юноша с лицом египетского жреца, дитя солнца и пустыни.

Джами помогает господину снять холщевую рубаху. Рембо сам отстегивает свой золотой запас, и на стол ложится пояс с восьмью килограммами монет.

Юноша опускается на колени, черные пальцы касаются брюк Артюра и тянут их вниз.

Губы берут кончик воздетого члена и пускают его глубже, черные руки обнимают бедра господина. Белый муж-

* Свидетельство веры: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — пророк его». Для того чтобы стать мусульманином, достаточно произнести шахаду (по-арабски и в присутствии уважаемых свидетелей).

** Камис — традиционная эфиопская одежда, туникообразного покроя.



чина и черный юноша. Почти по Бодлеру. Французская любовь в Абиссинии.

У белого есть еще одно разногласие с Кораном — за любовь, которая нравится Рембо, шариат наказывает смертью.

Артюр стонет и до боли сжимает плечи слуги. Тот глотает горячую струю. Наконец, господин позволяет ему встать. Сам тяжело опускается на диван. В последнее время его мучают то ли ревматические боли, то ли артроз.

— Подавай ужин, — коротко приказывает он.

С кухни доносится запах домашнего пива, жареной баранины, пряностей и гульбана, эфиопского хлеба.

Дальнейшие события заставили Рембо усомниться в верности Джамии Вадаи. Харарец решил жениться. Верно, нашел свою Матильду с нежным исламским именем. Лейлу? Фатиму? Аишу?

Может, именно поэтому в 1889 году Рембо пишет своему другу швейцарскому инженеру Альфреду Илгу: «Я напоминаю о своей просьбе достать мне хорошего мула и двух мальчиков-рабов».

И получает отказ: «Я нашел Вам хорошего мула... Что касается рабов, простите, я не могу этим заниматься, я никогда не покупал рабов и не хочу ввязываться в это...»

Видимо, замену Джамии Артюр так и не нашел, и ему осталось только проклинать европейские стереотипы, иногда не уступающие негритянской тупости.

В начале 1891 года ему становится хуже: его мучают боли в ноге, ревматизм и варикозное расширение вен. Он пытается лечиться эластичными чулками, мазями и припарками, но продолжает работать. Ничего не помогает. Нога распухла, кровообращение стало болезненным, боль пронизывает от лодыжки до поясницы.

15 марта он вынужден лечь в постель. Он расположил кровать между кассой, бухгалтерией и окном, отку-



да видны весы, установленные в глубине двора, и продолжает делать деньги.

В фильме «Полное затмение» смерть Рембо показана почти как в «Снегах Килиманджаро»: он поцарапал колено, в гнилом африканском климате царапина воспалилась, и дело кончилось гангреной и заражением крови.

На самом деле болезнь Рембо куда прозаичнее. Это гидроартроз, в ходе которого в суставах скапливается серозная или синовиальная жидкость — наследственная болезнь в семье Рембо, от которой умерла его сестра Витали и умрет вторая сестра Изабель. В случае Артюра дело осложнял застарелый сифилис.

В апреле Рембо вынужден покинуть Харар.

По его эскизу делают крытые кожей носилки, он нанимает шестнадцать носильщиков и отправляется в Сайлу, порт на побережье Аданского залива, чтобы оттуда отплыть в Адан, а затем в Марсель.

Сезон дождей. Капли барабанят по кожаной крыше, дует ветер, влажно и холодно, носильщики скользят и спотыкаются о каждый булыжник, носилки то и дело грозят опрокинуться, а больной с каждым толчком испытывает чудовищную боль.

Наконец Рембо достигает Адана, где ему рекомендуют ампутацию ноги. Артюр не решается. Он улаживает торговые дела и в начале мая получает вексель на сумму 37 450 франков — итог всех его трудов. Вексель подлежит оплате в Париже в течение десяти дней. Артюр так и не сможет его обналичить.

20 мая он уже в Марселе, а 25-го ему ампутируют ногу. Его посещает мать, потом сестра. Наступает временное улучшение, и он возвращается на родину, в Рош, где его мать держит ферму.

Но к осени ему снова становится хуже, и он возвращается в Марсель, уверенный, что для выздоровления



нужен сухой и жаркий климат. Он бы отправился и дальше: в Алжир, в Йемен, в Адан, в Абиссинию, в Харар! Но это невозможно. Болезнь прогрессирует. Культия опухла, правая рука постепенно утрачивает подвижность, левая нога отекала.

Его сопровождает сестра Изабель и остается с ним до конца.

Он снова в больнице «Непорочного зачатия».

Врачи откровенно говорят Изабель, что ее брат обречен, ему осталось максимум несколько недель. Диагноз: саркома и карцинома.

Артюру лгут о скором выздоровлении. Но он и сам все понимает. «Я буду гнить в земле, а ты греться на солнышке!» — бросает он сестре.

25 октября его навещает священник, который выслушивает исповедь и говорит Изабель об обращении брата. Было ли оно, это обращение богохульника и закоренелого антихристианина Рембо? Почему бы и нет? Верлен обратился в тюремной камере, так похожей на склеп, почему бы Рембо не уверовать на пороге настоящей смерти? Одно другого стоит, и история знает множество примеров обращений в христианство и более сильных личностей: Франциск Ассизский уверовал в плену, а Игнатий Лойола — умирая от раны, полученной при защите Памплоны.

Но вряд ли Артюр в одночасье стал ортодоксальным католиком. Его вера была более универсальной, близкой вере философов, а не ханжей и домохозяек. Говорят, он не только призывал Христа и молился с распятием в руках, но и шептал: «Аллах керим!» — «Да свершится воля Божья!»

По крайней мере, его так и не причастили.

Боли усиливались, и Артюру начали давать морфий. Его мучили кошмары, он бредил, но говорил тихо и отчетливо.



— Набери верблюдов, Джами, — шептали серые губы, и большая крестьянская рука, левая, единственная еще способная двигаться, сжимала маленькую руку сестры. — Шевелись; черная скотина! Грузи караван. Мы едем в Адан. Быстрее! Быстрее! Мы можем опоздать!

Он плакал. Голубые глаза с синим обводом — единственное, что напоминало о юноше с пухлыми щеками тринадцатилетнего мальчика, который когда-то писал стихи. Сейчас он был похож на скелет, мертвенно бледен, с распухшей от огромной повязки парализованной правой рукой.

9 ноября он продиктовал Изабель письмо к директору Морской почтовой компании. Артуру казалось, что он на корабле и должен пересечь на другой: «Пришлите мне, пожалуйста, расценки... на переезд по морю в Суэц. Я полностью парализован, поэтому я хотел бы прибыть на борт загодя. Сообщите, к какому числу я должен быть на борту...»

Через сутки его не стало.

Изабель попыталась исполнить его завещание и передать 750 талеров Джами Вадаи. Но верный слуга не надолго пережил своего господина: он умер во время страшного голода, разразившегося в Абиссинии в 1891 году, и деньги достались его наследникам.

Смерть Рембо-поэта в девятнадцать лет и смерть Рембо-человека в тридцать семь кажется слишком трагической, слишком несправедливой — хочется поправить Провидение и поспорить с судьбой.

В 1986 году была опубликована книга Доминика Ногеза «Три Рембо». Там поэт дожил до 83 лет, написал несколько романов, в 1925 году обратился в католичество, а в 1930-м стал членом Французской Академии и дважды женился: в первый раз на Луизе Клодель, дочери своего почитателя Поля Клоделя, во второй — на исследовательнице своего творчества Энди Старки, той самой, что доказывала, что в Африке он торговал рабами.



Олег Волховский

Кто знает? Может быть, он и смог бы вернуться в литературу и умереть в своей постели академиком и рантье, если бы не умер тогда, в 1891-м?..

В реестре марсельской больницы была сделана запись: «10 ноября 1891 года в возрасте 37 лет скончался негоциант Рембо».

Только спустя 57 лет в больничном дворе появилась мемориальная доска, на которой утверждалось, что «негоциант Рембо» был еще и одним из величайших поэтов Франции.

ИСТОРИЯ ПОЭТА ВЕРЛЕНА И ЕГО ЖЕНЩИН (а также мужчин)

После расставания с Рембо Верлен отправился в Англию, где работал учителем рисования и французского языка: сначала в Стикни под Бостоном, потом в Борнмуте на берегу Ла-Манша. И наконец, нашел работу на родине в коллеже Нотр-Дам в Ретеле.

Итак, 1877 год. Коллеж Нотр-Дам располагается в бывшем монастыре XVI века. Поль занимает комнатку на втором этаже монастыря, обставленную очень скромно: стол, кровать, несколько стульев и скамеечка для молитв. Стены украшены лубочными картинками с изображениями Девы Марии и сердца Иисусова.

Поль исключительно набожен: не пропускает ни одной мессы, регулярно причащается, общается со священниками. Ученики прозвали его «Иисус Христос». И ничто не предвещает близкого «падения».

На второй год в коллеже Верлен снова начинает пить, хотя и не позволяет себе абсента — только вермут и горькие настойки. «Полумонастырь» уже начал его раздражать, он мечтает о возвращении в Париж.

В этом году в классе Верлена появляется новый ученик. Это Люсьен Летинуа, сын крестьянина из Кулома,



деревни неподалеку от Ретеля. Ему восемнадцать лет. Он не слишком умен, зато прямодушен, честен и открыт. Он высок и худощав, у него темные волосы и живые карие глаза.

Отношения учителя и ученика быстро становятся подозрительно близкими. Биографы, склонные к апологетике, естественно, отрицают плотскую составляющую этой связи и утверждают, что Люсьен заменил Полю сына, а вовсе не Рембо. Ему действительно далеко до Артюра: со старинных фотографий смотрит симпатичный молодой человек с аккуратной прической и честными глазами — ни порыва Рембо, ни его злости, ни энергии. Но некоторые фразы и Верлена, и его нового друга заставляют усомниться в ангельском характере этих отношений.

На следующий год Поля увольняют из коллежа, то ли за пьянство, то ли в результате излишней откровенности на исповеди, где Верлен рассказал о своей прежней жизни, упомянув и тюремное заключение. Поль снова едет в Англию, и Люсьен отправляется с ним. Родители юноши не возражают. Поль находит своему подопечному место преподавателя в Стикни, а сам направляется в Лимингтон в графстве Хемпшир. На рождественских каникулах они встретились, и Поль узнал, что преподавателя из Люсьена не вышло, он был слишком мрачен, замкнут в себе и никому не нравится.

Друзья уезжают в Лондон. Опять город из Библии? Опять Содом?

Здесь Поль сочиняет стихотворение, которое потом войдет в сборник «Любовь»: «Угрызение в смертельном грехе сжимало наши одинокие сердца... И отчаяние наше было таким, что мы совсем забыли о земле». Они оба верят слишком горячо, и слишком ортодоксально.

Люсьен признается Полю, что влюбился в некую девушку из Бостона, что Верлен воспринимает слишком



болезненно для приемного отца. Люсьен разрывает с ней отношения, а Поль решает его больше не покидать.

В 1880-м Люсьен и Поль возвращаются во Францию, и Верлен покупает ферму на имя родителей Летинуа, Стефани неохотно соглашается дать денег.

В конце 1880 года Люсьена призывают на военную службу, но в результате усилий Верлена он служит год вместо пяти, сдав при его помощи общеобразовательный экзамен. Любовники вовсе не расстаются: Верлен везде сопровождает воинскую часть и снимает жилье поблизости от военных лагерей.

Тем временем родители Летинуа залезают в долги, чтобы докупить земли к ферме, подаренной Верленом, и разоряются. Ферму арестовывают и продают с молотка. Поль снова устраивает Люсьена преподавателем.

К этому времени относится фраза Люсьена о Верлене, довольно странная для приемного сына: «Если бы я его не любил, я бы немногого стоил. Если бы я стал его обвинять, я был бы не прав, ведь у него были добрые намерения. Что можно сказать с уверенностью, так это то, что было бы лучше, если бы мы никогда не встретились».

3 апреля 1883 года Люсьен заболел тифом. Верлен тут же примчался в больницу и навещал его каждый день. Три дня молодой человек пролежал в коме и умер 7 апреля в восемь утра в возрасте двадцати трех лет.

Верлен был в отчаянии. Он плакал и молился на могиле друга, обвиняя во всем себя и считая его смерть божьей карой. За что, если между ними ничего не было?

После смерти Люсьена жизнь Поля начала катиться под откос: он снова пьет, безудержно мотает деньги, заводит гарем из нескольких молодых людей, жена окончательно с ним разводится, и, наконец, он совершает покушение на мать, за что вновь попадает в тюрьму.



Верлен устраивает дома скандалы, угрожает и требует денег.

Мать скрывается у соседей — супругов Дав из Бельгии. Пьяный Верлен врывается к ним, хватая мать за руки с криком: «Если ты не вернешься — я убью тебя». В руке у него появляется нож. Бельгийцы вырывают Стефани из рук обезумевшего сына.

Если бы Верлен промолчал, все бы обошлось и забылось, мать не была склонна обвинять обожаемого Поля, что бы он ни натворил. Но Верлен подал жалобу на Давов, обвинив их во вторжении в частное жилище, куда заходила только его мать, чтобы забрать вещи. Давы подали контржалобу, которая была гораздо серьезнее: его обвинили в том, что он угрожал матери убийством. Это преступление наказывалось смертью. Именно этого наказания и потребовал для него на суде прокурор Республики. Но суд приговорил его к месяцу тюрьмы и штрафу в 500 франков.

И вот он в тюрьме в Вузьере. После первого заключения она кажется отчим домом. В ней сидят четыре-пять человек, на окнах деревянные решетки, крашенные в черный цвет (под железо), заключенные играют с надзирателем в монетки и ловят ворона по кличке Николя, который гадит на стиранное белье. Верлен подметает спальню, читает вечерние молитвы и прилежно, каждое воскресенье, встречается с местным кюре. А в тюремном дворе, окруженном живой изгородью из цветов, есть скамья, где можно сидеть, покуривая трубку, и сочинять стихи.

После тюрьмы Верлен вышел из запоя, но в течение четырех с половиной месяцев вел жизнь бродяги. У него не было крыши над головой: перед отсидкой он успел продать за бесценок ферму матери в Мальвале, которую она выкупила у Летинуа.

Тем временем слава его росла, еще до тюрьмы он издал «Проклятых поэтов» — сборник статей о малоизвест-



ных или совсем неизвестных поэтах: Корбьере, Рембо и Малларме с приложением их стихов. Сборник мгновенно разошелся. Опубликовали и его самого, причем впервые за счет издателей.

Но литературный успех не отражается на материальном положении. Летом 1885 года он вместе с матерью снимает квартиру в гостинице «Миди» в заваленном металлоломом, мусором и прочим хламом тупике Сен-Франсуа в одном из беднейших районов Парижа. Его соседи пенсионеры, священник-расстрига, старьевщики, попрошайки и несколько проституток.

Квартирка на первом этаже: земляной пол, заплесневелые обои, влажность и холод. Верлена начинает мучить ревматизм так, что он не может ходить, а в январе 1886 года от воспаления легких умирает мать. Поль не может проститься с ней, потому что они лежат в разных комнатах.

Комнату матери опечатавают по иску Матильды: за двенадцать лет Верлен не заплатил ни су алиментов. Приходит судья, чтобы снять печати: в комнате Стефани ничего нет, там нечего арестовывать, но Поль вспоминает, что от матери остался какой-то пакет акций, возвращенных в старые журналы, и безропотно отдает их судье. Акции там на 20 тысяч франков — целое состояние!

В марте 1886 года в жизни Верлена появилась Мари Гамбье, пышная рыжая девица, подрабатывавшая проституцией. «В красном корсаже в белый горошек она похожа на пожар», — восхищенно писал Верлен. Она стала его любовницей, но уходить с панели не собиралась. «Это дело по мне», — говорила она.

В семь вечера она уходила из дома и возвращалась в одиннадцать, иногда в стельку пьяная. Верлен не отстаивал от нее. Он пил, как в худшие периоды жизни с Рембо.

Вскоре Мари бросила его. «Ты слишком ученый для меня», — заявила она.



Из его жизни исчезла женщина, зато появился мужчина. В 1886 году Верлен знакомится с молодым художником, музыкантом и поэтом Фредериком-Огюстом Казальсом. Казальс — эстет и декадент до мозга костей. Он одевается по моде полувековой давности: смотрит на окружающих через монокль, носит редингот, жилет с золотыми или перламутровыми пуговицами и гусарские панталоны. Зимой этот костюм дополняет темная широкополая шляпа, летом — соломенная с белой лентой.

Молодой художник восхищен новым другом:

Голова сатира или Будды,
Красота — но та, что у Сократа,
Смесь Бодлера с Ламартином — чудо!

И делает около 150 графических работ, эскизов и картин с изображением Верлена.

Их отношения пока довольно спокойны, но в 1887 году судьба предоставляет Полю возможность построить столь любимый им любовный треугольник.

Сентябрь 1887 года. Дешевый кабачок. Верлен заказывает очередную порцию абсента. В соседней комнате танцуют, оттуда доносятся звуки аккордеона.

На пороге появляется женщина лет тридцати.

— Боже, какая жара! Хозяин, воды!

Она говорит с сильным северным акцентом.

— Вы с севера? — спрашивает Верлен. — Я долго жил там.

— Тогда поставь мне стаканчик в честь нашей родины.

Одним стаканчиком дело не ограничилось. Верлен вспоминал, что они проболтали до самого вечера. Прекрасная северянка оказалась Филоменой Буден, по прозвищу Эстер, парижской проституткой.

Их связь продлится семь лет.



Верлен почти нищ, он снимает каморку в третьесортной гостинице, недоедает и живет подачками друзей по поэтическому цеху. Но убеждает любящую деньги Эстер, что все вокруг ему должны. Вскоре издатель Ванье действительно выплачивает аванс за очередную книгу.

Десять последних лет жизни Верлена — это постоянные скитания по больницам и страшная бедность. Поль расплачивался здоровьем за грехи молодости, у него осложнения после сифилиса и гонореи, ревматизм, артрит, диабет, гастрит, цирроз печени и болезнь Рембо — гидроартроз. Список больниц занимает в его воспоминаниях целые страницы.

Филомена навещает его, приносит фрукты и лакомства. Казальс не только навещает, но и составляет компанию, удивительным образом подгадывая болеть одновременно с Полем.

Летом 1888 года дружба с Казальсом перешла в новое качество. Престарелый поэт проникся к юному художнику такой же сумасшедшей страстью, как к Рембо и Люсьену Летинуа. Он порывается посвящать ему стихи, снимает квартиру поблизости от него, просит разрешить посвятить очередную книгу.

Но Казальс вовсе не в восторге от его сентиментальности. То ли он слишком разумен, чтобы допустить скандалы вокруг своего имени, то ли равнодушен к однополрой любви, то ли не отвечает Верлену взаимностью. По крайней мере, он старается держать друга на расстоянии и не позволяет ему слишком откровенных выходок. Но остается другом, импресарио, доверенным лицом и поддерживает во всем.

В мае 1889 года друзья начинают не на шутку ссориться. «Решительно, мы должны видаться как можно реже, — пишет Верлен. — Наши характеры, если не наши души, несовместимы».



Одна из причин разрыва — сплетни: над этими странными отношениями насмеются у них за спиной. Верлен умоляет Казальса не обращать внимания и жалуется на врагов и клеветников. Его письмо к Казальсу вполне в его духе — конец противоречит началу: «Милый мой, меня постоянно преследуют, постоянно строят мне козни, упрекая меня за мою чистую — такую чистую! — дружбу к тебе. Я никогда не скрывал, что у меня к тебе «страсть», а мои приступы ревности, приступы злобы (последние, впрочем, бывали у нас обоих) — только безусловные ее доказательства».

В мае 1889 года Верлен пишет завещание в пользу Казальса. Правда, завещать ему нечего, кроме разве что авторских прав на сборники стихов.

При этом он продолжает встречаться с Филоменой-Эстер. История с Матильдой и Рембо повторяется, но «тротуарная Беатриче» Филомена не обладает наивностью девушки из обеспеченной семьи и сразу приказывает Верлену порвать с Казальсом. Последний стремится к тому же, он уже перестал бывать у Верлена, потому что тот заставляет его следить за Эстер, которая изменяет ему направо и налево, а роль соглядатая для Казальса отвратительна. Они вообще антиподы — вульгарная проститутка и утонченный декадент. «Что насчет доброй Эстер, с которой ты ведешь себя, как безжалостный Артаксеркс?» — пишет Верлен Казальсу и прилагает рисунок с изображением Казальса-Артаксеркса и простертой у его ног Эстер в роли Эсфири. Но помирить их не удастся. Они несовместимы, как когда-то Матильда и Артюр.

Филомена победила, как и Эсфирь. В июне 1890 года Верлен окончательно рвет с Казальсом, просит его вернуть вещи, книги, автографы и фотографии и больше не приходить к нему.

В любовном треугольнике снова не хватает одной вершины.



Впрочем, у Эстер много любовников, и Верлен страшно ревнует. Он встречается с гризетками из Латинского квартала, надеясь отомстить этим неверной возлюбленной. Хвастает, что провел двадцать ночей с двадцатью разными женщинами. Но она только пожимает плечами. Эстер неверна, но и не ревнива.

Любовный треугольник не удастся заменить многоугольником.

С горя Поль снова ложится в больницу.

Филомена навещает его по четвергам, заваливая цветами и лакомствами. Она смеется, целует милого больного и снова трогает его сердце. Верлен прощает все.

По выходе из больницы он поселяется в том же отеле, что и Филомена, но не с ней. Дело в том, что Эстер не одна — у нее есть сутенер Лакан, который берет Верлена под свое покровительство. Их полусовместная жизнь напоминает «менаж а труа», однако для прочих участников, кроме Верлена, этот союз скорее экономический, чем эмоциональный. Полю наконец начинают платить приличные гонорары: сначала за публикации, позже — за лекции, которые он читает в Бельгии, Англии и Голландии. Эти деньги, увы, не задерживаются в кармане престарелого поэта, живо перекачываясь сначала к Эстер, а от нее — к Лакану. Последний вполне благодарен и берется защищать Поля от неведомых врагов: «Господин Верлен — великий поэт, и тот, кому вздумается поднять на него руку, будет иметь дело со мной».

Филомена же относится к Полю весьма цинично: «Если у тебя есть деньги для меня, — пишет она, — то я приду, а если нет, то не приду».

Весной 1891 года Верлен неожиданно прогоняет Филомену, и его гонорары у издателя начинают получать другая женщина — маленькая и уродливая Эжени Кранц. В молодости она была танцовщицей и статисткой в массовых сценах, потом сменила искусство на роль содер-



жанки. После сорока от ее молодого задора почти ничего не осталось: курносый нос и ушедшая в плечи голова. Так что ей снова пришлось сменить профессию: она занимается шитьем жилетов на дому для фирмы «Бель Жардиньер». С Верленом она познакомилась через подругу — ту самую Филомену Буден.

Любовный треугольник, наконец, достроен. Роль Рембо в нем играла беззаботная и легкомысленная Филомена, роль Матильды — скупая, расчетливая и здравомыслящая Эжени. Последнюю он принимает в том же отеле, где живут Филомена и Лакан.

Начинаются скандалы.

Ситуация усугубляется тем, что Лакан — управляющий гостиницы, а Верлен задолжал за квартиру. Его грозят выкинуть на улицу.

17 сентября в гостях у Верлена молодой журналист Анри Колен. Квартирант и его гость шумят, и к ним заявляется Лакан.

— Вместо того чтобы пить, лучше бы заплатили за квартиру, — заявляет он Полю.

— Вам не стыдно драть три шкуры с гениального поэта? — парирует Колен.

Преппирательства быстро переходят в драку, и дело кончается тем, что несчастного Поля спускают с лестницы в двадцать пять ступеней. Он вынужден съехать, и поселяется на улице Декарта вместе с Эжени. «Женщина, которая достойна всяческого доверия и которую я очень люблю, — пишет о ней Верлен. — Она не дает мне делать глупости, заботится обо мне и моих делах».

Но не проходит и двух месяцев, как он снова возвращается к Филомене. Она получает за него очередной гонорар у Ванье и тут же спускает его с Лаканом.

История повторяется. Верлен ложится в больницу, а по выписке переезжает к Филомене. Но не надолго. Поль начинает ее ревновать, и она тут же выставляет его за



дверь, чуть не прикарманив все его вещи, которые удастся получить обратно только при посредничестве Казальса.

Эжени жалеет его:

— Ты мой ягненок, избежавший когтей волчицы. Она всегда будет тебя обманывать, и ты будешь несчастен.

Верлен переезжает к Эжени.

История повторяется несколько раз, Верлен снова мечется между своими возлюбленными, попеременно унижая то одну, то другую. Они не остаются в долгу и грабят его тоже попеременно.

Его друг Эрнест Делаэ пишет ему любопытное письмо: «Мои комплименты Эженегритянке и Эстигре, в зависимости от того, о мой капризный султан, какая из красавиц теперь в милости».

Поэты приглашают читать лекции в Голландию, и, чтобы спокойно к ним подготовиться, Поль в очередной раз переезжает от Филомены к Эжени.

Лектор он никакой, но громкая слава компенсирует этот недостаток. Он получает за них 900 франков — целое состояние для нищего обитателя больницы.

Вскоре Эжени заявляет, что деньги исчезли.

Верлен приходит в ярость и грозит спустить возлюбленную с лестницы. Консьержка вызывает полицию, и Верлен попадает в участок. Его быстро отпускают, но он впадает в отчаяние и оказывается на грани помешательства: как лунатик бродит по улицам, иногда останавливаясь, чтобы выругаться или постучать палкой по тротуару. Исчезает более чем на месяц так, что друзья не могут его найти.

В декабре Эжени находит его в отеле «Монпелье», где жили Филомена и Лакан. И обвиняет в краже Филомену. Верлен верит (или ему хочется верить) и снова возвращается к ней: «Тщательное расследование показало, что я ошибся в первоначальных выводах».



Но вскоре он снова ложится в больницу. Появляется Филомена, возмущается обвинениями Эжени и быстро переубеждает Поля. «Второе, контрольное расследование опровергло результаты первого, и теперь я знаю, откуда был нанесен удар», — заключает он и мирится с Филоменой.

Но перед лекциями в Бельгии успевает переехать к Эжени.

Из Бельгии он возвращается к ней, но о деньгах молчит.

Затем ложится в больницу, где продолжает роман с Филоменой. Эжени узнает об этом и уничтожает его «Записки о Голландии». Впрочем, большую часть рукописи «Две недели в Голландии» Верлен уже написал, так что беда поправима. Филомена принимает участие в восстановлении рукописи.

В августе 1893 года его отношения с Филоменой, кажется, переходят на новый этап. Он называет ее «милой суженой», даже женой. Зато Эжени превращается в «Чуму», «Холеру» и «помешанную с улицы Сен-Жак». Выйдя из больницы, он поселяется у Филомены.

И вскоре снова уезжает читать лекции, на этот раз в Лотарингию, в Нанси, а потом — в Англию.

Но Эжени не собирается сдаваться, она пишет Верлену в Англию: «Раскрой глаза! Пока ты там за границей разглагольствуешь, Эстер живет припеваючи, проматывая твои голландские денежки, да не одна, а со своим двадцатидевятилетним дружкой Альфредом».

Верлен пишет гневное письмо Филомене, пропадает на несколько дней, проматывает все заработанные деньги и начинает переговоры с Эжени, одновременно уверяя Филомену, что любит ее больше жизни. Он то оскорбляет ее «не ты ли без конца повторяла, что я для тебя лишь очередной клиент», то предлагает пожениться. Тем временем и Эжени получает от него письмо с



признанием в любви: «Тебя я тоже люблю. Ты всегда была добра ко мне, и работа спорится у меня в руках, лишь когда ты рядом. Не говори мне больше о той, другой. Докажи, что ты лучше, и все будет хорошо».

Наконец, он делает выбор в пользу Эжени и сообщает Филомене, что между ними все кончено: «Прощай, так будет лучше!..»

Вместе с Эжени они снимают квартиру на улице Сен-Жак. Высокие потолки, на подоконнике — птичья клетка с зябчиком и цветы в горшках — собственность Эжени. Из окна видна башня Сен-Жак. Верлен наслаждается покоем и уютом, но тяготится несвободой и суровым нравом своей спутницы.

В апреле у него появляется нарыв на ноге, и он ложится в клинику в Сен-Луи. Снова в больнице. Эжени навещает его и рассказывает о всех мелочах, что происходят дома: вплоть до здоровья птичек и красной рыбки. А Верлен строит планы бегства. Нет! Он ни за что не вернется в тюрьму на улице Сен-Жак!

Выйдя из больницы, он поселяется один в отеле «Лиссабон» и месяц наслаждается независимостью. Больше, чем на месяц его не хватает. Ему нужна «мамочка», которая бы опекала его и удерживала от глупостей. Он пишет Эжени и зовет к себе: «Приезжай, как только сможешь, давай же, ради бога, снова жить вместе, и на этот раз жить в мире!»

Но между ними происходит скандал, и теперь бежит Эжени, прихватив с собой его рукописи и личные вещи.

Делаэ пытается их примирить и устраивает ужин в ресторане, но, едва заметив Верлена, Эжени кричит:

— Он меня убьет!

Эрнест с трудом уговаривает ее вернуться в зал. Вечер начинается спокойно, но в середине ужина, Эжени вдруг встает с места и, не говоря ни слова, бросается к выходу. Верлен бежит за ней, но в дом не попадает — у



подъезда стоит полицейский. Она заранее вызвала полицию, опасаясь, что Поль попытается забрать вещи.

Отомстить чертовке Эжени Верлен решает давно проверенным способом — он возвращается (в который раз!) к вроде бы окончательно брошенной Филомене.

Эжени не остается в долгу. Она надевает новое платье и шляпку и заходит поболтать к консьержке Филомены. Консьержка восхищается нарядом.

— Это все господин Поль, — счастливо объясняет бывшая актриса Эжени.

Эстер узнает об этом, приходит в бешенство и выставляет Верлена за дверь. Напрасно он оправдывается, напрасно убеждает ее, что у него давно не было ни гроша, и ему нечем было оплатить пресловутые платье и шляпку. Филомену удастся вернуть самым простым и проверенным способом: «Как только я также смогу помочь тебе деньгами, я сделаю это, хотя ты и поступила со мной отвратительно», — пишет он, и Филомена возвращается.

В это время в кафе «Прокоп» готовится представление отрывка из пьесы Верлена «Мадам Обен». Все стены завешаны афишами. И надо же было Эжени оказаться поблизости! Она срывает афиши, заходит в кафе и начинает поносить автора пьесы. Уходит, хлопнув дверью, чтобы вскоре вернуться с корзиной, набитой вещами Верлена. И устраивает свой маленький спектакль для посетителей кафе: одну за другой она вынимает из корзины рукописи поэта и разрывает их в клочья, швыряет в потолок его белье, рубашки и носки и срывает уцелевшие афиши.

Так погибла рукопись неоконченной драмы «Людовик XVII», которую Верлен мечтал поставить с Сарой Бернар в роли наследника. Поль грозит подать на Эжени жалобу прокурору, но в конце концов предпочитает более мирное решение — он отдает ей весь доход с представления в кафе «Прокоп» — около 800 франков. Но Эжени непреклонна, отдавать вещи она не собирается.



В результате Верлен снова оказался в больнице.

Как обычно, после больницы он собирается жить с Филоменой и снимает комнату на улице Месье-ле-Пренс.

Но счастье его недолго. 10 февраля, после ухода Филомены, он обнаружил, что пропали все его сбережения. «Она клептоманка!» — воскликнул поэт и перестал пускать ее на порог. Больше ничего не предпринял: «Ну и черт с ней!»

И в очередной раз возвратился к Эжени. К рыбкам, птичкам, комнатным цветам и портрету Гюго на секретере.

А в это время в Англии идет скандальный процесс Оскара Уайльда, и толпа громит витрины с декадентскими книгами, так что издателю приходится бежать в Америку.

Декаденты почитают Верлена своим учителем, хотя он сам относится скептически ко всем новым веяниям. Но англичанам нет до этого дела — издание «Избранных стихов» Верлена в Лондоне сорвано.

Летом 1895 года Эжени принимает решение сменить квартиру: в ее мансарде зимой слишком холодно, а летом жарко, она совершенно не подходит для инвалида. Они переезжают на улицу Декарта, за Пантеоном и снимают небольшую квартирку на пятом этаже.

Здоровье Верлена ухудшается с каждым днем, он уже не выходит из дома. С финансами дела обстоят не лучше: нет денег даже на лекарства. Он пишет на заказ сошеты о книголюбях для журнала «Книжное обозрение» по десять франков за штуку.

31 декабря 1895 года вдруг забрасывает заказ и пишет стихотворение под названием «Смерть»:

Смерть, я любил тебя, я долго тебя звал
И все искал тебя по тягостным дорогам.
В награду тяготам, на краткий мой привал,
Победоносная, приди и стань залогом!



Ему остается жить восемь дней.

Филомена, узнав о его болезни, решается зайти и поздравить с Новым годом. Эжени набрасывается на нее с бранью и выставляет за дверь.

Верлен стонет:

— Дайте мне спокойно умереть!

У него снова нет ни гроша и нечем оплатить счета аптекаря, булочника и молочника. Один из друзей подарил ему на Новый год сто франков, и двадцать франков заплатили за стихи. Но этого мало, денег нет даже на уголь, а на дворе январь. Он пытается срочно выхлопотать субсидию в министерстве народного образования. Но времени уже нет!

5 января он просматривает корректуру стихотворения «Смерть». Ему осталось три дня.

В ночь с седьмого на восьмое января Поль просыпается от сильных болей в желудке, его мучает кашель, у него жар. Он пытается встать, но падает с кровати на пол и не может подняться. У Эжени не хватает сил ему помочь. Она стелет ему на полу, накрывает периной, но пол слишком холодный — грипп переходит в воспаление легких.

Только утром, с помощью соседки, Эжени смогла втащить его на кровать. Но было поздно, приглашенный к нему доктор Паризо признал больного безнадежным.

Находят священника, но у умирающего нет сил исповедоваться, и его только причащают. Он умирает поздно вечером 8 января.

На похороны пришло множество друзей Верлена, коллег по литературному цеху, просто знакомых и почитателей. На одни венки было потрачено столько, что и десятой доли было бы достаточно, чтобы спасти умиравшего поэта — закупить уголь, лекарство и хлеб, и оплатить долги.



Секс в эпоху декаданса

Эжени распоряжалась на похоронах, а вдалеке, стараясь не показываться ей на глаза, плакала и молилась Филомена. К счастью, первая не заметила вторую и обошлось без скандала.

Их смерти чем-то похожи: Рембо умер, не зная о своей славе, убежденный в том, что пришел к краху и так ничего и не сделал в жизни; Верлен свою славу застал, но она не принесла ему ничего, так и не вытащив из нищеты, подарив только роскошные похороны.

Так закончилась история человека, которого много позже Андре Моруа назовет «одним из самых чистых, самых воздушных, самых нежных французских поэтов, который прожил жизнь самую мерзкую, самую грязную и самую бурную».

ОСКАР УАЙЛЬД — СБЫВШИЕСЯ ПРОРОЧЕСТВА

«Не искусство копирует жизнь, а жизнь — искусство», — любил повторять Оскар Уайльд, и его судьба покорно следовала за его сказками, пьесами и романом. В его произведениях столько сбывшихся предсказаний, сколько нет, пожалуй, ни у одного автора.

Он родился 16 октября 1854 года в скромном районе Дублина. Что, впрочем, сомнительно. Авторы доброй половины его биографий утверждают, что это был 1856 год.

Его отец был известным врачом-окулистом, а мать страстной ирландской националисткой, писавшей под псевдонимом «Сперанца». Отважная до безрассудства, в статье с латинским названием «Jacta Alea Est» («Жребий брошен») она призвала к вооруженному восстанию: «Двести тысяч ружей уже сияют на солнце... Огромные баррикады перегородили улицы богатых кварталов... Быстрое решение, смелый прорыв — и земля в наших руках». В тюрьму ее не посадили, она сама выступала в суде над ирландскими националистами, прервав адвоката, и произнесла такую страстную речь о свободе и независимости Ирландии, что вышла из здания суда национальной героиней.



Репутация ирландской Жанны д'Арк, однако, не мешала ей с успехом играть роль обаятельной хозяйки богемного салона, выпустить многотомник ирландских легенд и перевести с немецкого романтическую историю «Колдуньи Сидонии», которой в ее переводе зачитывалась вся Англия.

Оскар был ее вторым сыном, и она была разочарована, потому что хотела дочь. До пяти лет одевала его в женскую одежду. «Это старинная ирландская традиция, — говорила она. — Маленьких мальчиков одевают девочками, чтобы обмануть злых фей, ведь они воруют и уносят в край болот только маленьких мальчиков».

Тем временем ее муж доктор Уайльд успешно оперировал катаракту у короля Швеции Оскара I, и тот в благодарность предложил стать крестным отцом для маленького Оскара.

Отец королевского крестника основал больницу в Дублине и вскоре стал личным окулистом королевы Виктории и получил дворянство. Сперанца была в восторге, оттого что стала «леди Уайльд».

1883 год. Уайльду двадцать девять. За спиной у него влюбленность в свою сестру Изолу и первые стихи на ее смерть, Тринити-колледж, участие в работе над книгой «Общественная жизнь в Греции от Гомера до Меандра» под руководством преподобного Джона Махэйффри — человека умного, эрудированного и не обремененного предрассудками. И увлечение историями любви Александра, Алкивиада и Сократа. Гомосексуальной любви, что кажется ему чистой и возвышенной и ассоциируется с эллинской красотой и философскими беседами в садах Ликейя.

Он окончил Оксфорд, где уже сделал свое первое предсказание: «Господь знает, что мне не быть деканом степенного Оксфорда. Я стану поэтом, писателем, дра-



матургом. Я, так или иначе, буду знаменит, ну если не знаменит, то, по крайней мере, известен». Там было увлечение католицизмом, фотографии папы и кардинала Мэннинга на стенах — того, кто призывал англичан к обращению в католическую веру. И свита из нескольких юношей, сопровождавшая его в иезуитскую часовню. И более традиционные развлечения: встречи с танцовщицами кабаре, окончившиеся сифилисом.

У него репутация светского льва и великолепного собеседника, заработанная в блестящем турне с лекциями по Америке. Он пережил несколько влюбленностей и выпустил сборник стихов. Одевается в «кюлот» — бархатные штаны до колен, обшитую шнуром короткую куртку и шелковые чулки. Теперь он — вождь эстетов, заявляющий, что реформа костюма гораздо важнее реформы церкви.

Но зарабатывать приходится лекциями: отец почти не оставил наследства, только маленькое имение в Мойтуре. Он колесит по Англии и Ирландии с лекциями об Америке и американцах, а его мать распродает книги из своей библиотеки.

В конце ноября у него две лекции в Дублине.

Он остановился в гостинице. После лекции его окликнул слуга:

— Сэр, вам записка!

В записке визитная карточка с именем Констанс Ллойд и приглашение посетить ее дом на Эли-плейс.

Да, конечно. Это та прелестная девушка с глазами-фиалками и копной выющихся каштановых волос, под тяжестью которых ее головка клонится как цветок и которая так серьезно и сосредоточенно умеет слушать. Констанс давно влюблена в него, впервые они виделись еще в 1880 году в Лондоне, в доме матери Уайльда, которая с удовольствием принимала у себя всех ирландцев.



Он принял приглашение. Констанс двадцать шесть и она по-прежнему очаровательна и влюблена, смотрит на него как на апостола, ловит каждое слово и считает величайшим из поэтов.

Огромный Оскар ростом метр восемьдесят, строен, но широк в плечах и длиннорук. Он на голову выше всех прочих, а в петлице у него цветет зеленая гвоздика, байроновская рубашка расстегнута на груди, и на шее повязан небесно-голубой галстук, темные волосы падают волнами до плеч и густо-синие глаза полны жизни и веселого задора. Сочетание изысканности и силы! Да как можно не любить его?

Вечером они идут в театр «Гэйети» на комическую оперу «Веселая герцогиня». Констанс почти счастлива, но и он не остается равнодушен. Ему льстят ее восхищенные взгляды, ее глаза сияют любовью, ее губы алеют и молчат, но как красноречиво!

«Но я полюбил ее с первого дня за то, что она полюбила меня», — Роберт Бернс — еще один поэт еще одной страны, угнетенной Великой Британией. Оскар Уайльд нигде не упоминает его, но ведь наверняка читал.

Есть еще одно менее романтическое обстоятельство: Констанс — богатая наследница.

Она — богатая наследница, а ему грозит нищета. Почему бы не решить проблему с помощью брака?

Прежде чем сделать предложение, он решил посоветоваться с матерью.

— Она недостойна тебя, — сказала леди Уайльд. — Эта ирландская девица, помешанная на детях и хозяйстве, даже не способна поддержать интеллектуальную беседу. Тебе нужна женщина, которая займет место рядом с тобой как равноправный партнер и сможет вдохновлять сердца людей на дела просвещения и свободы.

«Где же я найду вторую Сперанцу?» — думал Оскар.



— Я не позволю женщине разрушать твою душу только потому, что она называется супругой, — заключила вдохновительница ирландских националистов.

— Я люблю ее, — сказал Оскар. — Я не могу больше ни о чем думать.

Сперанца сдалась не сразу, но ее роскошная библиотека продолжала таять после ежедневных визитов букиниста, а у красивенькой пустышки сына было семьсот фунтов годового дохода. И леди Уайльд смирилась.

В перерыве между лекциями Оскар добрался до Дублина и сделал Констанс предложение. 26 ноября она рассказала об этом брату, однокашнику Уайльда по Оксфорду, и он тут же написал будущему зятю: «Я, правда, очень рад. Что касается лично меня, то можешь быть уверен, что я приму тебя, как брата; а если Констанс будет такой же любящей женой, какой она была мне сестрой, то вы, без сомнения, будете счастливы; она такая искренняя и верная».

Уайльд тут же сообщил новость друзьям. «Мы, конечно, безумно влюблены, — пишет он американскому скульптору Уолдо Стори. — Почти все время после нашей помолвки мне пришлось разъезжать по провинциям, “цивилизуя” их при помощи своих замечательных лекций, но мы дважды в день шлем друг другу телеграммы, благодаря чему телеграфисты настроены совершенно романтически. Впрочем, я подаю мои послания с самым суровым лицом и стараюсь выглядеть так, как если бы слово “любовь” означало зашифрованный приказ: “скупайте акции “Гранд Транкс”, а слово “любимая” — “распродайте по номиналу”. Уверен, что это помогает».

Они венчались 29 мая 1884 года в переполненной до отказа церкви. На невесте было светло-желтое атласное платье со стоячим воротником «медици», сшитое по эскизу жениха, а на Оскаре — строгий костюм по последней моде, и только зеленая гвоздика в бутоньерке напо-



минала об Уайльде «первого периода» — эстете, шокирующим публику необычной и яркой одеждой, ценителе белых гелиотропов и почитателе голубого фарфора.

На следующий день молодожены отправились в Париж.

Здесь их ждала почти королевская жизнь с приемами, посещениями театров и выставок, гостями и прогулками по городу. Так что денег хватило не надолго, и супруги были вынуждены вернуться в Лондон.

Салон леди Уайльд. Она принимает по субботам, чтобы не конкурировать со своей главной соперницей миссис Рональдс, любовницей сэра Артура Салливана, которая принимает по пятницам. Приемы матери Оскара не так роскошны, зато они интеллектуальнее: здесь собираются знаменитые писатели, художники и царит сам Оскар, блещущий остроумием. И рядом с ним его очаровательная жена, нежная, молчаливая и незаметная. Оскар заставляет ее носить экстравагантные наряды, которые только подчеркивают ее застенчивость. Вот и сейчас на ней нечто черное с зеленым а ля XVIII век — имидж разбойника с большой дороги. И над странным платьем — растерянное ангельское лицо.

Ко всему прочему Оскар часто покидает ее, продолжая читать лекции в разных городах Англии и Ирландии, а Констанс живет у тетки.

Наконец, она решила снять апартаменты в доме на Тайт-стрит и отделать их по всем правилам эстетства. Их назвали «Дом красоты». Роскошная библиотека с лепниной, огромный камин, картины на стенах, гостиная с тяжелыми малиновыми шторами и на камине — портрет Сары Бернар.

Теперь сюда стекается вся лондонская богема, но Констанс не тягаться с леди Уайльд, только Оскар оживляет эти приемы. На его жене широкое платье из белого муслина, на плечах — шафранная шелковая шаль и ог-



ромная шляпа на голове. А сама она тиха и застенчива, и боится высказывать мнение о книгах и пьесах, чтобы не сказать что-то не то.

Оскар подливает масла в огонь:

— Дорогая, не находишь ли ты, что миссионеров можно рассматривать как пищу, ниспосланную Господом Богом голодным каннибалам? Когда они доходят до грани голодной смерти, Небо милостью своей посылает к ним доброго толстого миссионера...

— Господи, Оскар! — восклицает Констанс. — Не может быть, чтобы ты говорил это серьезно. Ты, наверное, шутишь!

Гости прячут улыбки за веерами и в усы. Да она забавнее мужа! Только у него смешны остроты, а не он сам.

5 июня 1885 года у супругов Уайльд рождается первый сын Сирил. Он спит наверху, в детской, и временами упражняет свой голос в совершенно «вагнерианской» манере. Несколько недель Констанс и Оскар совершенно счастливы. В «Доме красоты» царит гармония и мир.

Но Оскар получает письмо от юного поклонника студента Кэмбриджа Генри Мэрильера. И отвечает ему несколько странным образом: «Наши самые пламенные мгновения экстаза — только тени того, что мы ощущали где-то еще, или того, что мы жаждем когда-нибудь ощутить. И вот что удивительно: из всего этого возникает странная смесь страсти с безразличием. Сам бы я пожертвовал бы всем, чтобы приобрести новый опыт... Есть неведомая страна, полная диковинных цветов и тонких ароматов; страна, мечтать о которой — высшая из радостей; страна, где все сущее прекрасно или отвратительно».

Что же это за новый опыт, который стоит всего остального? Что же это за прекрасная страна?

Констанс снова беременна. Она растолстела и подурнела, и от ее былой грации не осталось и следа. Оскар



разочарован, но все еще любит ее, пытается подбодрить: «Ты снова выглядишь усталой, Констанс, наверное, тебе надоели все эти люди».

После рождения второго сына Вивиана, Оскар неожиданно принимает решение переехать в отдельную спальню.

Он хотел дочь, он разочарован... Но в этом ли дело?

В 1886 году у Уайльда появился еще один юный поклонник — семнадцатилетний Роберт Росс. Он блестяще окончил Кэмбридж и познакомился с канадской актрисой Фрэнсис Ричардс, с которой был знаком и Уайльд. В 1887-м он уже снимает апартаменты в том же доме номер 16 по Тайт-стрит, что и Оскар.

Четвертый этаж. Спальня Оскара Уайльда, где он принимает ближайших друзей. Двери и деревянные панели на стенах выкрашены в красный цвет, на красном фоне — позолоченные листья лепнины. Ярко-красные, тяжелые шторы едва трогает ветер, за ними окно и дверь на широкий балкон с тонкими колоннами.

В кресле у камина — очаровательный темноволосый юноша с большими глазами и чувственными губами. Оскар любит его и желает, еще не признаваясь в своей страсти, не решаясь на ее воплощение.

Они говорят об искусстве, о любимой Уальдом Греции, о диалоге Платона «Пир», где воспевают любовь юношей, о любви Ахилла и Патрокла, Сократа и Алкивиада, о любви и преданности прекрасного Антиноя, который принес себя в жертву своему императору и возлюбленному.

Роберт встает, он изящен, как юный грек, его волосы слегка вьются, алеют влажные губы, и глаза полны желания. Он берет за руку Оскара, похожего на располневшего патриция, он становится рядом с ним на колени.



— Чем мы хуже? — говорит Робби и касается губами его руки.

Оскар наклоняется к нему, обнимает, целует в губы.

Робби вскакивает, сбрасывает пиджак, развязывает галстук.

Одежда Оскара падает на кресло.

Где-то там, внизу, Констанс с детьми, она ничего не заподозрит, ей даже не придет в голову! Кто такой Роберт Росс — очаровательный молодой человек с прекрасным характером, замечательный рассказчик и верный друг.

Оскар обнимает его за плечи, целует шею, Робби запрокидывает голову прекрасную, как у святого Себастьяна с картины Боттичелли. Он еще не пронзен, и его ждут не стрелы, а оружие более толстое и короткое. Вот оно, под его рукой. Твердое и разгоряченное. Робби опускается на ковер, касается губами горячей кожи возле устья с каплей молочной влаги.

Оскар опускается за ним, и вот они в объятиях катаются по ковра, не в силах оторваться друг от друга, а над ними плывут и клубятся красноватые сумерки спальни.

Робби на животе, возлюбленный раздвигает его ягодицы, и вот она маленькая пещерка его прекрасного Антиноя. И Оскар на входе в этот узкий запретный рай.

— Тебе не больно?

— Не бойся причинить мне боль, я хочу быть пронзенным!

Боль! Но наслаждение выше боли. Плоть сопротивляется, но пропускает чужую острую плоть. И плоть, как земля, в которой текут реки. Пока они заперты, но вздуты и переполнены, словно под весенним льдом. Еще минута сладчайшего напряжения и радостной муки. И реки взламывают льды и вырываются на свободу: где-то там внутри раскрываются маленькие губы, обнимая пульсирующий поток.



Любовники одеваются и выходят из спальни, держась за руки. Из гостиной слышны звуки музыки, это Констанс села за пианино. Ее руки еще изящны, еще похожи на маленьких птичек, что порхают над клавишами, но фигура изуродована двумя беременностями. Она оборачивается, усталые глаза на лице, уже тронутым увяданием, она приветливо кивает Робби, тихо улыбается, молчит.

Неужели не замечает, ни как они смотрят друг на друга, ни как их руки покойно лежат одна в другой.

— Добрый вечер, Робби! Дети уже спят. Оскар, приказать подавать ужин?

В 1893 году, через три года после знаменитого «Портрета Дориана Грея» из печати вышел странный роман. Он был издан анонимно, назывался «Телени» и был посвящен теме однополрой мужской любви. Обычно авторство приписывают его издателю Леонарду Смайзерсу. Но есть много косвенных доказательств, что его написал не кто иной, как Оскар Уайльд. Слишком стильно, слишком красиво, слишком изысканно для издателя, который больше ничем не прославился. К тому же по тексту разбросаны маленькие ключики, мелкие детали, указывающие именно на Уайльда.

Гостя Телени встречает аромат белого гелиотропа, одного из любимых цветов Уайльда, а деликатесы на столе у возлюбленного главного героя разложены «в посуде из нежно-голубого фаянса», который уже стал притчей во языцех и прямо указывал на Оскара, который, еще будучи студентом Оксфорда, приглашал гостей за стол именно с такой голубой фарфоровой посудой и просил их вести себя весело, но не шумно, чтобы не шокировать фарфор.

Роман оканчивается трагически, возлюбленный главного героя музыкант Телени кончает самоубийством,



словно тень нового увлечения Уайльда лордом Альфредом Дугласом уже пала на эту книгу, но сам Телени все еще смахивает на Роберта Росса — он темноволос, темноглаз и венгр по национальности. Роберт Росс, правда, канадец, но венгр — даже романтичнее. И зовут Телени «Рене», почти «Робби».

И в том же 1893 году выходит окончательная версия еще одного текста под названием «Портрет г-на У. Х.». На этот раз авторство Уайльда несомненно, да он его и не отрицает. Это не роман, это литературное исследование о Шекспире. Оскар пытается доказать, что адресатом сонетов великого барда был юный актер Уилли Хьюз, исполнявший женские роли в пьесах Шекспира, и его любовник! Пассажи, добавленные в 1893 году, представляют собой откровенную апологию гомосексуализма.

Но вернемся на год назад, в еще счастливый и не скандальный 1892-й. Премьера пьесы Уайльда «Веер леди Уиндермир». Автор здесь же, в ложе, вместе с женой и никому не известным молодым человеком удивительной красоты. Его заметили, о нем задумались: «Кто же это?» Но блистательные реплики актеров отвлекают от таинственного красавца, и в зале слышны то смех, то аплодисменты.

После последней реплики зал взрывается, и публика встает.

— Автор! — кричат из зала.

Оскар Уайльд неторопливо покидает ложу и поднимается на сцену. Склоняет голову перед зрителями. Он верен эстетскому идеалу: на нем черная бархатная куртка, брюки цвета лаванды и вышитый жилет. Рука в жемчужно-серой перчатке не выпускает сигареты.

— Дамы и господа, я в восторге от нынешнего вечера. Актеры блестяще сыграли для нас восхитительную



пьесу, а ваше одобрение явилось высочайшим проявлением вашего ума. Я поздравляю вас с вашим огромным успехом, который убедил меня, что вы такого же высокого мнения об этой пьесе, как и я сам.

Это время его триумфа, увы, недолгого. У него впереди еще три года славы и свободы. Дальше стена, а за стеной пустота, которую вскоре предскажет ему ясно-видящая. А строитель этой стены и будущий создатель пустоты, его злой гений уже рядом с ним, поражает изяществом, очаровывает и приковывает к себе невольные взгляды женщин и завистливые — мужчин.

Его зовут лорд Альфред Дуглас, он потомок старинного шотландского рода, уходящего корнями в эпоху Карла Великого, третий сын маркиза Куинсберри, несказанно богатого и чрезвычайно вздорного и малообразованного аристократа, живущего ради скачек, бокса, охоты, женщин и тиранившего жену и детей.

Альфреду был 21 год, когда ему в руки попала замечательная книга под названием «Портрет Дориана Грея». Юный лорд прочел ее одиннадцать раз и почти отождествил себя с главным героем, таким же прекрасным, как и он сам.

Красота Альфреда вызывала восхищение, когда он был еще ребенком. А мать прозвала его «Бози», что значит «любящий распоряжаться» за своенравный и властный характер и божественную красоту.

Бози мечтал познакомиться с автором любимого романа, и это оказалось не так сложно: у них был общий друг поэт Лайонел Джонсон, который и рассказал о нем Оскару.

Осень 1891 года. Все тот же «Дом красоты» на Тайт-стрит, 16. Гостиная на втором этаже, тяжелые малиновые шторы, полотна Уистлера, Берн-Джонса и Пенningтона, на камине — портрет Сары Бернар, а напротив, на



стене — портрет самого Оскара Уайльда. А если взглянуть на потолок — просто захватывает дух — он полностью расписан павлиньими перьями работы Уистлера.

Недоброжелатели называли эту обстановку вульгарной и слишком вычурной. «Вульгарность — это поведение других», — парировал Оскар Уайльд.

И вот среди всего этого буйства шелков, ковров и павлиньих перьев стоит очаровательный мальчик Бози, изящный, белокурый и белокожий, словно лилия в китайской вазе, как бриллиант в тяжелой золотой оправе. Мальчик видел обстановку куда роскошнее, но не такую смелую по стилю, к тому же перед ним его кумир, автор «Дориана Грея», почти автор его самого.

— Я учусь в Оксфорде и немного пишу стихи, — робко признается юный лорд. — Я читал «Портрет Дориана Грея». Одиннадцать раз.

— Что же, замечательно. Я могу взглянуть на ваши стихи, лорд Альфред?

Дуглас смотрит с восхищением и благодарностью:

— Да, конечно. Называйте меня просто Бози.

Так часто случается с писателями, несмотря на всю мистичность и странность подобных событий: герой, описанный в книге, вдруг является к тебе и вторгается в твою жизнь.

«Да, — думал Оскар Уайльд. — Этот юный эллин самый настоящий Дориан Грей».

И ему бы бежать, ему бы вспомнить собственный роман, где Дориан Грей убивает художника, который написал его портрет, ему бы никогда больше не встречаться с Дугласом-Дорианом! Но он представляет себя язвительным и циничным лордом Генри, наставником и развратителем юного Дориана, а не художником Бэзиллом Холлуордом. Он очарован и польщен и дарит юноше сборник стихов 1881 года и «Портрет Дориана Грея» с дарственной надписью.



Через несколько дней Оскар Уайльд пригласил нового друга на ужин в клуб «Альбермэйл». Оскар был остроумен и просто сыпал остротами и парадоксами. Богатый интонациями актерский голос и отточенность фраз околдовали Бози.

Но дружба расстается: Альфред возвращается в Оксфорд, а Оскар Уайльд уезжает в Париж. И, может быть, их знакомство на этом бы и закончилось, и не случилось бы той трагедии, которая стоила Оскару Уайльду свободы, а потом и жизни, если бы не «щепетильный» случай в жизни Бози.

Кто кого развращал? Кто из них был циником лордом Генри, а кто Дорианом?

Оскар успел сменить нескольких любовников, и первый из них Роберт Росс давно играл второстепенную роль друга. Но и Бози не был невинным мальчиком.

Он гостил в доме своего несовершеннолетнего друга (то есть тому не было 21 года) и оказался замешанным в скандале на гомосексуальной почве. Родители друга нашли письмо Дугласа к сыну довольно «странного содержания» и начали шантажировать Альфреда в надежде получить неплохие отступные от богатой семьи.

Бози обратился за помощью к Оскару Уайльду, чьи гомосексуальные наклонности не были для него тайной.

— Забудь об этом, — успокоил Оскар. — У меня есть отличный адвокат сэръ Джордж Льюис, он уладит дело.

Сэръ Джордж Льюис передал шантажисту 100 фунтов, и на этом все и закончилось. Только неприятный осадок остался у обоих. «Наша дружба с самого начала была с душком!» — бросит Бози в лицо Оскару много лет спустя. А Уайльд вспомнит об этом в своей тюремной исповеди «De Profundis»: «Наша дружба, в сущности, началась с того, что ты в трогательном и милом письме попросил меня помочь тебе выпутаться из неприятной истории, скверной для любого человека и вдвойне ужас-



ной для молодого оксфордского студента. Я все сделал, и это кончилось тем, что ты назвал меня своим другом в разговоре с сэром Джорджем Льюисом, из-за чего я стал терять его уважение и дружбу».

Но, так или иначе, дружба началась и тут же превратилась в нечто большее. Вскоре они вдвоем уехали в путешествие. В Кенсингтоне остановились в гостинице «Ройял Пэлес». Оскар писал Роберту Россу: «Дорогой мой Робби, по настоянию Бози мы остановились тут из-за сэндвичей. Он очень похож на нарцисс — такой же белый и золотой... Бози так утомлен: он лежит на диване, как гиацинт, и я поклоняюсь ему».

Не проходит и полгода, как Оскар Уайльд практически перестает скрывать свою связь, откровенно эпатируя публику. 1893 — год выхода «Телени» и отредактированной версии «Портрета г-на У. Х.». В январе 1893 года он пишет Бози письмо, которое потом сослужит ему дурную службу: «Любимый мой мальчик, твой сонет прелестен, и просто чудо, что твои алые, как лепестки розы, губы созданы для музыки пения в не меньшей степени, чем для безумия поцелуев. Твоя стройная золотистая душа живет между страстью и поэзией. Я знаю: в эпоху греков ты был бы Гиацинтом, которого так безумно любил Аполлон...

С неумирающей любовью, вечно твой

Оскар».

Вместе с Бози, ничуть не скрываясь, Уайльд посещает самые дорогие рестораны Лондона: «Кафе Рояль», «У Кеттера», «Савой». Реакция не заставляет себя ждать, в обществе начинают догадываться о подоплеке их отношений, и вскоре вокруг любовников образуется вакуум. Друг Оскара Фрэнк Харрис решает устроить обед в его честь и пишет на приглашениях: «Для того, чтобы встретиться с господином Оскаром Уайльдом и послушать его новую историю». Никто из двенадцати пригла-



шенных не приходит: семеро отказываются, а остальные отвечают, что вообще бы предпочли не встречаться с Оскаром Уайльдом.

Вспомнил ли тогда Оскар пророческий монолог леди Уиндемир из своей пьесы, которая пользовалась таким успехом? «Вы не знаете, что значит попасться в эту ловушку — терпеть презрение, насмешки, издевательства... — говорит героиня пьесы, — оказаться покинутой, всеми отверженной! Убедиться, что в дверь тебя больше не пустят, что нужно вползать неприглядными, окольными путями, каждую минуту опасаясь, что с тебя сорвут маску... и все время слышать смех, безжалостный смех толпы — смех более горестный, чем все слезы, которые видит мир».

Наконец, скандальные слухи доходят до отца Альфреда, маркиза Куинсберри, и он запрещает Бози встречаться с Оскаром, угрожая в противном случае лишить его ренты в 350 фунтов. Бози отвечает ироничным посланием и просит отца не лезть не свое дело.

Это еще не конец, но это начало конца. В июне Оскара ждет еще один удар: королевский лорд-гофмейстер объявляет запрет на постановку его пьесы «Саломея», в которой уже начала репетировать Сара Бернар. Пьеса запрещена под предлогом, что в ней выведены библейские персонажи.

Обиженный Уайльд тут же объявил о том, что собирается принять французское гражданство, и остается только пожалеть, что он не исполнил угрозы. «Я никогда не соглашусь считаться гражданином страны, которая проявила такую скудость художественного взгляда, — заявил он. — Я не англичанин, я ирландец, а это далеко не одно и то же». Фраза была не ко времени — в Ирландии вновь началось восстание.

Примерно тогда же происходит еще одно роковое событие: Уайльд знакомится с Альфредом Тейлором,



сыном богатого торговца. Юный Тейлор унаследовал от дяди огромное состояние в 45 тысяч фунтов, но умудрился разориться за несколько лет. Зато нашел для себя новый источник дохода. Видимо, именно он выведен в романе «Телени» в образе генеральского сына и художника-любителя Брианкура.

Все началось с встречи в ресторане «Кеттнерс», куда Уайльд пригласил Бози. Оскар явился не один: с ним был обворожительный и образованный Тейлор и юный актер по имени Сидни Мейвор.

Они наняли отдельный кабинет. Оскар был возбужден и остроумен, разглагольствуя о греческой культуре, любовался Бози и Сидни и чувствовал себя Вергилием садов Содомы. Сидни интересовал его даже больше. Ему не хватало блеска и аристократизма Дугласа, зато он был совсем юн и восхищал своей игрой, хотя театральные критики были к нему куда строже, чем Оскар.

Наконец Уайльд встал из-за стола:

— Приятного вечера. Сидни, пойдем!

Они оставили Бози наедине с Тейлором и вернулись в гостиничный номер.

Уайльд вновь влюблен. «Когда Вы выходите на сцену, Вы привносите атмосферу романтизма, в котором гордая и жестокая Италия эпохи Ренессанса предстает во всем своем великолепии, в чудовищном безумии своего дерзкого греха и внезапном ужасе от содеянного», — писал он Сидни. Но и сам Оскар умеет соблазнять и очаровывать. Отношения с Сидни еще одухотворены, но уже содержат деталь, которая определит дальнейший характер подобных встреч. На следующий день Сидни получил по почте портсигар с надписью «Сидни от О. У.».

Сидни был не единственным, как и портсигар. Тейлор услужливо поставлял Уайльду мальчиков на ночь. Писатель больше не был столь разборчив. Это уже не



представители богемы: просто юноши из беднейших кварталов, готовые на все за несколько шиллингов.

Оскар чувствовал себя римским патрицием, только что купившим на рынке нового раба. Отношения с Бози были более равноправными, Альфред был учеником, зачастую взбалмошным и своенравным. С мальчиками от Тейлора не могло быть неожиданностей.

Бози не отставал от возлюбленного и активно пользовался услугами Тейлора. Они продолжали встречаться, но скорее как сообщники, чем как любовники. Потом, во время суда, оба заявят, что отношения между ними были чисто платоническими. Это, конечно, ложь, но не без доли правды. Иногда их связь действительно принимала форму платонической влюбленности.

«Кафе Рояль». Друзья устроились за столиком. Бози просматривает меню, выбирая вино. Уайльд любит Бози.

Вдруг его взгляд находит что-то в зале и падает вниз и вправо. Пальцы барабанят по столу.

— Что случилось? — спрашивает Бози.

— Там твой отец.

Альфред резко оборачивается.

Через несколько столиков устроился пожилой джентльмен с седыми бакенбардами и суровым выражением лица.

— Да, — говорит Бози. — Багровый маркиз, собственной персоной.

— Пригласи его, — предлагает Оскар.

— Ты думаешь?

— Было бы невежливо поступить иначе.

Уайльд всегда гордился умением превращать врагов в друзей. Получится ли?

Альфред подошел к столику отца и пригласил присоединиться к нему и Уайльду. Маркиз был насторожен,



но согласился, и Оскар пустил вход все свое обаяние. Он был настолько обворожителен и остроумен, что вскоре «багровый маркиз» хохотал во все горло. Они расстались друзьями.

Чтобы дописать пьесу «Женщина, не стоящая внимания», Уайльд арендовал имение Баббакумб Клифф на западном берегу бухты Торбэй. Это маленький рыбацкий поселок на скале, обрывающейся в море. Рыбачьи лодки и сети, развешанные на солнце, и само поместье XVI века с прекрасным парком — все, что нужно для спокойной работы писателя.

Но Уайльд бежал в Лондон к Тейлору и его компании юных гомосексуалистов, и пьеса осталась незаконченной. Потом, в тюрьме, Оскар будет обвинять во всем Бози, который вечно отвлекал его от работы. Но Альфред приехал к нему много позже, когда Оскар вернулся в имение, чтобы все же закончить пьесу.

Здесь между любовниками произошла первая ссора. Бози подарил Оскару брошь из бирюзы, усыпанную бриллиантами, Уайльд приколот ее к манишке.

— Ты ужасающе вульгарен, — заметил Бози.

Дело кончилось тем, что Альфред хлопнул дверью и уехал в Бристоль. Они быстро помирились, обменявшись телеграммами, но не прошло и нескольких дней, как поссорились вновь. Дело в том, что письмо Уайльда к Бози, где он сравнивал его с Гиацинтом, попало в руки шантажиста Альфреда Вуда, знакомого Бози.

— Ты недопустимо неосторожен! — упрекнул Уайльд.

— Это я неосторожен? — выкрикнул Бози. — Может, я его писал?

Бози хлопнул дверью и уехал к матери в Солсбери.

И тут же попросил прощения у друга.

Уайльд был отходчив и немедленно ответил ему еще более неосторожным письмом:



«Самый дорогой из всех мальчиков, твое письмо было для меня так сладостно, как красный или светлый нектар виноградной грозди. Но я все еще грустен и угнетен. Бози, не делай мне больше сцен. Это меня убивает, это разрушает красоту жизни. Я не могу видеть, как гнев безобразит тебя, такого прелестного, такого схожего с юным греком. Я не могу слышать, как твои губы, столь совершенные в своих очертаниях, бросают мне в лицо всяческие мерзости. Предпочитаю стать жертвой шантажа всех лондонских сутенеров, чем видеть тебя огорченным, несправедливым, ненавидящим...»

Март 1893 года. В театре «Хеймаркет» репетируют пьесу Уайльда «Женщина, не стоящая внимания». Автор выходит после репетиции.

— Оскар Уайльд? — обращается к нему незнакомый молодой человек.

— Вы не ошиблись, — улыбается Оскар.

— Меня зовут Аллен. Это я послал Герберту Бирбому Три копии ваших писем.

Герберт Бирбом Три, директор театра «Хеймаркет», действительно получил по почте копии писем Оскара к Бози и накануне потребовал у Уайльда разъяснений. «Это просто стихотворения в прозе», — небрежно бросил Уайльд.

— И что? — спросил Оскар Аллена.

— У меня есть оригиналы. Они продаются.

— Мне не нужны оригиналы, молодой человек, у меня есть копии. До свидания.

— Всего десять фунтов!

— Десять фунтов! Вы ничего не смыслите в литературе. Если бы вы попросили у меня пятьдесят, тогда я, может быть, и заплатил бы вам.

— Эти письма можно понять довольно странным образом, — продолжал шантажист.



— Для рабочих искусство редко бывает доступным.

— Один человек предложил мне за него шестьдесят фунтов!

— Тогда послушайтесь хорошего совета: немедленно разыщите этого человека и продайте ему письмо. Даже мне никогда не предлагали столько денег за столь короткое произведение в прозе.

Шантаж окончился тем, что Уайльд дал Аллену десять шиллингов.

Судьба раз за разом делала предупреждения, мир намекал быть осторожным. Именно тогда известная гадалка, которую называли «пифией Мортимер-стрит», предсказала ему блестящий успех, а дальше — стену, а за стеной — пустоту.

Уайльд словно не слышал и вел себя все более вызывающе, словно уже не мог свернуть с выбранного пути, ведущего его в пропасть.

Он снова зачастил в заведение Тейлора.

Вечер. Полутемный особняк. Уайльд звонит у двери. Слуга впускает его и проводит в дом. Зал, обставленный с вычурной роскошью эпохи декаданса. Свечи в тяжелых бронзовых подсвечниках и японские светильники, люстры в восточном стиле и шкуры на полу. Ковры, шелк, растения в кадках. Обстановка гарема или борделя. Последнее верно. Только здесь нет женщин. Они сюда не допускаются.

На кушетках с вышитыми подушками — только юноши. Большинство из них обнажены. Тейлор прилично именует их «воспитанниками». Воспитанники Тейлора.

Двое из них в женских платьях и накрашены как женщины. Трансвеститы.

Уайльд подсаживается к одному из мальчиков, гладит его бедра, чувствуя, как кровь приливает вниз, заполняя и поднимая стебель, что жаждет вращаться в друго-



го, но упирается в ткань брюк. Юноша отвечает, обнимает некрасивого господина, слишком большого, слишком грузного и уже немолодого, с одутловатым веснушчатым лицом. Господин начинает говорить, мальчик почти не понимает о чем: какая-то Греция, какие-то странные имена, какие-то олимпийские игры. Но голос покоряет и очаровывает, глубокий, выразительный, певучий, как у актера. Он больше не отвратителен, этот пожилой господин. Он даже не кажется пожилым.

Глаза юноши раскрываются шире, губы становятся ярче и целуют Оскара, член напрягается и поднимается вверх. И рука господина ложится на два округлых холмика под ним, ласкает, заставляет перевернуться на живот.

Уайльд расстегивает и спускает брюки. Вот он, маленький влажный грот, такой соблазнительный и зовущий. Но есть и другое наслаждение, доступное для тех, кто уже не молод. Оскар ложится рядом. Можно быть заполненным, а не заполнять. Можно быть не корнем, а землею. Можно быть телом, а не копьем. И вот он пронзен и заполнен. И жаждет только быть глубже пронзенным и теснее заполненным. Гладкий и горячий камень раздвигает землю, заставляя вскрикивать и стонать. И взрывается на конце, изрыгая лаву.

Наутро юноша не останется без портсигара с роковой надписью: «...от О. У.».

А тучи тем временем сгущаются. Заведение Тейлора попадает под наблюдение полиции, здесь проводят обыски. Так что Уайльд из предосторожности меняет место жительства: он съезжает из отеля «Альбермэйл» и снимает однокомнатную квартиру на Сент-Джеймсплейс.

Мать Бози убеждает сына окончательно порвать с Уайльдом, он отвечает ей длинным письмом, похожим



на признание в любви к Оскару: «Вы считаете, что именно Оскар разрушил мою душу. Так вот, я могу ответить, что до знакомства с ним у меня вообще не было души... А вот теперь позвольте задать вам вопрос: а что вы можете предложить мне взамен этого человека, куда я, по вашему, должен отправиться во имя духовного обогащения моей личности? Кто станет питать мою душу сладкой горечью меда? Кто сделает меня счастливым в минуты грусти, отчаяния или плохого самочувствия? Кто иной сумеет унести меня одной лишь силой своего сияющего золотом слова далеко от угрюмого мира в воображаемую страну чудес, остроумия, парадоксов и красоты? Я безумно влюблен в него, а он в меня».

Она в отчаянии бросается к Констансу и рассказывает ей все. По Лондону ползут слухи об отношениях Уайльда с «пантерами» Тейлора и лордом Альфредом Дугласом.

Наконец, «багровый маркиз» решил вмешаться. Он вновь встретился с Оскаром и Альфредом в «Кафе Рояль», и на этот раз обаяние Уайльда оказалось бессильным. Любовники слишком откровенно демонстрировали свои чувства, не стесняясь маркиза Куинсберри.

1 апреля 1894 года он пишет сыну возмущенное письмо: «...Речь пойдет о твоей близости с этим типом, Уайльдом. Это нужно прекратить, иначе я от тебя отрекусь и лишу средств к существованию. Я не собираюсь анализировать эту близость и ни в чем тебя не обвиняю; но, на мой взгляд, даже делать вид, что ты ненормален, столь же непристойно, сколь и быть таковым на самом деле. Я своими собственными глазами видел вас вдвоем — как бесстыдно и отталкивающе вы выказывали свою близость! В жизни не видел ничего более мерзкого, чем выражение ваших лиц... Кроме того, мне стало известно из надежного источника — что, впрочем, может быть, и



неверно, — будто его жена добивается развода, обвиняя его в содомии и прочем разврате... Если это подозрение имеет какие-то основания и если о нем пойдет молва, я буду вправе пристрелить его при первой же встрече».

Констанс не добивается развода, это просто ложь. Жена Уайльда слишком тиха, слишком молчалива, слишком занята детьми и слишком любит его, чтобы быть столь решительной. Но слухи ходят и о разводе.

Получив письмо отца, Альфред пришел в бешенство. «Как же вы похожи на жалкого старикашку!» — телеграфировал он маркизу. Тот не остался в долгу: «Если я еще хоть раз застану тебя с этим человеком, я устрою такой скандал, какого ты даже и представить себе не можешь».

Он заявился домой к Уайльду и начал кричать:

— Я все знаю! Вы совсем утратили стыд, так что жена с вами разводится. Вас двоих недавно выставили из ресторана. Вы сняли на Пикадилли меблированную комнату для Альфреда! Его шантажировали из-за вашего письма!..

Оскар спокоен, возвышаясь горой над престарелым маркизом, он молча дал ему выпустить пар, а потом выставил на улицу.

— Никогда больше не переступайте порог моего дома! — на прощание бросил он.

Бози волновал его больше. Он купил пистолет и собирался убить отца, так что Оскару пришлось его отговаривать.

Вскоре Альфред уехал в Оксфорд, а Уайльд взялся за новую пьесу «Как важно быть серьезным» и начал писать ему безутешные письма: «Я не могу без тебя жить. Ты мне так дорог, ты такой чудесный. Думаю только о тебе целыми днями, мне так не хватает твоего изящества, твоей молодости, ослепительного фехтования остротами, нежной фантазии твоего таланта, удивительно-



го своим внезапным взлетом... и прежде всего тебя самого».

Констанс сняла дом на берегу моря в курортном городке Уорвинг на юге Англии, Оскар уехал к ней и погрузился в работу.

Бози присоединился к нему в начале августа и привез угрожающие новости: Тейлор и восемнадцать его «воспитанников» арестованы. Оскар не чувствовал опасности: наслаждался морем, солнцем, морским воздухом, обществом Бози и его приятеля Альфонса и играл с детьми.

В сентябре дело Тейлора закрыли и, казалось, опасность отступила. Так смертельно больному порой вдруг становится лучше перед самой кончиной.

В конце месяца Бози с Уайльдом уехали в Брайтон и остановились в «Гранд-отеле».

По приезде Альфред почувствовал себя плохо и слег в постель.

Температура, жар, кашель. Это инфлюэнца, или, как тогда говорили, ползучая лихорадка, что теперь именуют «гриппом». Оскар преданно ухаживает за другом. Развлекает рассказами и не отходит от постели. Утром в вазе у изголовья появляются цветы, он заказывает для Бози фрукты, покупает книги. Местный виноград не нравится Альфреду, и Уайльд заказывает его в Лондоне.

Дней через пять Бози выздоровел, и Уайльд снял квартиру, где поселился вместе с ним. Но роль сиделки не прошла даром — Оскар тоже заразился гриппом и слег в постель.

Бози тут же уехал в Лондон, пообещав вернуться через несколько часов.

Он не вернулся ни через несколько часов, ни вечером, ни ночью.

Оскар остался один без всякой помощи, без слуг, в квартире, где спальня на четвертом этаже, а гостиная на



втором, так что ему трудно было спуститься. Он не мог даже купить молока, которое прописал врач.

Бози явился вечером следующего дня. Уайльд попросил его купить книг, но Альфред поленился зайти в книжную лавку. Он целыми днями разъезжал по городу и обедал в «Гранд-отеле» за счет Оскара.

Наступила суббота.

— Не задерживайся сегодня, Бози, — попросил Оскар. — Посиди вечером со мной.

— Конечно.

Уайльд ждал до одиннадцати часов. Наконец, с трудом встал, написал Бози записку с упреками и оставил в его спальне.

Три часа ночи. Оскар проснулся и понял, что безумно хочет пить, стер пот со лба тыльной стороной кисти. Встал. На лестнице темно и холодно, зато в гостиной горит свеча. Там Бози, он держит в руках записку.

Резко оборачивается.

— Ах! Это ты! Явился! Будь ты проклят! Как ты мог подумать, что я брошу все и стану твоей сиделкой? Ты просто жалок! — орет он.

Оскар замирает на месте.

— А ты думал, что я сутками не буду отходить от твоей постели? — бушует Бози. — У меня есть своя жизнь, и я не собираюсь жертвовать ею ради тебя! Я собирался переодеться и пойти в место поинтереснее, чем твоя провонявшая микстурой спальня! Только твоя дерьмовая записка окончательно испортила мне настроение. Лучше бы ты ее не писал!

Оскар вспомнит об этом в тюремной исповеди: «Непостижимая алхимия крайнего эгоцентризма обратила угрызения совести, которые, как мне казалось, ты должен был испытывать, в бешеную ярость».

Уайльд вернулся к себе и не мог заснуть до утра. В одиннадцать Бози зашел к нему в комнату. Оскар ждал



извинений, Альфред — мастер выпрашивать и получать прощение после самых ужасных выходов. Он не останавливался ни перед чем, вплоть до угроз покончить самоубийством. И это не пустые угрозы. Сколько представителей рода Дугласов обагрили руки кровью, своей или чужой!

Но на этот раз Бози и не думает извиняться, более того, ночная сцена повторяется.

— Убирайся! — бросает Оскар и зарывается головой в подушку, чтобы не видеть и не слышать его.

Поднимает голову: Бози по-прежнему стоит у порога.

Вдруг он дико хохочет и бросается к Оскару. И огромный Уайльд, еще студентом без усилий выставивший из своей комнаты троих разбушевавшихся сокурсников, в ужасе вскакивает с постели и бросается бежать от своего «изящного мальчика». Его охватывает безотчетный ужас. Он вспомнил о пистолете, который Бози купил, чтобы убить отца, и о том, что на столике у кровати лежит нож. Босиком, в том, что на нем было, Оскар сбегает вниз, в гостиную, миновав два пролета лестницы. И сидит там, пока явившийся хозяин квартиры не убеждает его, что Альфреда больше нет в его спальне.

Оскар возвращается к себе, пришедший врач находит его состояние еще хуже, чем в начале болезни. Через час Бози появляется снова, молча берет все деньги, которые находятся в комнате, собирает вещи и покидает дом.

Спустя два дня Оскару стало легче, а в среду был день его рождения. Бози написал весьма оригинальное «поздравление»: с издевкой сообщил, что перед отъездом в Лондон записал на счет Уайльда цену своего проживания в «Гранд-отеле», куда съехал из его квартиры, и поздравил Оскара с проворством, с которым тот сбежал в гостиную: «Иначе это могло бы плохо кончиться для тебя, даже хуже, чем ты можешь себе представить». Заканчи-



валось письмо пассажем, который потом стал знаменитым и вошел во все биографии Уайльда: «Когда ты спускаешься со своего пьедестала, ты становишься совершенно неинтересен. В следующий раз, если вздумаешь заболеть, я уеду немедленно».

Казалось, разрыв неизбежен, но случилось событие, которое заставило Оскара вновь простить Бози.

Пятница. Оскар сел завтракать и открыл утреннюю газету. В глаза бросилась телеграмма о смерти старшего брата Бози лорда Фрэнсиса Драмланрига. Он найден мертвым в канаве. Рядом лежало его ружье, из которого был произведен выстрел.

Полиция установила, что лорд Драмланриг погиб в результате несчастного случая, но этим выводам мало кто верил. По Лондону поползли слухи, что молодой лорд покончил самоубийством, опасаясь огласки и скандала в связи с интимными отношениями с министром иностранных дел лордом Роузберри.

Уайльд тут же отправил Бози телеграмму с соболезнованиями, а в письме, посланном вслед за нею, попросил приехать. Альфред явился в трауре, с красными от слез глазами и был немедленно прощен, более того, Оскар вообще ни словом не обмолвился об их ссоре. Позже, в тюрьме, он напишет: «Но боги непостижимы и поступки их странны. Они карают нас не только за наши пороки и прегрешения, но и за то, что есть в нас хорошего, доброго, человеческого и любящего. Не прояви я тогда к тебе и твоим родным жалости и сострадания, я бы не проливал сейчас слез в этом ужасном месте».

В начале 1895 года произошло еще два значимых события: 3 января триумфальная премьера пьесы Уайльда «Идеальный муж», на которой присутствовал принц Уэльский и лично поздравил автора. И второе: в журнале «Хамелеон» было опубликовано стихотворение Бози «Две



любви». Сюжет этого поэтического опуса, полного описаниями цветов и трав, в общем-то, незамысловат: в своих мечтах лирический герой видит двух юношей:

...Один был в полном ликованье.
Прекрасный и цветущий, сладко пел
О девах он, и о любви счастливой,
Что в юношах и девушках жива...*

А другой:

Его напарник шел в сторонке дальней, —
Глаза раскрыты были широко,
Они казались ярче и печальней,
И он смотрел, вздыхая глубоко.
И были щеки бледны и унылы,
Как лилии, как мак — уста красны,
Ладони он сжимал с какой-то силой,
И разжимал; власы оплетены
Цветами, словно мертвым лунным светом.
Он в тунике пурпурной, где змея
Блестела золотистым силуэтом.
Ее дыхание огонь увидев, я
Упал в рыданиях: «Юноша прелестный,
Зачем ты бродишь, грустен вновь и вновь,
Средь царства неги? О, скажи мне честно,
Как твое имя?» Он сказал: «Любовь!»
Но первый обернулся, негодуя:
«Тебе он лжет, его зовут все — Стыд,
Лишь я — Любовь, я был в саду, ликуя,
Один, теперь и он со мной стоит;
Сердца парней и дев я неизменно
Огнем взаимным полнил без обид».
Другой вздохнул: «Желания священны,
Я — та Любовь, что о себе молчит».

Более точный перевод последней фразы: «Я — любовь, что не смеет назвать свое имя». Не пройдет и полугода, как на процессе против Уайльда это имя будет названо.

* Перевод Александра Лукьянова.



Январь 1895 года. «Завтра я уезжаю с Бози в Алжир, — пишет Уайльд. — Я умолял его позволить мне остаться на репетициях, но у него такой ангельский характер, что он не преминул мне отказать». Они отплывают из Марселя 17 января, 25-го уже на месте. Любуются местной экзотикой, пробуют гашиш, ездят на экскурсии в горы. Уайльд больше не скрывает своих пристрастий: «Юные кабилы очаровательны... А самый красивый юноша Алжира, по словам нашего гида, скорее всего разочарует нас; как грустно, не правда ли? Мы с Бози очень расстроены».

26-го к ним присоединяется будущий лауреат Нобелевской премии Андре Жид.

Они вместе ужинают в кафе в Блиде.

— Какие глупые эти гиды: все равно приведут тебя в кафе, где полно женщин, — возмущается Дуглас. — Я надеюсь, вы такой же, как и я, а я ненавижу женщин. Я люблю только мальчиков.

Андре Жид слушает с вполне причастным интересом.

— Мне хотелось бы повстречать арабов, прекрасных, как бронзовые статуи, — замечает Уайльд.

Жид испугался сам себя, собственного интереса к сказанному и «почти тайком» покинул друзей. Но в Алжире они встретились вновь. И поужинали вместе, тем более что Альфред на день задержался в Блиде. «Если бы пьесы Уайльда не шли в Лондоне по триста спектаклей за сезон и если бы принц Уэльский не присутствовал на всех его премьерах, он оказался бы в тюрьме, и лорд Дуглас тоже», — писал Андре Жид.

Ночь. Темные улочки алжирского города. Маленькое кафе, на столе дымится чай и пахнет мятой. Два арабских подростка играют для гостей. Первый — на тростниковой дудочке. Тонкие бронзовые пальцы танцуют по свирели, томные миндалевидные глаза полуприкрыты, губы обнимают тростник. Второй играет на дарбуке, арабском барабане.



Допив чай, Уайльд и Жид выходят на улицу. Сюда еще не дотянулась цивилизация: ни одного газового фонаря. Бархатная первозданная тьма.

— Тебе понравился маленький флейтист? — спрашивает Оскар. — Хочешь, чтобы он провел с тобой ночь?

— Да, — глухо отвечает Жид.

Уайльд расхохотался и непринужденно подал знак гиду.

Их проводили в гостиницу и привели туда же обоих подростков, закутанных в бурнусы, закрывавшие лица. Андре достался флейтист, а Уайльд уединился с игроком на дарбуке. «С тех пор всякий раз, когда я стремился к удовольствию, я неизменно возвращался в мыслях к этой ночи», — вспоминал Андре Жид.

3 февраля Оскар Уайльд вернулся в Лондон. 14-го должна была состояться премьера его новой пьесы «Как важно быть серьезным». Маркиз Куинсберри собирался прийти на спектакль с букетом из свежих овощей, чтобы преподнести своему врагу: «Багровый маркиз» замыслил обратиться к публике на премьере моей пьесы! Алджи Берк раскрыл его заговор, и он не был впущен в театр... Явился он туда с боксером-профессионалом! Я призвал на охрану театра весь Скотланд-Ярд — двадцать полицейских. Он рыскал вокруг три часа, после чего удалился, тараторя, как какая-то чудовищная обезьяна», — писал Уайльд. Премьера же закончилась, как обычно — триумфом.

18 февраля маркиз Куинсберри в сопровождении одного свидетеля появился в клубе на Альбермэйл-стрит, который посещал Уайльд и вручил портье карточку с надписью: «Оскару Уайльду, позирующему в качестве сомдомита». В последнем слове была лишняя буква «м».

Портье не понял, о чем речь, и сохранил карточку для Уайльда. Карточка нашла адресата только на следу-



ющий день. Уайльд вынул ее из конверта, прочитал и побледнел. Никто больше не видел ни карточки, ни оскорбительной надписи на ней. Оскар сам рассказал о ней Роберту Россу. Робби счел происшествие малозначительным и рекомендовал быть осторожным.

Бози был с ним не согласен и убеждал подать на маркиза в суд за клевету. Оскара взялся отговаривать его друг Фрэнк Харрис. Встреча произошла в «Кафе Рояль». Фрэнк Харрис пришел вместе с Бернардом Шоу, Оскар — с Альфредом Дугласом.

Фрэнк Харрис неплохо подготовился к разговору. Сексуальные пристрастия Уайльда давно не были для него тайной, а теперь он выяснил дополнительные подробности.

— Это полное безумие, Оскар, — сказал он. — Уезжай из Англии вместе с Констанс и детьми, а Куинсберри пусть разбираются друг с другом.

— Повторите! — бросил Альфред.

— Разбирайтесь сами с вашим отцом!

— По этому совету видно, что вы Оскару не друг! — почти закричал Бози. — Пойдем, Оскар!

И резко направился к выходу, утянув за собой и Уайльда.

— Это не дружеский совет, Фрэнк, — пробормотал Оскар. — Нет, друг так не скажет.

И поплелся за Бози.

1 марта Оскар Уайльд и Робби Росс пришли к адвокату Хамфрису и изложили ему суть дела.

— Вы должны поклясться, что обвинение в содомии ложно, — сказал адвокат. — Тогда я возьмусь за это дело.

И Уайльд поклялся.

После этого Хамфрис отправился с ними в полицию, чтобы оформить постановление об аресте маркиза Куинсберри. 2 марта его взяли под стражу, предъявили обвинение в клевете и отпустили домой под залог в 500 фунтов.



Оскар был взбудоражен то ли от предчувствия надвигающейся трагедии, то ли под впечатлением от этой первой локальной победы и остроумен, как никогда. На ужине у матери сэра Уинстона Черчилля он сыпал остротами и каждый ответ был словно выстрел.

Он сказал, что готов импровизировать на любую тему.

— Королева, — подняв бокал, предложил один из гостей.

— Она не может быть темой, — мгновенно ответил Оскар Уайльд.

Вскоре темой предстояло стать ему самому.

Процесс начался 9 марта. Улица возле здания суда была настолько запружена народом, что Уайльду, его другу Перси и Альфреду Дугласу пришлось продираться через толпу. Но Альфреда тут же удалили из зала. Пока Уайльд должен был ответить на вопросы своего адвоката Хамфриса и держался не менее уверенно, чем в светских салонах. Но адвокатом его врага оказался одноклассник Уайльда по Оксфорду Эдвард Карсон. Это был очень сильный соперник, и Оскар решил уговорить участвовать в процессе известного адвоката сэра Эдуарда Кларка и принес ему очередную ложную клятву о своей невиновности в содомии.

Тем временем маркиз Куинсберри нанял частных детективов для поиска доказательств. И они обнаружили дом Тейлора и расследовали его бизнес. У них нашелся помощник-энтузиаст. Это был один из юношей Уайльда актер Чарльз Брукфилд, который возненавидел Оскара за то, что в пьесе «Идеальный муж» ему досталась второстепенная роль слуги.

После первого допроса процесс был отложен на три недели.

Уайльд съездил с Бози в Монте-Карло, ничуть не стесняясь в расходах на развлечения и игру, сходил к ясновидящей Робинсон, которая предсказала ему благопо-



лучный исход дела, и тут же забыл о предсказании «пифии с Мортимер-стрит» о стене и пустоте.

А в гостинице его уже ждало письмо от адвоката с перечислением свидетелей, которых собирался пригласить адвокат маркиза Куинсберри: Альфред Вуд, Эдвард Шелли, Альфонс Конвэй, Сидни Мейвор, Фред Аткинс, Морис Шваб, Чарльз Паркер, Эрнест Скарф, Уолтер Грэйнджер, Танкард. Это был список юношей, с которыми он ужинал в отдельных кабинетах роскошных ресторанов, а потом уводил в гостиницы «Савой» или «Альбермэйл».

Друзья умоляли Уайльда забрать заявление. Даже Бози больше не настаивал на процессе. Что побудило Оскара идти до конца? Ирландская гордость? Влечение к бездне и страданию, как к чему-то новому и неизведанному им в жизни? Желание трагического поворота, необычного финала в пьесе, которую он создавал из своей жизни и в которую, по его словам, вложил свой гений?

3 апреля маркиз Куинсберри предстал перед судом по обвинению в оскорблении и клевете.

Пока дело касалось литературных тем и речь шла о нравственности или безнравственности произведений Уайльда, автор был непринужден, остроумен и с удовольствием излагал свою философию: «Я не стремлюсь быть ни нравственным, ни безнравственным, я стремлюсь только к красоте. Вдохновение исключает понятие нравственности и безнравственности».

Но 4 апреля начали вызывать свидетелей.

— Я вынужден повиноваться долгу и вызвать сюда одного за другим нескольких юных мальчиков, чтобы они рассказали свою историю, — сказал адвокат Куинсберри Карсон.

И перешел к роли Уайльда как развратителя и перечислению имен его «жертв».



Оскар побледнел.

— У Альфреда Дугласа был слуга? — поинтересовался Карсон.

— Да.

— Вы когда-нибудь целовали его?

— Ах, боже мой! Конечно, нет! Он чрезвычайно не-красив, — сказал Уайльд.

В современной литературе по искусству ведения допроса такое состояние называют «лимбическим». Это состояние стресса: человек реагирует, как испуганное животное, и практически не способен рассуждать. А потом удивляется тому, как он мог сморозить подобную глупость.

Но Карсон был безжалостен.

— Мистер Уайльд заявил, что находит в юности нечто восхитительное и очаровательное. Вы сами сможете оценить всю абсурдность этого высказывания, — обратился он к присяжным. — Скоро перед вами предстанут один за другим: Вуд, Паркер, Скарф, Конвэй. Да, они молоды, но один из них конюх, другой грум, третий — слуга Тейлора, хозяина дома свиданий, который поставлял ему мальчиков. И со всеми этими юношами мистер Уайльд ужинал в шикарных ресторанах, называл их по именам и проводил время в номерах «Савоя». Все они — его жертвы! Можно только удивляться не тому, что об этом стало известно маркизу Куинсберри, а тому, почему мистера Уайльда так долго терпели в лондонских салонах.

Наступила мертвая тишина, и председатель объявил, что заседание переносится на следующий день.

Но это заседание не состоялось, потому что Уайльд, наконец, забрал заявление. Но было поздно, теперь это означало признание его виновным.

Он вышел из здания суда под улюлюканье толпы.

Ему грозил арест.



Он еще успел написать объяснение-оправдание в газету «Ивнинг ньюс»: «У меня не было бы никакой возможности доказать мою правоту на суде, не привлекая лорда Альфреда Дугласа в качестве свидетеля против отца. Лорд Альфред Дуглас стремился выступить свидетелем, но я не хотел позволить ему сделать это. Чтобы не ставить его в столь неловкое положение, я решил закончить это дело и принять на свои собственные плечи позор и бесчестье, которые могли бы стать следствием моего привлечения к суду лорда Куинсберри».

Он еще успел встретиться с Бози в отеле «Кэдоган».

Друзья умоляли его немедленно покинуть Англию, но все было бесполезно.

Уже в тюрьме в письме Бози он объяснит, почему отказался бежать: «Я решил остаться: так будет благороднее и красивее. Мы все равно не могли бы быть вместе. Мне не хотелось, чтобы меня называли трусом или дезертиром. Жить под чужим именем, изменять свою внешность, таиться — все это не для меня, которому ты был явлен на той горной выси, где преображается прекрасное».

В пять часов вечера от репортера «Дейли мэйл» мистера Марлоу Оскар узнал, что уже подписан ордер на его арест, и приготовился достойно встретить свою судьбу.

Через час, около шести, в номер явились двое полицейских и отвезли его в участок.

На следующий день ему предъявили обвинение и отправили в тюрьму Холлоуэй. В освобождении под залог было отказано, ему запретили передать сменное белье и отвели худшую камеру.

Английская пресса клеймила Уайльда, французская — сочувствовала ему и сравнивала с Байроном, которому также отравило жизнь лицемерное английское общество.

Бози каждый день навещал его в тюрьме, а Уайльд, забыв о всякой осторожности, писал ему полные страсти и почти религиозного преклонения полубезумные



письма: «Моя прелестная роза, мой нежный цветок, моя лилейная лилия, наверное, тюрьмой предстоит мне проверить могущество любви. Мне предстоит узнать, смогу ли я силой своей любви к тебе превратить горькую воду в сладкую. Бывали у меня минуты, когда я полагал, что благоразумнее будет расстаться. А! То были минуты слабости и безумия... Даже забрызганный грязью, я стану восхвалять тебя, из глубочайших бездн я стану взывать к тебе... Я полон решимости не восставать против судьбы и принимать каждую ее несправедливость, лишь бы остаться верным любви; претерпеть всякое бесчестье, уготованное моему телу, лишь бы всегда хранить в душе твой образ. Для меня ты весь, от шелковистых волос до изящных ступней, — воплощенное совершенство... Ты для меня то же, что мудрость для философа и Бог для праведника. Сохранить тебя в моей душе — вот цель той муки, которые люди называют жизнью... Я люблю тебя, я люблю тебя, мое сердце — это роза, расцветшая благодаря твоей любви, моя жизнь — пустыня, овеванная ласковым ветерком твоего дыхания и орошенная прохладными родниками твоих глаз; следы твоих маленьких ног стали для меня тенистыми оазисами, запах твоих волос подобен аромату мирры, и, куда бы ты ни шел, от тебя исходит благоухание коричневого дерева...» Почти «Песнь песней»: «Сотовый мед каплет из уст твоих... мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!»

Как все изменится всего-то через год!

Уайльд в тюрьме, но еще не осознал по чьей милости. Ему предстоит суд: «Я леденею от ужаса. Жизнь, наконец, стала для меня такой же реальной, как сон. Я не знаю, какие еще мерзкие существа приползут ко мне, чтобы уличить меня».

Обвинительное заключение по делу Уайльда содержало 25 правонарушений и преступное сообщничество



с Тейлором. Опасались, что Оскару грозит пожизненное заключение. Его имя стало презрительной кличкой: так кучера фиакров называли мальчиков-посыльных. Его пьесы перестали ставить, книги сжигали на улицах Лондона и рвали фотографии, выставленные в витринах.

Процесс разорил его, он был объявлен банкротом, его мебель, картины, редкие книги с автографами знаменитостей были распроданы за гроши. В письмах из тюрьмы Оскар умоляет Сару Бернар выкупить у него права на «Саломею» и дважды получает отказ.

Но суд идет своим чередом: свидетели оказываются шантажистами или отказываются от показаний, и обвинения отводят одно за другим. Незадолго до приговора появляется надежда на оправдание. 7 мая Оскара, наконец, освобождают под залог. Деньги собирают друзья.

Ему отказывают в нескольких гостиницах, и он вынужден остановиться у своих друзей Ады и Эрнеста Лаверсонов. Он избегает центральных ресторанов, где его могут узнать, и обедает с Фрэнком Харрисом в одном из заведений подальше от центра.

— Горничная из «Савоя» ошиблась, Фрэнк, — признается Оскар. — Она говорит, что видела меня в постели с молодым человеком, но это был не я. Это был Бози Дуглас. Я никогда бы не осмелился.

— Что же ты молчишь! Расскажи адвокату! — умоляет Фрэнк.

Но Оскар только качает головой.

— Нет.

Он наотрез отказывается скомпрометировать Бози, так же, как покинуть Англию. Он бы еще мог спастись!

22 мая обвинительный приговор был вынесен Альфреду Тейлору. Это плохой знак, но надежда еще теплится. Во Франции никто не сомневается, что приговор Оскару будет оправдательным.



Прокурор Локвуд начал допрос Уайльда о стихотворении Альфреда Дугласа «Две любви», что привело к последнему публичному выступлению Оскара, сорвавшему аплодисменты:

— Любовь, не смеющая назвать себя вслух, — речь идет, разумеется, о нашем веке, — это глубокое чувство мужчины, старшего годами, к младшему, чувство Давида к Ионафану, чувство, составляющее основу философии Платона, заключенное в сонетах Микеланджело и Шекспира. Это глубокое духовное чувство, столь же чистое, сколь совершенное. Оно порождает великие произведения искусства, такие как творения Микеланджело и Шекспира... Это прекрасное чувство, чувство розвышенное, благороднейшее. Это чувство интеллектуальное, и возникает оно тогда, когда старший наделен интеллектом, а младшему еще присуща радость и лучезарная надежда жизни. Мир этого не понимает, мир бесчестит и приговораждает к позорному столбу все, что с этим связано.

23 мая было отведено обвинение в интимной связи с Шелли. Казалось, все идет к оправданию. 24 мая адвокат Уайльда сэр Эдуард Кларк произнес заключительную речь и призвал оправдать «достойного литератора и блестящего ирландца, способного еще более обогатить нашу литературу и театральное искусство».

Но наступило 25 мая, роковой для Оскара день. Глава присяжных поинтересовался, отдан ли приказ об аресте лорда Альфреда Дугласа по обвинению в интимных отношениях с Оскаром Уайльдом. Вопрос был совершенно логичен, и именно он оказался роковым. Ни судье, ни прокурору не нужен был вызов в суд Альфреда и оглашение его писем, которые могли скомпрометировать многих высокопоставленных лиц. К тому же Бози состоял в связи с племянником прокурора Швабом, и Локвуд поспешил побыстрее свернуть процесс. Он произнес



такую страстную обвинительную речь, что присяжные признали Уайльда виновным по всем пунктам обвинения, кроме связи с Эдуардом Шелли. Позже в знаменитом письме «De Profundis» Оскар напишет: «Вспоминаю, как сидя на скамье подсудимых во время последнего заседания суда, я слушал ужасные обвинения, которые бросал мне Локвуд — в этом было нечто тацитовское, это было похоже на строки из Данте, на обличительную речь Савонаролы против папства в Риме, — и вдруг мне пришло в голову: как бы было прекрасно, если бы я сам говорил это о себе!»

Уайльд был приговорен к двум годам исправительных работ и переведен в тюрьму Пентонвилль в северной части Лондона.

Голод, бессонница и болезнь — три вида пыток, узаконенных в тюрьмах викторианской Англии, так же как и в тюрьмах современной России. Заключенные больше не носят по очереди лохмотья друг друга, их не заставляют ходить внутри огромного тяжелого колеса, чтобы часами вращать его, рискуя сломать себе ноги, письма разрешены чаще, чем тогда, и арестантов больше не заставляют гулять в молчании и носить маски, чтобы не быть узванными собратьями, и больше нет одиночек и запрета на чтение и письмо, но дурная еда, один вид которой вызывает позывы к рвоте, унижения, отвратительный запах тюрьмы, изуверский «режим», избиения, голод, бессонница и болезни — все осталось. Обычно общество не замечает страданий заключенных. Во всяком доме должно быть отхожее место, и для общества это тюрьма. Но как только туда попадает человек известный и не слишком нагрешивший — глаза вдруг открываются, и его грех (и сам по себе сомнительный) кажется просто ничтожным по сравнению с его муками.

«Сначала все казалось ужасным кошмаром, — пишет Уайльд Фрэнку Харрису, — самым жутким, который толь-



ко можно себе представить; камера наводила на меня страх, я едва мог в ней дышать, а пища сразу вызывала приступ тошноты; в течение многих дней я не съел ни кусочка, я не мог заснуть, и меня преследовали ужасающие галлюцинации; но хуже всего была бесчеловечность. Какими же демонами могут быть люди. Я никогда и помыслить не мог о таких жестокостях».

Он напишет о них в «Балладе Рэдингской тюрьмы»:

Одних тюрьма свела с ума,
В других убила стыд,
Там бьют детей, там ждут смертей,
Там справедливость спит <...>

Там жизнь идет из года в год
В зловонных конурах,
Там Смерть ползет из всех щелей
И прячется в углах <...>

Там взвешенный до грамма хлеб
Крошится, как песок,
Сочится слезью по губам
Гнилой воды глоток,
Там бродит Сон, не в силах лечь
И проклиная Рок.

Пентонвилль — еще не последний круг ада. 4 июля Оскара переводят в тюрьму Уондсворт, которая оказалась еще более жестокой. Здесь Уайльд попадает в карцер. За что? За естественные проявления человеческих чувств.

В английских тюрьмах заключенным было запрещено говорить. Один из товарищей по несчастью, мелкий ворюшка, посочувствовал Оскару:

— Жаль мне тебя, горемычного: таким, как ты, потруднее, чем нам, кто попроще.

Уайльд был тронут и горячо поблагодарил арестанта. Возмездие последовало незамедлительно. Он был вызван



к начальнику тюрьмы и водворен в карцер. По-божески, всего на три дня.

Выходящим из огромной черной дыры карцера, обритым наголо, в одних чулках, с деревянными башмаками в левой руке его увидел французский журналист Гастон Рутье. Едва усевшись на скамью, Оскар тут же заснул.

Тем временем идет процесс о его банкротстве, а жена требует развода. Первое разрешенное письмо он пишет именно ей. И она возвращается в Лондон из Италии, где жила с детьми, и просит свидания.

Их разделяют две железные решетки. Он заперт в широкой клетке и ее завели в такую же. Она не сразу узнает его. Ее блестящий эстет — худой болезненный старик в тюремной робе, почти развалина, бритый наголо с покрасневшими от бессонницы глазами.

— Если бы я встретил сейчас Альфреда Дугласа, я бы убил его! — говорит он.

Она ужасается и прощает. Соглашается не затевать процесса о разводе, а договориться полюбовно, обещает разрешить видеться с детьми. И он убеждает друзей не мешать ей выкупить его пожизненную долю в ее приданом. «Я принес ей столько горя, я так безжалостно разрушил жизнь детей, что у меня нет никакого права препятствовать ей в чем бы то ни было. Она была бесконечно добра и участлива, когда приезжала увидеться со мной. Я доверяю ей во всем», — пишет Оскар Роберту Россу.

Но друзья не послушались и попытались «отстоять его права» в суде. В результате он потерял все: ежегодную ренту, право видеться с детьми и остатки расположения Констанс.

Тот суд еще впереди. В сентябре 1895 года идет процесс о банкротстве. Уайльда возят на заседания в тюремном фургоне, закованным в наручники. В коридоре



суда его встречает Роберт Росс и с почтением приподнимает шляпу, когда узника проводят мимо. «Этого более чем достаточно, чтобы я мог спокойно отправиться на Небо», — напишет Оскар в тюремной исповеди.

Через несколько дней он потерял сознание в тюремной часовне и, падая, поранил себе ухо. Именно это станет причиной его ранней смерти. Началось нагноение, и Оскара перевели в лазарет, что он воспринял как дар небес. Чистое белье, мягкая кровать, белый хлеб с маслом! Оскар съел все, до последней крошки. Здесь его осмотрели два психиатра и рекомендовали перевести в другую тюрьму, предоставить книги, нормальное питание и работу в саду.

20 ноября Уайльда перевели в Рэдинг. Оскар оставил воспоминания об этом переезде: «В моей трагедии все было вульгарным, отвратительным, мерзким, лишенным всякого вкуса. Наша одежда — и та делает из нас шутов. Мы — паяцы страдания. Мы — клоуны с разбитыми сердцами. Наше назначение в том, чтобы потешались над нами. 13 ноября 1895 года меня привезли сюда из Лондона. С двух часов до полтретьего я вынужден был красоваться на главной платформе Клапамского железнодорожного узла в облачении преступника и в наручниках, и каждый, кому не лень, глазел на меня (дело в том, что меня увезли из тюремной больницы без всякого предупреждения). Я представлял собой самое дурацкое зрелище. Глядя на меня, люди откровенно смеялись... А между тем с прибытием каждого нового поезда толпа разрасталась все больше. Веселье публики не знало границ...»

Итак, Рэдинг. Выбеленные стены, одиночная камера, на стене всю ночь полыхает газовый рожок. При таком освещении удобно следить за арестантами, но почти невозможно писать. Однако Уайльд пишет, используя доску кровати вместо стола, непослушной, отвыкшей



писать рукой. Здесь наконец-то ему разрешили писать без ограничения объема.

Он начал с петиции министру внутренних дел.

Оскар не оправдывается, он пытается убедить адресата, что его поступки суть не преступления, а следствие сексуального помешательства, к которому вообще склонны поэты и художники, и ссылается на Ломброзо и Нордау. Он признается, что страдал «ужасной формой эротомании, заставившей его забыть жену и детей, высокое положение в лондонском и парижском обществах, европейскую славу художника, фамильную честь и саму человеческую натуру свою; болезнь сделала его беспомощной жертвой самых отвратительных страстей и отдала в лапы мерзавцев, которые, поощряя эти страсти ради собственной выгоды, способствовали его ужасному краху». Оскар умоляет о досрочном освобождении, чтобы иметь возможность уехать за границу, чтобы излечиться от «сексуального помешательства», которое грозит захватить его душу целиком и довести до безумия.

Слова о «сексуальном помешательстве» и не лишенная остроумия попытка Оскара вывести из него свой страх сойти с ума, в наше время могут вызвать улыбку, однако его ужас перед домом для умалишенных, который грозит сменить тюрьму, совершенно реален: «Как бы губительно ни действовал на личность тюремный режим — режим столь ужасный, что он превращает в камень сердца, которые ему не удалось разбить, и низводит до положения скотины не только заключенных, но и тюремщиков, — все же он не должен иметь целью уничтожение самой души человеческой. Тюрьма ничего не делает для исправления человека, но не может же она стремиться свести его с ума» — и потому податель петиции умоляет, чтобы его отпустили, пока у него еще осталась хоть капля разума.



Петиция прошла через руки начальника тюрьмы, который приложил к ней заключение тюремного врача об удовлетворительном состоянии здоровья Уайльда. Но все же ему рекомендовали облегчить режим заключения: предоставить письменные принадлежности и книги.

За несколько месяцев до этого он увидел в камере свою мать. Предложил ей сесть, но она исчезла. И Оскар понял, что ее больше нет. Вскоре Констанс приехала из Генуи и подтвердила эту весть. Она постаралась утешить его и рассказала об успехе «Саломеи», которую поставили в одном из парижских театров. Это было их последнее свидание. Через два года Констанс умерла. «Наши души встретились в сумрачной долине смерти; она поцеловала меня; она утешила меня; она поступила так, как не поступила бы ни одна женщина на свете, за исключением, быть может, моей матери», — писал Оскар.

Наконец, в январе 1897 года Оскара назначили старшим по тюремной библиотеке. Здесь он начал писать тюремную исповедь, восьмидесятистраничное письмо к Бози «De profundis».

«Дорогой Бози! После долгого, но увы, тщетного ожидания твоих писем я решил написать тебе первым — и ради тебя, и ради себя самого, ибо мне невыносима мысль, что за целых два года заточения я не получил от тебя ни единой строчки и не имел никаких новостей о тебе, за исключением тех, что причинили мне боль».

Альфред потом будет оправдываться, что не писал Оскару, боясь его скомпрометировать. И в этом, видимо, была доля правды. Но зачем тогда Бози без разрешения публиковал его письма? Посвящал Оскару стихи и хотел посвятить сборник. Все это не вызывало у Оскара ничего, кроме возмущения.

Ему слишком тяжело, чтобы быть до конца справедливым, ему надо излить всю горечь, что накопилась у



него за время тюремного заключения. И он изливает ее щедрым потоком, упрекая Бози за все: бесконечные развлечения, отвлекавшие Уайльда от работы, жизнь за его счет, мотовство, эгоизм, нарушение обещания оплатить издержки по процессу против маркиза Куинсберри и, конечно, за сам процесс, который привел Оскара в тюрьму. Еще раньше, до сочинения этого письма, Уайльд через Роберта Росса просил Альфреда вернуть ему все его письма и подарки: «Я хочу быть уверен, что у него не осталось ни одного из моих подарков. Все это должно быть опечатано и храниться у тебя. Меня ужасает сама мысль о том, что он носит что-либо или просто владеет чем-либо из подаренного мной. Невозможно, конечно, избавиться от мерзких воспоминаний о двух годах, в течение которых я, к моему несчастью, держал его подле себя, и о том, как он вверг меня в пучину страданий и позора, утоляя свою ненависть к отцу и прочие низменные страсти. Но мои письма и подарки не должны у него оставаться». Бози воспринял эту просьбу как мелочность, скарденность и отсутствие широты души.

Дрожит пламя газового рожка, тени прячутся в углах камеры, Оскар сутулится над доской кровати: «Самые низменные побуждения, самые низкопробные вкусы, самые вульгарные увлечения все в большей степени определяли твою жизнь, но тебе этого было мало: тебе хотелось, чтобы эти сомнительные принципы были определяющими и в жизни других людей. Ты готов был пожертвовать ради этого жизнью любого из них, причем без малейших колебаний».

Постепенно тон «*De profundis*» меняется, череда упреков превращается в размышления о литературе, об искусстве, о страдании и о Христе. «Душа человека, впитывая в себя все то, что само по себе вульгарно, низменно и жестоко, может трансформировать это в благороднейшие помышления и высокие страсти».



И вновь Уайльд упрекает и обличает: «...Если положить на одну чашу весов тебя, а на другую — одно-единственное мгновение моего заточения, то твоя чаша взлетит кверху, как перышко». Но заканчивает письмо прощением и просьбой прислать текст посвящения к сборнику стихов Дугласа: «Не сомневаюсь, что найду в нем много прекрасных слов». Он снова пишет о любви: «В целом мире нет такой недоступной тюрьмы, куда бы не достучалась Любовь. Если ты до сих пор не понял этого, значит, ты не понял, что такое Любовь».

Заканчивается последний листок синей бумаги с гербом министерства юстиции, которую доставал для Уайльда новый начальник тюрьмы майор Нельсон. Синий свет газового рожка падает на последние строки: «Ты пришел ко мне, чтобы постичь радости Жизни и радости Искусства. Но, может быть, я избран был для другой миссии — научить тебя, в чем смысл Страдания и в чем его красота».

Уайльд просил Роберта Росса перепечатать письмо в нескольких экземплярах и один послать Альфреду Дугласу. Но Бози потом утверждал, что никогда не получал его и, видимо, не лгал. Роберт Росс так и не решился его отправить. Впервые и со значительными купюрами оно было опубликовано только в 1905 году, через пять лет после смерти автора. А полностью через полвека — в 1962-м. И даже тогда показалось публике слишком откровенным и чуть ли не шокирующим.

18 мая 1897 года Оскару Уайльду вернули одежду, которая была на нем на суде, и рукопись «De profundis». Перед освобождением его переводили в тюрьму Пентон-вилль, где он провел только одну ночь. В пятнадцать минут седьмого, 19 мая, у ворот тюрьмы его встретили друг Мор Эйди и пастор Хедлэм. Они поехали к пастору, к завтраку туда же приехали Леверсоны. Уайльд был строен, жизнерадостен, великолепно одет, с неизменной гвозди-



кой в бутоньерке и сигаретой в руке. Он тут же сделал комплимент шляпке Ады и начал иронизировать по поводу тюрьмы, ее любезного начальника и его очаровательной жены, которые принимали его за садовника.

Но этот блестящий франт был вынужден написать письмо в католический приют и просить убежища на полгода. Ему было отказано.

Тем же вечером он сел на пароход и навсегда покинул Англию. В половине пятого утра в порту Дьепа на берег сошел уже другой человек. Его звали Себастьян Мельмот по имени героя романа пастора Чарлза Мэтьюрина «Мельмот-скиталец». Пастор был двоюродным братом бабки Уайльда.

Оскар остановился сначала в Дьепе, потом переехал в маленькую рыбацкую деревушку Берневаль, где поселился с Робертом Россом в «Отеле де ля Пляж». Несколько месяцев он наслаждался вновь обретенной свободой, морем, ветром, солнцем и работал над «Балладой Рэдингской тюрьмы». Но вскоре Росс уехал, и Уайльд начал мучиться от одиночества. И тогда пришло письмо от Альфреда Дугласа. Оскар тут же написал об этом Россу: «Он не успокоится, пока не погубит меня. Заклинаю Вас, убедите его не делать этого во второй раз. Письма его ко мне возмутительны».

Но не прошло и двух дней, как Уайльд ответил Бози: «Дорогой мой мальчик! Если ты будешь возвращать мне мои прекрасные письма, сопровождая их письмами, полными желчи, ты так никогда не запомнишь мой адрес. Он написан выше». Переписка возобновляется, и они все чаще пишут друг другу, и письма Уайльда снова полны любви: «Не подумай, что я разлюбил тебя. Конечно же, я люблю тебя больше всех на свете. Но встреча невозможна — наши жизни разделены навсегда. Нам осталось только сознание того, что мы любим друг друга, и я думаю о тебе каждый день <...>».



Бози забрасывает его письмами, умоляет о встрече. Уайльд сначала советует ограничиться перепиской, пишет, что встреча невозможна, но, наконец, позволяет себя уговорить. Рано утром 31 августа он пишет Бози: «Я получил твою телеграмму полчаса назад и пишу тебе эти строки только лишь для того, чтобы сказать, что быть с тобой — мой единственный шанс создать еще что-то прекрасное в литературе... Мое возвращение к тебе вызывает всеобщее бешенство, но что они понимают? Только с тобой я буду хоть на что-то способен. Возроди же мою разрушенную жизнь, и весь смысл нашей дружбы и любви станет для мира совершенно иным».

Они встретились в тот же день в Руане. Потом Альфред вспоминал, что Уайльд заплакал, как только увидел его. Они ходили по городу, взявшись за руки, забыв обо всем, и были совершенно счастливы. Оскар задержался в Руане до 14 сентября, к этому моменту Бози уехал в Неаполь. 15-го Уайльд уже в Париже, в отеле «Эспань».

Бози зовет его к себе в Неаполь, обещая деньги и кров. И Уайльд из Парижа заказывает номер в Неаполе. Но на дорогу нет денег. Последние нашлись у американо-ирландского поэта и писателя Винсента О'Салливана. Оскар пригласил его к себе, рассказал о планах путешествия и заметил, что отправился бы туда немедленно, если бы не одно обстоятельство — отсутствие денег. Салливан привез его в банк и вручил требуемую сумму. На следующий день Оскар уехал в Италию.

Сначала все шло хорошо. К Уайльду вернулись вдохновение и радость жизни. Он пишет либретто к опере «Дафнис и Хлоя», получает деньги и за него, и за «Балладу Рэдингской тюрьмы», начинает «Флорентийскую трагедию». Они переезжают из Неаполя на Капри, потом на Сицилию. Но Бози все чаще оставляет его, то проводя ночи с портовыми мальчиками, то на вилле богатой американки. Деньги Уайльда быстро подходят к концу, а но-



вых доходов не ожидается. Роберт Росс, от которого он больше, чем когда-либо зависит материально, упрекает за возвращение к Бози. В Париже уже пишут, что он голодает. Это еще не так, но 30 ноября Бози бросает его в нужде и тщетном ожидании гонораров за стихи и ненаписанную пьесу и возвращается в Париж. История повторяется. В который раз!

В феврале 1898 года Уайльд вернулся в Париж, где должна была выйти в свет «Баллада Рэдингской тюрьмы». Его возвращению помогли 200 фунтов, полученные от леди Куинсберри за разрыв с Бози.

23 марта Уайльд написал в «Дейли кроникл» письмо, опубликованное на следующий день под заголовком «Не читайте этого, если хотите сегодня оставаться счастливыми». В этот день в Палате общин должны были начаться слушания по тюремной реформе. Это было второе письмо Уайльда об ужасах английских тюрем, первое опубликовали годом раньше. На заседании были оглашены оба, а депутат Джон Редмунд процитировал строфу из «Баллады Рэдингской тюрьмы» и сорвал аплодисменты. В результате все предложения по улучшению содержания заключенных были приняты и вступили в силу в августе 1898 года. Так бывший осужденный, изгнанник, отверженный гомосексуалист, эстет и сторонник искусства для искусства Уайльд стал вождем целого общественного движения и добился реального изменения законодательства. И не чем иным, как своим искусством.

В мае Уайльд снова встречается с Бози. Они посещают костюмированный «праздник дуралеев» в Латинском квартале, театры и премьеры и обедают в самых дорогих ресторанах, в то время как в отеле Уайльд живет в долг.

«Патриот, брошенный в тюрьму за любовь к родине, продолжает любить родину; поэт, наказанный за любовь к юноше, продолжает любить юношей», — писал Оскар. И не ограничивался Бози. У него появился новый воз-



любленный — юный Морис Гильберт. А в маленькой гостинице в Ножане он снова принимал мальчиков.

Он путешествует: Ницца, Генуя (где он посещает могилу жены), Швейцария. Юные рыбаки Средиземного моря, итальянский актер, похожий на Гамлета, романтические берега Женевского озера. И снова безденежье и невозможность уехать из наскучившей Швейцарии. Его спасло неожиданное наследство — умер его брат Уилли, и он стал наследником имения в Мойтуре, которое немедленно решил продать и на радостях поехал в Италию, где узнал, что не может этого сделать, так как деньги тут же будут арестованы кредиторами.

Уайльд написал верному Робби и вернулся в Париж.

Он виделся с Бози еще несколько раз, но уже не как с любовником: наконец, прошлое решено было оставить в прошлом.

После смерти отца маркиза Куинсберри Альфред получил значительное наследство. Но судебные издержки Уайльда так и не оплатил, ограничившись несколькими приглашениями на обед. Когда Оскар напомнил ему о долге, он впал в ярость.

— Долг чести? Да, долг чести. Настоящий джентльмен никогда не возвращает долги чести!

В последние годы жизни Оскар почти не писал: ни стихов, ни пьес. Расточая на встречах с друзьями великолепные и остроумные рассказы, которые могли бы быть записаны. «Я не могу больше писать, — говорил он, — во мне умерло честолюбие. Я мог говорить о жизни, не зная ее. Теперь же, когда я узнал о ней все, мне нечего больше сказать». Автор «Баллады Рэдингской тюрьмы» больше не мог писать легкие или эстетские пьесы, а тюремные муки хотелось побыстрее забыть. Как только у него появлялись деньги — он тут же спускал их на мальчиков, рестораны и путешествия. И снова возвращался в дешевую парижскую гостиницу.



Может, он бы исцелился, и рана, нанесенная тюрьмой, могла бы зарубцеваться под действием бальзама, имя которому время. Но времени у него не было.

Когда-то он предсказал свою смерть. В сказке «Мальчик-звезда»: «Слишком велики были его муки, слишком тяжелому подвергся он испытанию — и спустя три года он умер».

В июле 1900 года Оскар заболел, началось воспаление уха — следствие падения в тюремной часовне. В октябре ему сделали операцию, но он не смог расплатиться ни с хирургом, ни с сиделкой. В ноябре к нему приехал Роберт Росс. Уайльд страдал от болей в ухе, но все же встал и поехал с Робби в Булонский лес. Там к ним присоединился Тернер.

Тихий, полупрозрачный, осенний Булонский лес. Парк, а не лес. На одной из аллей старики играют в шары.

— Прошлой ночью мне приснилось, что я сижу за одним столом с мертвецами, — сказал Уайльд.

— Ты наверняка был душой компании, — пошутил Тернер.

12 ноября Росс отправился к матери в Ниццу. Уайльд плакал и умолял его не уезжать.

— Я умру здесь! Я чувствую! Смерть уже внутри меня!

Уайльд остался с Реджинальдом Тернером. 26 ноября Оскару стало хуже, он лег в постель, жалуясь на слабость. Был в дурном настроении, бранил сиделку, прислугу и Тернера, потом начал бредить по-английски и по-французски.

27 ноября в ухе обнаружился абсцесс, и инфекция начала распространяться на весь организм, доктор Такер поставил диагноз «менингит».

Росс срочно вернулся.

Когда он приехал в Париж 29 ноября, Уайльд был уже безнадежен, он умирал. Был иссиня-бледен, тяжело дышал и не мог говорить, только следил глазами за окружающими.



Позвали католического священника. Росс принес клятву, что умирающий давно собирался принять католичество. Это было правдой. Незадолго до смерти Уайльд посетил Рим и получил там благословение папы.

Отец Картберт Дан из ордена английских пассионистов вложил свечу в руки Уайльда, но тот не смог ее удержать. Робби встал на колени и положил руку Оскара на Евангелие. Прозвучал Символ веры и формула отпущения. Так на смертном одре Оскар Уайльд стал католиком.

Он умер 30 ноября 1900 года. За гробом шли его друзья-любовники: Альфред Дуглас, Роберт Росс, Морис Гильберт и добрый хозяин гостиницы Дюпуарье, который позволял Уайльду жить у себя в долг. Дюпуарье возложил венок с надписью «Моему постояльцу». Отпевали в церкви Сен-Жермен-де-Пре, что совсем рядом с богемным кафе «Де флер», которое уже тогда было любимым писателями и художниками и осталось таковым и в начале века двадцатого.

Сначала Уайльда похоронили на кладбище в Баньо, но в 1909 году Роберт Росс вскрыл могилу, и останки были перенесены на кладбище Пер-Лашез. Надгробие украсил сфинкс работы Джейкоба Эпстайна. Участок кладбищенской земли под могилу был выкуплен Россом в бессрочное пользование, и он сам тоже похоронен здесь, согласно его завещанию.

Незадолго до смерти Уайльда Росс ходил на кладбище Пер-Лашез. Оскар спросил, выбрал ли он место для него и добавил:

— Мне нужна большая гробница из порфира, чтобы и ты когда-нибудь там почил. А когда зазвучат трубы Страшного суда, я перевернусь и шепну тебе на ухо: притворимся, Робби, что мы не слышим.

Памятник на могиле из серого камня, но все его основание покрыто поцелуями — алыми следами губной помады — почти порфир.



Бози дожил до глубокой старости, выпустил несколько сборников стихов и книг воспоминаний об Уайльде, по большей части лживых. Он ненадолго женился, заделался гомофобом, антисемитом и националистом. В 1922 году обвинил Уинстона Черчилля в причастности к жидо-масонскому заговору с целью убийства одного из британских политиков и попал в тюрьму за клевету. Так сбылось еще одно пророчество Уайльда: «Ты пришел ко мне, чтобы постичь радости Жизни и радости Искусства. Но, может быть, я избран был для другой миссии — научить тебя, в чем смысл Страдания и в чем его красота».

Только здесь, в тюрьме, Альфред смог до конца понять своего друга, любовника и учителя. После выхода на свободу он посвятил Уайльду сонет, полный раскаяния, и написал несколько новых книг о нем. Они не такие скандальные и лживые как первая «Оскар Уайльд и я», но слишком апологетические. До конца дней Альфред отрицал интимные отношения с Уайльдом и признавался только в платонической любви.

Он умер от сердечного приступа в марте 1945 года, в возрасте 74 лет почти в нищете. Незадолго до смерти он принимал у себя депутата и любителя светских салонов сэра Генри Шэннона, который оставил воспоминания об этой встрече: «Ему было семьдесят два года, но выглядел он гораздо моложе, был строен, элегантен, с улыбающимися, восхитительными глазами... Он не скрывал того, что был содержанкой Уайльда, и показал нам репродукцию одного своего портрета, написанного в ту пору. На нем был изображен молодой человек почти невероятной красоты — настоящий Дориан Грэй».

ГИППИУС И МЕРЕЖКОВСКИЙ

Кавказ. Конец июня. Селение Боржом. Семейство Гиппиус снимает две недорогие дачки. Восемнадцатилетняя Зина — стройная девушка с золотисто-рыжими волосами и серо-зелеными глазами. Она пишет стихи, увлекается поэзией недавно умершего и очень популярного Надсона, а также танцами и верховой ездой. Она центр и вдохновитель кружка гимназистов-поэтов и не знает отбоя от поклонников.

Незадолго до отъезда на дачу ей в руки попался журнал «Живописное обозрение», где среди дифирамбов Надсону было упоминание и о его молодом друге — поэте Дмитрие Мережковском и приводилось одно его стихотворение. Зине не понравилось.

Один из боржомских поклонников — молодой латыш Якобсон, начальник почтовой конторы, пишет «стихотворения в прозе», над которыми смеются гимназисты.

Как-то к Гиппиусам зашел гимназический поэт Глокке и сообщил Зине потрясающую новость:

— У Якобсона живет буддист из Индии, ходит в халатах и ни с кем не разговаривает.

— Вздор, — сказала Зина. — Нет никакого буддиста, а живет у Ивана Григорьевича петербургский поэт Мережковский.

Глокке опешил:



— Кто вам сказал?

Никто ничего не сказал. Она не могла объяснить, откуда это взяла.

Дело было так. Дмитрий Мережковский путешествовал по Кавказу с поэтом Минским, потом они расстались, Дмитрий Сергеевич спустился по Военно-Грузинской дороге в Закавказье, и там кто-то посоветовал ему заглянуть в Боржоми. Он приехал в мае, слишком рано для Боржоми, было сыро и пасмурно, лил непрерывный дождь. К тому же Дмитрий попал не в лучшую гостиницу «Кавалерская», а в какой-то барак. Он собрался уезжать, но зашел на почту спросить, нет ли писем от матери и назвал фамилию. Эрудированный Якобсон тотчас вспомнил столичного поэта (друга самого Надсона!) и уговорил переехать к нему.

Так Мережковский оказался у Ивана Григорьевича, а тот придумал историю с буддистом, чтобы заинтриговать прекрасную Зину. Но был тут же разоблачен.

— Да, это поэт Мережковский, — подтвердил Глокке. — Я с ним познакомился, но он не танцует и верхом не ездит. Но Иван Григорьевич хочет его с вами познакомить. В ротонде, в воскресенье. Вы будете?

Как же иначе? Нельзя же пропустить танцевальный вечер!

Длинная галерея, увитая виноградом, примыкает к ротонде, и во время танцев здесь прогуливаются пары или сидят на скамейках.

Антракт. Рыжеволосая красавица Зина выходит в галерею, опираясь на руку Глокке. Здесь стоит ее мать и разговаривает с худеньким и невысоким молодым человеком с каштановой бородкой.

— Познакомьтесь, — говорит Глокке. — Это и есть поэт Мережковский.

Дмитрий тоже слышан о местной поэтессе, но восторга ее поклонников не разделяет.



— Я читала ваши стихи, — говорит она.

— Ну и?

— С Надсоном не сравнить!

С тех пор каждый их разговор выливается в спор. Встречаются они каждый день, и каждый день на грани ссоры.

Якобсон сплетничает: Мережковский влюблен в Соню Кайтамазову. Очень скромную тихую девушку с длинной темной косой. Кажется, чеченку. Она никуда не ходит, даже на танцы, и все время гуляет одна с книжкой. Дмитрий признает: да, она прелестна, но раздражает его своим тупым молчанием.

А Зина кажется малообразованной. Она даже не читала Спенсера!

В этом есть доля правды, Зина уже несколько лет больна туберкулезом, не может посещать гимназию, у нее довольно бессистемное домашнее образование. Да и читает без системы, все подряд, то, что удастся достать.

А Мережковский умен и образован, «блестящий молодой человек из Петербурга», — говорит о нем ее дядя, тоже успевший сделать ей предложение, и тут же добавляет: «Но не стоит увлекаться этим блеском!» А Зина и не чувствует себя увлеченной. Да, Дмитрий умеет весело и живо говорить «интересно об интересном», но он слишком умен для нее, и она всегда будет это чувствовать и помнить об этом. Но и дядя ей не нравится. Он же совсем старый (за 30!).

Зина и Дмитрий уже встречаются в парке каждое утро, и наедине. Гуляют, разговаривают.

— Когда вы придете завтра? — спрашивает он. — Придите пораньше.

— А если я просплю?

Дмитрий мрачнеет и отводит взгляд.

Зина удивилась этой неожиданной обиде. Только теперь ей пришло в голову, что за ней ухаживают.



Пролетел июнь и первые десять дней июля.

Одиннадцатого очередной танцевальный вечер, но, на этот раз, детский. Зине и Дмитрию быстро надоело смотреть на танцующих детей, и они вышли в парк из духоты танцевального зала.

Здесь светит луна, и деревья стоят серебряные в арке у ротонды. Свежо и прохладно. Они вдвоем на дорожке парка, а рядом шумит ручей Боржомка, они уходят все дальше по ущелью, и музыка едва слышна.

«Я не могу припомнить, как начался наш странный разговор, — писала Гиппиус. — Самое странное, что он мне тогда не показался странным». Это не было объяснение в любви, не было предложение, просто они сразу, не сговариваясь, начали говорить так, словно давно уже решено, что они поженятся. Начал, конечно, Мережковский, но и Гиппиус вошла в этот тон совершенно естественно. Потом, много позже, во время их ссор, ей казалось, уж не из кокетства ли она ему подыграла? Может, и не хотела вовсе за него замуж? По крайней мере, не была влюблена.

Влюблена она бывала, и неоднократно, в первый раз в 16 лет в одного юного талантливого скрипача, который очень за ней ухаживал, но осенью того же года умер от туберкулеза.

Остальные влюбленности оставили меньший след в душе юной Зинаиды. «Я в него влюблена, но я же вижу, что он дурак», — писала она в дневниках.

Здесь было совсем другое.

Она вернулась домой растерянной и не понимала, как рассказать родственникам о том, что случилась. В конце концов просто перевела на привычный язык:

— Мережковский сделал мне предложение.

— Как и он тоже? — засмеялась тетя Вера.

— Что же ты ответила? — спросила мама.

— Я? Ничего. Да он и не спрашивал ответа! — рассердилась Зина и ушла в свою комнату.



На следующее утро Зина и Дмитрий снова встретились в парке, и начатый разговор продолжился как ни в чем не бывало.

Они так и встречались каждый день в парке или Дмитрий заходил к Зине, пока в сентябре семья Гиппиус не уехала в Тифлис. Мережковский отправился с ними, но вскоре уехал из Тифлиса, и влюбленные стали писать друг другу каждый день.

Эта переписка так и осталась единственной. После свадьбы они прожили вместе 52 года, не разлучаясь ни на один день. А потому не было нужды в переписке.

Венчание было 8 января 1889 года в Михайловский церкви неподалеку от дома Гиппиус. И жених, и невеста считали свадебные пиры пошлостью, и все было обставлено в высшей степени скромно. На Зинаиде было платье темно-стального цвета и такая же шляпка на розовой подкладке, а на Дмитриии — сюртук и «николаевская шинель» с пелеринкой и бобровым воротником. Оказалось, что в шинели венчаться нельзя, и ее пришлось снять. Но замерзнуть жених не успел, все произошло слишком быстро. Не было ни певчих, ни дьякона и почти никого из посторонних. Только светлые лучи из окон через всю церковь.

Им под ноги бросили розовую подстилку, на которую они должны были вступить. Кто первый наступит — тому и главенствовать в семье. Вступили одновременно и осторожно, чтобы не испачкать вещь, которая потом идет священнику. Им дали пить по очереди из одного сосуда. Во второй раз Зинаида хотела допить, но услышала испуганный шепот священника: «Не все! Не все!» Последним должен быть жених.

Вскоре церемония окончилась, и молодожены вышли на паперть разговаривать со свидетелями.

— Мне кажется, что ничего не произошло особенного, — сказала Зинаида.



— Ну нет, очень-таки произошло, и серьезное, — возразил один из свидетелей.

Так же пешком отправились домой, где их ждал почти обыкновенный завтрак, который дополнили бутылкой шампанского.

Все продолжилось, как вчера. Молодожены читали, обедали, разговаривали. И так до вечера.

В воспоминаниях Гиппиус нет интимных подробностей, она была достаточно скрытна во всем, что касалось ее интимной жизни. Но с этого первого дня ее брак с Мережковским кажется несколько странным.

Итак, наступает вечер дня свадьбы. Что же делает жених?

«Д.С. ушел к себе в гостиницу довольно рано, я легла спать и забыла, что замужем, — вспоминала Гиппиус. — Да так забыла, что на другое утро едва вспомнила, когда мама, через дверь, мне крикнула: “Ты еще спишь, а уж муж пришел! Вставай!”»

Муж? Какое удивление!»

Трудно ожидать от холодноватой Гиппиус, писавшей «А тайну грозную, последнюю и верную Я все равно вам не скажу», рассказа о первой брачной ночи во всех подробностях. Но создается впечатление, что первой брачной ночи не было вообще. Не оставляли молодых одних на ночь, да и жених ушел в гостиницу. Как же сила страсти не бросила его к ней? Как же они смогли расстаться в эту первую ночь? Да и была ли страсть?

10 января молодожены сели в дилижанс и отправились во Владикавказ. Уже на второй станции дилижанс пришлось покинуть, пассажиров пересадили в сани, и они покатали по узкой заснеженной дороге. На снежных стенах по обе стороны мелькали то черные, то красные флажки. Первые означали опасность обвала, вторые, что обвал уже произошел и возможен второй. К ночи добрались до Крестовой горы с несколькими де-



ревянными гостиничными постройками. И что же? Слишком холодно. Молодые ложатся спать, не раздеваясь, и укрываются: Гиппиус — белой бараньей шубой, а ее муж — шинелью.

Был ли этот союз чисто духовным, как считали некоторые из современников? Во всяком случае, не по воле Гиппиус. Она считала себя слишком чувственной.

Я — молодая сатиресса,
Я — бес.
Я вся живу для интереса
Телес, —

писал о ней Владимир Соловьев.

«Зачем же я вечно иду к Любви? — запишет она в дневнике. — Я не знаю; может быть, это все потому, что никто из них меня, в сущности, не любил? У Дмитрия Сергеевича тоже не такая, не «моя» любовь».

Любовь возвышенная и любовь плотская были разделены в умах интеллигенции конца века девятнадцатого. Первая считалась чистой и невинной, вторая — мерзкой и греховной. Зине ненавистно это разделение. Должна быть единая любовь, «огненная чистота» — вместе чистая и плотская. И она будет всю жизнь искать именно такую любовь.

Итак, чета Мережковских едет в Петербург. Мать Дмитрия сняла и обставила для них квартиру на Верейской улице. Как только ей это удалось! Едва добилась от мужа и согласия на брак сына, и денег. Отец Мережковского богат и вышел в отставку в чине действительного тайного советника, равным генеральскому, но обладает некой принципиальной скупостью: убежден, что каждый должен сам зарабатывать на жизнь и жить на собственные деньги. Но жену любит безгранично, и ее любимый младший сын получает право на отцовское пособие.



В их квартире появляются поэты, писатели, художники. Они восхищены рыжеволосой красавицей, тонкой и стройной, как свечка, умной и острой на язык. Ее первое увлечение: поэт-символист Николай Минский. Он не сводит с нее глаз. Влюблен до безумия. Она — почти равнодушна. Ей нравится видеть себя его глазами, любоваться собою через него, самой себе признаваться в любви его устами, она влюблена «в себя через него». Но любовь к собственному отражению скучна. История Нарцисса, не фарс, а трагедия. Любовь к себе бесплодна и одинока.

Вскоре Минский получает письмо в синем конверте. «Любовницей Вашей я никогда не стану, — пишет Гиппиус, — а другого ничего Вы не хотели: ни жалости, ни красоты, никаких человеческих отношений. Вы позаботились стереть следы прекрасного между нами... Неужели я должна принять безобразие жизни и не верить в любовь, как уже не верю в силу слов?»

К ним заходит университетский знакомый Мережковского Федор Червинский. Гиппиус влюбляется в него еще более мимолетно, и он почти не оставляет следа ни в ее душе, ни в дневниках.

Вскоре она знакомится с Акимом Волинским — критиком, журналистом, редактором «Северного вестника», будущим автором романа о Леонардо да Винчи. Точнее, Акимом Флексером, прозванным Чеховым «Филлоксерой». «Волинский» — псевдоним.

«Это был худенький, маленький еврей, остроносый и бритый, с длинными складками на щеках, говоривший с сильным акцентом и очень самоуверенный», — писала Гиппиус. А со старинных фотографий на нас смотрит молодой человек с несколько вытянутым лицом, высоким лбом и глазами навывкате.

Гиппиус пишет ему многочисленные письма, полные любви, если не обожания:



И без тебя я не умею жить...
Мы отдали друг другу слишком много.
И я прошу как милости у Бога,
Чтоб научил он сердце не любить.

«...Боже, как бы я хотела, чтобы Вас все любили!.. Я смешала свою душу с Вашей, и похвалы, и хулы Вам действуют на меня, как обращение ко мне самой. Я не заметила, как все переменялось. Теперь хочу, чтобы все признали значительного человека, любящего меня...»

И Вольтер восхищается ею: «Передо мною была женщина-девушка, тонкая, выше среднего роста, гибкая и сухая, как хворостинка, с большим каскадом золотистых волос. Особенно осталась в памяти ее походка. Шажки мелкие, поступь уверенная, движение быстрое, переходящее в скользящий бег. Глаза серые с бликами играющего света. Здороваясь и прощаясь, она вкладывала в вашу руку детски-мягкую, трепетную кисть, с сухими вытянутыми пальцами. Кокетливость достигала в ней высоких степеней художественности... Странная вещь: в этом ребенке скрывался уже и тогда строгий мыслитель, умевший вкладывать предметы рассуждения в подходящие к ним словесные футляры, как редко кто. Она сама была поэтична насквозь. Одевалась она несколько вызывающе и иногда даже крикливо. Но была в ее туалете все-таки большая фантастическая прелесть. Культ красоты никогда не покидал ее ни в идеях, ни в жизни...»

Их отношения стремительно развивались, но вдруг она испугалась и отступила на шаг. По другой версии, Вольтер разделял ее стремление сохранить «телесную чистоту». В рецензии на сборник стихов Гиппиус, написанной Вольтером, есть довольно двусмысленный пассаж: «Религиозность Гиппиус — это религиозность католической монахини, при которой еще ярче очерчивается человеческая личность, ее чувственные элементы, ее сдержанно-горделивая пластика. Чем больше говорит



она о Боге, тем больше видит она сама — в своей тонкой, капризной телесно-душевной жизни».

Все кончилось резко и почти скандально. Волынский, как вредная, погубившая виноградники филлоксера, был крайне бесцеремонен в обращении с рукописями, и самовластно резал новый принятый им к печати роман Мережковского «Юлиан Отступник»: «Это — вон! Вот это тоже вон!» В результате роман вышел в сильно урезанном и искаженном виде.

К тому же Флексер начал писать в «Северный вестник» критические статьи, каждая из которых приводила к ссоре. «Я протестовала даже не столько против его тем или его мнений, сколько... против невозможного русского языка, которым он писал, — вспоминала Гиппиус. — Аким в «холодном бешенстве» ходил из угла в угол, повторяя: «Вы бррраните, а ддрругие хвалят...»

Отношения с Флексером продолжались до весны 1897 года. Но еще в конце 1895-го Гиппиус отказалась публиковаться в «Северном вестнике» из-за стиля редактора, оскорблявшего ее эстетическое чувство. Была и еще одна причина разрыва: Флексер отклонил роман Мережковского о Леонардо да Винчи, поскольку писал свой на ту же тему.

Зинаида увлекалась не только мужчинами: любовь двупола, а природа человека бисексуальна. «В моих мыслях, моих желаниях, в моем духе — я больше мужчина, в моем теле я больше женщина, — писала она. — Но они так слиты, что я ничего не знаю». Молва связывала ее с баронессой Елизаветой фон Овербек, которая писала музыку к переведенным Мережковским трагедиям Софокла и Еврипида, для постановки в Александрийском театре. Между Гиппиус и фон Овербек подозревали лесбийский роман, а злые языки называли брак Гиппиус и Мережковского браком лесбиянки и гомосексуалиста, а саму Гиппиус гермафродиткой.



Красавица боттичеллевского типа, худенькая и нежная, Зинаида отрекалась от женственности: женский мир казался ей неинтересным, женщины банальными, женские занятия скучными. И писала она от мужского лица. Под многочисленными мужскими псевдонимами: Антон Крайний, Антон Кирша, Товарищ Герман, Лев Пущин. И посвящала женщинам стихи. Одно из них, посвященное поэтессе-символистке Поликсене Соловьевой крайне двусмысленно:

О, слишком — увы — много плоти на мне!
На ней — может быть — слишком мало...
И вот мы горим в непонятном огне
Любви никогда не бывалой.

Порой, над водой, чуть шуршат камыши,
Лепечут о счастье страданья...
И пламенно-чисты в полночной тиши —
Таинственно чисты — свиданья.

Я радость мою не отдам никому;
Мы вечно друг другу желанны,
И вечно любить нам дано — потому,
Что здесь мы, любя, — неслиянны!

Та самая единая любовь, «огненная чистота». Только к женщине!

Отношения Гиппиус с Поликсеной Соловьевой были мимолетны, зато Наталия Манасеина, жена известного ученого, оставила мужа ради совместной жизни с Поликсеной.

В начале 1900 годов у четы Мережковских возникает идея религиозно-философских собраний, где бы творческая интеллигенция встречалась с представителями церкви и обсуждала вопросы веры.

«К нам в дом стали приходить священники, лавриты, профессора Духовной Академии, — пишет Зинаида в дневнике, — и между ними два, молодые, чаще других.



Из всех заметнее был Карташев, умный, странноватый, говорливый на Собраниях... У меня мелькнула мысль: а ведь эти странные, некультурные и как будто жаждущие культуры люди — ведь они девственники! Они сохранили старое святое, не выбросили его на улицу, не променяли на несвятое — быть может, ожидая нового святого? Может быть, среди них есть...»

Дмитрий Мережковский — жаворонок, встает рано, работает каждый день четко до полуденного выстрела на пушке Петропавловской крепости, а потом идет гулять до завтрака. Андрей Белый насмехается над этой привычкой: «Но вот — пушка ударила. И тихо насвистывая, в меховой своей шапке, в пальто на меху — легким скоком: в переднюю; шел — в Летний сад; недописанная же фраза — на запятой досыхала».

Зато Зинаида — ночное существо. Ложится под утро, а ночами любит вести долгие интеллектуальные беседы с молодыми людьми. Это происходит у камина в гостиной, соседней со спальней Мережковского, так что тот вынужден стучать в стену кулаком, чтобы они уgomонились и разговаривали потише. Для Гиппиус не проблема остаться с мужчиной наедине.

У нее в гостях Антон Карташев. Они беседуют о боге, об искусстве, о любви. Жарко пылает камин. Искры рисуют в воздухе огненный узор. И ее глаза сияют, и алеют щеки, отражая пламя.

Пора прощаться.

Она подходит к Антону, кладет маленькую ладонь ему на плечо и целует в губы.

— Помолитесь за меня, — отвечает Антон.

Прекрасный ответ, верное доказательство чистой любви: он «сказал вдруг три слова, поразившие меня, которых я не ждала, и которые были удивительны в тот момент по красоте, по неуловимой согласованности с чем-то желанным и незабываемым».



Но это только начало. Вскоре Карташев по-настоящему влюбился в рыжеволосую и нежную красавицу с хризолитовыми глазами. И это была любовь-страсть. «Прощаясь, на темном пороге, я его поцеловала... Но, Боже, как странно! Холодные, еще более дрожащие — и вдруг жадные губы. Бессильно жадные...»

Гиппиус вновь была разочарована. Не то! Не «огненная чистота».

1898–1899 годы. Журнал «Мир искусства». Кружок Дягилева: сам Дягилев, Дмитрий Философов, двоюродный брат Дягилева, художники Бенуа и Бакст, композиторы и организаторы «Вечеров современной музыки» Вальтер Нувель и Альфред Нурок. Редакция «Мира искусства» на квартире Дягилева, и по средам там собирается литературная и художественная элита.

Энергичный и властный Дягилев, основатель журнала и будущий создатель нового русского балета, любит эпатировать публику нетрадиционностью пристрастий. Барские манеры, повелительные интонации, круглое розовое лицо, белая прядь над низким лбом среди черных волос, плотная фигура, которой он стесняется и никогда не раздевается на пляже. Он капризен и упрям. А его самоуверенность и чрезмерное властолюбие вызывают отторжение у Гиппиус, при полном признании всех его талантов, образованности и интуиции. «Дягилев был прирожденный диктатор, фюрер, вождь». Она сочиняет о нем эпиграмму:

Курятнику петух единый дан.
Он властвует, своих вассалов множа,
И в стаде есть Наполеон — баран.
И в «Мир искусства» есть — Сережа.

Дмитрий Философов — его первая известная любовь. Дима обладает пассивным характером, вечно неуверен в себе и полностью под властью Дягилева. Философов



замечательно красив: высокий, стройный, изящный. Его гомосексуальные наклонности проявились еще в петербургской гимназии Мая, где он слишком нежно дружил с соседом по парте, будущим художником Константином Сомовым. Мальчики то и дело обнимались, прижимались друг к другу и чуть не целовались, что вызывало «брезгливое негодование» одноклассников.

После гимназии Сомова сменил Дягилев. Они жили вместе, и вместе ездили за границу. Но в 1899 году Философов заинтересовался идеей религиозно-философских собраний и даже принимает участие в хлопотах по их открытию. А Гиппиус мечтает вырвать «Диму» из-под власти диктатора-Дягилева. Сергей неизменно сопровождает Философова на собрания, хотя сам не особенно увлекается религиозными дискуссиями. И тогда Мережковские начинают приглашать Философова отдельно, для более интимных бесед.

К весне 1902 года Философов стал отдаляться от Мережковских. Заболел, перестал у них бывать и вернулся к Дягилеву. Дмитрий Сергеевич нанес Дягилеву визит, чтобы встретиться с Философовым.

— Дима с нами поссорился, и мы не понимаем почему, — сказал Мережковский.

Дягилев не пустил:

— Он болен, и в таком ужасном настроении, что его лучше оставить в покое.

Вскоре Философов уехал за границу с Дягилевым.

Все изменилось в 1903 году. Тогда у Зинаиды умерла мать. Младшие сестры Гиппиус переехали к Мережковским, и Дмитрий Сергеевич поддержал их и помог перенести горе. Но он и сам был измучен. Все вместе, вчетвером, они поехали отдыхать в Финляндию. Философов их провожал, и он же встретил, когда они вернулись. И Зинаида поняла: он переживает какую-то личную трагедию, и больше их не покинет.



Трагедия заключалась в ссоре с Дягилевым, который публично обвинил Философова в посягательстве на своего юного любовника. Конфликт был неизбежен. Философу было за двадцать, а Дягилев предпочитал только очень юных любовников. Знаменитые танцовщики Вацлав Нижинский, Леонид Мясин, Антон Долин, Сергей Лифарь пришли к нему 18-летними, а композитор и дирижер Игорь Маркевич — 16-летним. К тому же Дягилев был патологически ревнив, Лифарь называл его «Отеллушка».

В 1905 году Философов уже пишет для журнала Мережковских «Новый путь», и они переходят на «ты», а в мае втроем едут в Крым и живут там несколько недель. А Гиппиус задумывается о тройственном устройстве мира. В ее духовном союзе с Мережковским именно она играла мужскую роль генератора идей. А Дмитрий подхватывал и разрабатывал их. Подхватил и эту, придав ей религиозный смысл. Троица, третий завет — завет Духа и Третье Царство — царство завета. И трое должны стать основоположниками новой церкви: Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Философов.

Они разрабатывают особый обряд и заключают тройственный союз, подобный брачному.

Горят свечи, на столе — вазы с цветами. Вино и хлеб, как на причастии. Трое обмениваются крестами и преломляют хлеб. Читают сочиненные Гиппиус молитвы в сочиненном ею же порядке. И обряд совершен. Кто они теперь? Жена и два мужа? Или религиозный орден, в котором интимные отношения не менее важны, чем духовные.

Этот союз просуществовал 15 лет. И его интимная сторона так и осталась покрытой тайной. Несомненно одно: Гиппиус была влюблена в Философова.

Объяснение произошло в 1905 году во время путешествия в Крым. Зинаида пришла к нему в комнату... Что же там произошло?



Почему-то Философов отправился в Петербург, а Мережковские в Константинополь...

Доподлинно известно, что перед отъездом Философов подsunул ей под дверь письмо:

«Зина, пойми, прав я или не прав, сознателен или не-сознателен... следующий факт, именно факт остается, с которым я не могу справиться: мне физически отвратительны воспоминания о наших сближениях.

И тут вовсе не аскетизм, или грех, или вечный позор пола. Тут вне всего этого, нечто абсолютно иррациональное, нечто специфическое.

В моих прежних половых отношениях был великий позор, но абсолютно иной, ничего общего с нынешним не имеющий. Была острая ненависть, злоба, ощущение позора, за привязанность к плоти, только к плоти.

Здесь же как раз обратное. При страшном устремлении к тебе всем духом, всем существом своим, у меня выросла какая-то ненависть к твоей плоти, коренящаяся в чем-то физиологическом...»

Итак, Гиппиус заходит к нему в комнату, обнимает, пытается поцеловать. Что он делает? Отстраняется? Или идет на поводу у желаний плоти, и они оказываются в постели? Викторианский витиеватый язык с успехом скрывает истину. Что есть «наши сближения»?

Так или иначе, гомосексуалист Философов, ни разу не замеченный в любовных отношениях с женщинами, остался верен себе. Из очередного увлечения Гиппиус ничего не вышло. По одной из версий, он предпочел Мережковского.

В начале 1906 года Философов уехал в Швейцарию на теософский съезд, предупредив мать, что собирается жить с Мережковскими в Париже. 14 марта (по старому стилю) Гиппиус с мужем тоже покинули Петербург и отправились в Париж, где их встретил Дима, уже снявший квартиру около площади Звезды.



Вскоре они познакомились с известным террористом, членом боевой организации эсэров, Борисом Савинковым, который сыграет немаловажную роль в судьбе тройственного союза. Савинков «резок, дерзок, самолюбив, упрям», но производит на Зинаиду впечатление волевого и умного. Он принимал участие в убийстве Плеве и великого князя Сергея в Москве. Был арестован на юге, бежал и тотчас перешел границу.

«Лицо — интересное, немного асимметричное, светлые волосы», — вспоминала Гиппиус. Говорит «осторожно и очень неглупо». И говорит о том, что кровь убитых давит его своей тяжестью, словно ожидая от Мережковских то ли оправдания, то ли приговора.

Гиппиус мечтала «вытащить его из террора». Но стала только литературной «крестной». Как-то Савинков читал им воспоминания о Каляеве, написанные «с оскорбительным для фактов» безвкусием и подражанием неизвестно кому. Гиппиус не преминула высказать автору все, что об этом думает, и дала совет, которым Савинков, все схватывавший на лету, к счастью, воспользовался: «Если хотите писать, — пишите проще, до последней возможности просто, думая лишь о том, что вы хотите сказать, а не как вы это скажете».

Следующая книга была написана несравненно лучше, так что Гиппиус придумала для нее название «Конь бледный» и одолжила один из своих мужских псевдонимов «В. Ропшин».

А в 1910-м «ангел смерти» Савинков готовил «царское дело» — покушение на Николая II, о чем тут же сообщил Мережковским.

Весной 1912 года Мережковские отдыхали на Ривьере, в маленьком отельчике при выезде из Канн. Оказалось, что боевая организация эсэров обосновалась совсем рядом, на вилле в Теуле. Савинков приглашал туда Мережковских, но окружение террориста не понравилось ни Зинаиде, ни Дмитрию Сергеевичу.



На день рождения Гиппиус подарила Борису сонет. Получив подарок, Савинков покинул гостей, заперся у себя в комнате и написал ответный сонет, хотя никогда раньше даже не пытался сочинять стихи. Сонет показался Гиппиус весьма недурным, и был написан по всем правилам. «Какая способность схватывать новое и без опыта сейчас же делать то же!» — вспоминала Зинаида. Она написала для Бориса стихи самого трудного размера — терцины, и стала ждать ответ. В его сонете была одна ошибка в стихотворном размере, в ответных терцинах — ни одной. Но оба стихотворения были страшноватыми — все на тему «Душа убита кровью».

Тем временем религиозный орден Мережковские-Философов пополнился еще одним троебратством. К ним присоединился тройственный союз, состоящий из двух сестер Гиппиус Натальи и Татьяны и Антона Карташева, бывшего преподавателя Петербургской духовной академии и несостоявшегося возлюбленного Зинаиды. Еще в 1911 году они все втроем приехали к Мережковским на Ривьеру. Однако «шестиугольник» оказался недолговечным и вскоре распался.

На лето Гиппиус и Мережковский обычно возвращались в Россию. Летом 1911 года это было имение Семенцово в Новгородской губернии. Сюда к ним приехала сестра знаменитого священника Павла Флоренского — юная художница Оля Флоренская. О ней и ее отношениях с троебратством стоит рассказать подробнее.

Дмитрий Мережковский называл ее «мой тихий светлый ангел» и переписывался с ней семь лет, вплоть до ее ранней смерти. Началась переписка еще осенью 1907 года. Тогда в Париж на имя Мережковского пришло письмо от юной гимназистки из Тифлиса. Для Дмитрия было не впервой получать письма от поклонниц, и он хотел отложить его, но, начав читать, не смог оторваться. Он ответил и попросил рассказать о себе. Че-



рез год они впервые встретились, потом встречались в Москве, Петербурге и на дачах Мережковских.

Но обычно Мережковский был в Париже, а Ольга — в России. Их «разделяют три тысячи верст и четверть века разницы в возрасте». «Серебряная влюбленность, — писал о своем увлечении Дмитрий, — нечаянная радость, неземная тайна земли, воспоминание души о том, что было с ней до рождения».

Гиппиус и не думала ревновать. Ольгу радушно приняли и она, и ее сестры, и Дмитрий Философов, и все их друзья. Флоренский, бывший идейным противником Мережковских, не одобрял сближения сестры с троебратством. Он считал, что сторонники нового религиозного сознания принимают исступление и экзальтированность за общение с Духом Святым. И погружаются в «две бездны» — в верхнюю бездну гностической теории и нижнюю бездну хлыстовской практики.

Хлыстовская практика — это экстатический танец до изнеможения, и после — «свальный грех». Дети, рожденные после подобных радений, считались детьми божьими. Было ли это в общине Мережковских, или Флоренский просто повторил стандартные обвинения официальной церкви против любых гностических сект?

Вскоре наступил черед Мережковского ревновать. Летом 1909 года Ольга приехала на их дачу под Петербургом вместе с другом брата Сергеем Троицким, за которого вскоре вышла замуж. Дмитрий ревновал, и переписка на некоторое время прекратилась, а в последующих письмах Мережковский обращался к ней на «Вы» и уверял, что вовсе не был влюблен.

Брак Ольги продлился чуть больше года. 2 ноября 1910 года преподаватель русского языка Первой тифлисской гимназии Сергей Семенович Троицкий был заколот кинжалом гимназистом Шалвой Тавдгеридзе, который, не выдержав переэкзаменовки, убил первого по-



павшегося учителя, которого встретил после провала. Последними словами умирающего Троицкого были: «Прощаю, прощаю его...»

Следуя завету убитого, Ольга и ее мать отправили на Высочайшее имя телеграмму с просьбой помиловать убийцу. К ним не прислушались, и убийцу казнили.

Ольга была убита горем и потеряла интерес к жизни. Мережковские звали ее переехать к ним насовсем в Петербург, но она отказалась. Только летом 1913 года наконец приехала к ним на дачу. Но отношения разладились, и Мережковские вернули ей нательный крестик, который она прислала в знак принадлежности к их церкви.

Четырехугольника не получилось. Вскоре произошел окончательный разрыв с Мережковскими. А через четыре года после смерти мужа, весной 1914-го Ольга умерла. Ей было 23 года.

Сохранилось посвященное ей стихотворение Мережковского:

Но в близости ко мне живой души твоей
Как все таинственно, так все необычайно, —
Что слишком страшною божественною тайной
Мне кажется любовь, чтоб говорить о ней...

Весной 1914 года Мережковские возвращаются в Россию. Они в самой гуще событий, дружат с Керенским, с восторгом встречают Февральскую революцию.

«Погода была удивительная: легкий мороз и нежная солнечная метель, — вспоминала Гиппиус. — Такие бывают летние дожди под солнцем. Снежинки, падая, отливали радугой». Незнакомые люди улыбались друг другу на улицах, и эта «революционная радость» светилась «на лице каждой встречной глупой бабы, почти не умеющей читать». «Незабвенное утро, алые крылья и Марсельеза в снежной, золотом отливающей белости...»



Летом 1917 года Мережковские уезжают отдыхать в Кисловодск, а возвратившись в Петербург, поражаются происшедшей с ним перемене: страшный, невиданный еще город. «Черный, грязный, усыпанный шелухой подсолнухов, с шатающимися бандами расхлябанных солдат...»

Но старые друзья — в правительстве: Керенский — премьер, Савинков — его помощник; причем и тот и другой периодически советуются с Мережковскими то по телефону, то заходя в гости. «Писателям писать негде. Но мы примиряемся с ролью «тайных советников» и весьма самоотверженно ее исполняем», — записывает Гиппиус в дневнике.

Ощущение надвигающейся беды не покидает. «Савинков сразу нарисовал положение: очень острое. Не говоря о военных потерях — внутренний развал экономический и политический — полный». Савинков убеждает Керенского ввести военное положение, но для «единственного революционера» в первоначальном революционном правительстве — это наступить на горло собственной песне. Он революционер до мозга костей, он эсер, он демократ. Он не может. «Для Керенского свобода — первое, Россия — второе», — говорит Савинков.

19 октября Зинаида Николаевна записывает в своем дневнике: «Вот уже две недели, как большевики, объединившись от всех других партий (их опора — темные стада гарнизона, матросов и всяких отшибленных людей, плюс — анархисты и погромщики просто), — держат город в трепете, обещая генеральное выступление, погром для цели: «Вся власть Советам» (т.е. большевикам)».

26 октября. Зимний дворец взят. Израненный женский батальон затащен в Павловские казармы и поголовно изнасилован. «Петербуржцы сейчас в руках и распоряжении 200-тысячной банды, гарнизона, возглавляемой кучкой мошенников», — пишет Гиппиус.



28 октября. «Только четвертый день мы под «властью тьмы», а точно годы проходят».

29 октября. Стихотворение «Веселье»:

Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил — засек кнутом?

Никогда ни до, ни после Гиппиус не писала стихов такой силы.

4 ноября. «Все то же. Писать противно. Газеты — ложь сплошная».

6 ноября. «Все рушится, летит к черту и — нет жизни».

Она продолжает вести дневник до весны 1919 года, пока это не становится полным безумием. Обыски регулярны, расстрелы привычны, а о ее тетрадях уже пополз слух. О них знает Горький. Знает и пока молчит.

«Я рисковала не только собой и нашим домом: слишком много лиц было в моих тетрадях, — вспоминала Гиппиус. — Некоторые из них еще не погибли, и не все были вне пределов досягаемости... мне оставалось одно: зарыть тетради в землю. Я это и сделала. Добрые люди взяли их и закопали за городом, где — я не знаю точно».

Но не писать она не могла. На письменном столе валялась маленькая черная книжка, и Зинаида стала писать в нее, очень осторожно, без имен, иногда без чисел.

Июнь 1919-го. Арестован муж квартирной хозяйки Мережковских, древний старик. Он просто шел по Гороховой. Его жена неделю сходила с ума, а когда узнала, где он сидит, и собралась послать ему еду (заключенные кормятся только передачами с «воли»), старик уже умер от голода.

«Ощущение лжи вокруг — ощущение чисто физическое. Я этого раньше не знала. Как будто с дыханием в рот вливается какая-то холодная и липкая струя. Я чув-



ствую не только ее липкость, но и особый запах, ни с чем не сравнимый».

«На рынках вечные облавы, разгоны, стрельба, избияния.

Сегодня избивали на Мальцевском. Убили 12-летнюю девочку. (Сами даже, говорят, смутились.)»

«Расстреливают офицеров, сидящих с женами вместе, человек десять-одиннадцать в день. Выводят во двор, комендант, с папироской в зубах, считает, — уводят.

...Этот комендант (коменданты все из последних низов), проходя мимо тут же стоящих, помертвевших жен, шутил: «Вот, вы теперь молодая вдовушка! Да не жалейте, ваш муж мерзавец был! В Красной армии служить не хотел».

«Зверей Зоологического сада, еще не подохших, кормят свежими трупами расстрелянных».

Мережковские распродают вещи, чтобы купить еду. Гиппиус берет на дом корректуру переводов для «Всемирной литературы» (по протекции Горького). Работы на две недели — денег хватит на полдня. «Выгоднее продать старые штаны».

Они еще надеются на спасение: на Колчака, на Юденича, на Деникина, на Антанту. Но с каждым годом, каждым месяцем, каждым днем надежд все меньше.

«Третий обыск с Божией помощью! Я уже писала, что если не гаснет вечером электричество, значит, обыски в этом районе».

24 сентября. «Вчера объявление о 67 расстрелянных в Москве (профессора, общественные деятели, женщины). Сегодня о 29-ти».

22 ноября. (Черная книжка кончилась, теперь серый блокнот.) «А знаете, что такое китайское мясо? Это вот что такое: трупы расстрелянных, как известно, Чрезвычайка отдает зверям Зоологического сада. И у нас, и в Москве. Расстреливают же китайцы... Но при убивании,



как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе — утаивают и продают под видом телятины».

«Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров. Для тяжелой ненужной работы сгоняют людей, полураздетых и шатающихся от голода, — сгоняют в снег, дождь, холод, тьму... Бывало ли?»

«Да, рабство. Физическое убиение духа, всякой личности, всего, что отличает человека от животного. Разрушение, обвал всей культуры. Бесчисленные тела белых негров».

Бежать! Бежать из этого ада! Здесь, изнутри, уже не исправить ничего. Бежать хотя бы для того, чтобы рассказать правду.

Но бежать архитрудно, почти невозможно, страна уже превращена в тюрьму. Границы закрыты, и уже невозможно, как раньше, просто взять билет и поехать в Париж. Нельзя уехать и вернуться, как делал неоднократно до революции даже находившийся в розыске Савинков.

«Мы знали, что нас не выпустят, — вспоминала Гиппиус. — Знали твердо». Многие хлопотали, пытались добиться официального разрешения. Им не отказывали сразу: «водили по месяцам, по годам по лестнице просьб и унижений, манили надеждами и бесконечными бумажками». Так было с Сологубом и его женой Анастасией Чеботаревской. Она уже написала в Париж радостное письмо — все, их выпускают. Оказалось, что нет. И она «бросилась с моста в ледяную Малую Невку, — тело нашли только весной», спустя семь с половиной месяцев. Федор Сологуб не верил в ее гибель, и, пока тело не нашли, ставил на обед лишний прибор «на случай, если она вернется».

Мережковские надеялись только на себя и строили бесчисленные планы побега, рушившиеся один за другим.



Осенью 1919 года Дмитрию предложили прочесть несколько лекций о декабристах. И под этим предлогом он выхлопотал разрешение покинуть Петербург и отправиться в южные губернии. 24 декабря Мережковский, Гиппиус, Философов и будущий секретарь Мережковского, а пока студент Злобин, покинули Петербург.

На обложке начатых Мережковским рукописей о Египте было крупными буквами написано: «Материалы для лекций в красногвардейских частях».

Они ехали в Гомель. По слухам, там «переправляли» через линию фронта. Четверо суток в вагоне, полном красноармейцами, мешочниками и «всяким сбродом». До Гомеля не доехали. Вышли раньше, в Жлобине.

Морозная снежная ночь. Сугробы. Минус двадцать семь градусов. Они останавливаются в корчме, в оплату идут думские тысячи и остатки нераспроданных вещей. Начинаются переговоры с контрабандистами. Один обманывает — находят другого.

Рассвет. Двое саней, наконец, едут в снежную пустыню. Ледяной ветер дует в лицо и режет, как нож. Два дня и две ночи. И вот впереди «на самом краю белой равнины замелькали черные точки: польский фронт».

Вот и поляки. Подтянутый солдат в «шапке с углами».

— Кто вы?

— Русские беженцы.

— Откуда?

— Из Петрограда.

— Куда?

— В Варшаву, Париж, Лондон...

И все, больше никаких вопросов. Не они первые, не они последние. Комендант любезен и предупредителен.

Ворота открылись, и они пересекли черту, отделяющую ад от свободы.

И вот они в Бобруйске — маленьком уездном городке. Здесь они проведут десять дней, узнавая новости из старых газет и поражаясь местными магазинами.



Володя Злобин остановился перед витриной с чулками и потрясенно произнес:

— Ведь их можно купить!

«Вообще Бобруйск, после Петербурга, казался нам верхом благоустройства и культурной жизни», — писала Гиппиус.

В Минск, тогда принадлежавший полякам, они добираются на воинском поезде, благодаря любезности польских властей. Там возобновляют переписку с Савиновым.

Он интересуется судьбой своих детей и первой жены, которая осталась в России. Да, они ее видели. Была арестована за то, что когда-то была его женой. Они хлопотали за нее перед Горьким. Зинаида Николаевна написала ему письмо. И ее выпустили. Видимо, до следующего ареста.

Его дочь Таню они давно не видели. Она была так мила в обожании своего отца... Бог весть, что с нею.

Мережковский и Гиппиус дают интервью о положении в Советской России, пишут статьи и готовят сборник о большевизме «Царство антихриста».

В Минске поселяются в полуразрушенной сначала немцами, а потом большевиками гостинице «Париж». Но и убогий «Париж» для них дорог. Несколько «думских» тысяч, старое платье, рваное белье и черная тетрадка дневника Гиппиус — все, что у них есть. Помощь приходит от интеллигентного и популярного епископа Мельхиседека. Он устраивает Гиппиус и Мережковского в женском монастыре, в доме игуменьи. Владимир Злобин останавливается за рекой, у сестры игуменьи, а Дмитрий Философов переезжает на другой конец города — к Хитрово. Так происходит первое разделение троебратства.

«Это, чисто внешнее, разделение Д. С. и меня с Д. Ф., мне, однако, не нравилось, — вспоминала Гиппиус. —



Дело в том, что крепкое наше содружество, соработничество в единомыслии, с начала войны стало ослабевать». Причиной было разное отношение и к войне, и к революции, и к большевикам. Мережковские до последнего пытались делать хоть что-то и помогать всем, кто был против большевиков, а Философов сразу погрузился в отчаянье.

Общая ненависть к большевикам только углубила трещину между ними. «Соединяла ли кого-нибудь ненависть? — писала Гиппиус. — При каждом наступлении белых генералов, когда мы говорили, что ничего не выйдет, что нужна “третья сила”, — начиналось раздражение:

— Ну, и создавайте эту “третью силу”! Ее нет — и пока — молчите, не каркайте, не смейте о них говорить».

У Философова была и личная трагедия: у его сестры погибло трое сыновей. В результате — ожесточение и пассивность. Он едва согласился на отъезд из России, настолько был инертен и безучастен. Его увезли почти насильно.

Вскоре Мережковские уезжают в Варшаву. Она переполнена, но им находят две комнаты в гостинице в еврейском квартале: одну для Гиппиус с Мережковским и отдельно в конце коридора — для Философова и Злобина. После обеда Мережковский уходит отдыхать в номер Философова и Злобина, а они сидят в номере Мережковских с Гиппиус. Принужденное сидение без дела и невозможность уединения.

Весной знакомые пригласили Мережковских отдохнуть в имение польских аристократов «Морды». Гиппиус хотела увезти туда обоих: и Дмитрия Сергеевича, и Диму. Там было бы хорошо, цвели сирени.

— Не могу я, не нужны мне эти графские сирени! — воскликнул Философов.

И Мережковские поехали без него.



Окончательно триумвират разделился по возвращении в Варшаву. Философов снял для Мережковских квартиру у евреев Френкелей, а сам поселился у немки далеко от них. Злобин остался в гостинице «Краковской».

Мережковские ждали приезда Савинкова. Поезд опоздал, и Зинаида с Дмитрием ушли обедать в ресторан. Когда вернулись, хозяева вручили им визитку с надписью по-французски «Бывший военный министр России».

Он пришел в половине пятого, и все расцеловались. Савинков показался Гиппиус изменившимся, видимо, постаревшим. Потом он часто звал Зинаиду к себе в гостиницу и вел с ней длинные разговоры. Она никогда не льстила обожавшему лезть индивидуалисту Савинкову, но он к ней благоволил, видимо, за помощь в литературе или потому, что понимал: для них он — последняя надежда на освобождение России. Савинков ждал аудиенции у Пилсудского.

Бывший террорист любил похвастаться и однажды вытащил перед Гиппиус маленький чемоданчик, а оттуда какие-то длинные красные ленты.

— Это мои масонские отличия. Вы знаете, меня даже в гроб клали...

Наконец, аудиенция у Пилсудского состоялась. Было решено сформировать русский отряд на польские средства. Но не официально, а под прикрытием «эвакуационного комитета» под председательством Савинкова.

Савинков приехал к Мережковским прямо из Бельведера. Философов был здесь же.

— Вам, — обратился Савинков к Диме, — я предлагаю быть моим ближайшим помощником и заместителем, товарищем председателя этого комитета.

— Не смею отказываться, — ответил Философов.

5 июля появился приказ Пилсудского по армии:

«Сражаясь за свободу свою и чужую, мы ныне сражаемся не с русским народом, а с порядком, который, при-



знав законом террор, уничтожил все свободы и довел свою страну до голода и разоренья».

И «Воззвание Совета государственной обороны»:

«Не русский народ тот враг, который бросает все новые силы в бой, — этот враг большевизм, наложивший на русский народ иго новой, страшной тирании. Он хочет теперь и нашей земле навязать свою власть крови и мрака».

Но совместная работа Димы с Савинковым привела к тому, что Мережковские практически с ними не видятся. Борису и Диме вздохнуть некогда: переговоры с польскими властями, с генералами и офицерами, формирование армии. «Возражать — на что?» — писала Гиппиус. «К несчастью, у Савинкова не было ни одного человека, на которого он мог бы опереться, он и схватился за Диму».

Отношения с Савинковым портятся: он слишком властен, резок, раздражителен. Обвиняет их в том, что ему устраивают «экзамены». Мережковские в недоумении.

«Ему нужны только собаки, — пишет Гиппиус о Савинкове. — Преданные и покорные. И других людей он видит, только когда ему поют дифирамбы. Да и не видит, а всего лишь замечает».

Гиппиус становится редактором литературного отдела газеты «Свобода», но она там не хозяйка, практически все материалы приходится согласовывать с Савинковым, и то не напрямую. И это вызывает раздражение и тяготит.

Объявлена мобилизация. Мимо балкона Мережковских идут с песнями новобранцы — совсем мальчишки. Грустно и радостно: «ведь они идут бороться не с Россией; идут «за свою и вашу вольность». То есть «за нашу и вашу свободу» — знаменитый лозунг, доживший до августа 1991-го.

Поход Савинкова провалился. Большевики пошли в наступление. «Наш русский отряд был в полной него-



товности, — вспоминала Гиппиус, — и, насколько я понимала, из-за внутренних дрызг, чепухи и общего неумения. Закулисную сторону я знала немного и видела, что Савинков — организатор плохонький и сам по себе, а тут еще и личные его претензии людей не собирают, а разъединяют».

Дима советует им немедленно покинуть Варшаву: «Тут пошло такое, что лучше уехать, пока выяснится».

И Мережковские уезжают в Данциг, а Философов остается с Савинковым.

Большевики были разбиты в семи верстах от Варшавы, в Минске было подписано перемирие с большевиками. Зинаида и Дмитрий вернулись и устроились в гостинице «Виктория», грязной, темной, с незакрывающейся дверью на балкон.

Философов полностью под влиянием Савинкова, и к Мережковским возвращаться не собирается. Он всегда искал сильного человека, Дмитрий Сергеевич был для него слишком мягок. Властный Савинков напоминал диктатора-Дягилева и этим привлекал. Вряд ли он мог ответить Философову на его явную влюбленность. Савинков, видимо, был абсолютно гетеросексуален и менял жен и любовниц. Но тем не менее Дима остался с ним.

Гиппиус была разочарована в Савинкове, но еще пыталась судить объективно. Да, он разделил их с Димой, но важно не это, а пригодность его в данный момент для дела России. «И я видела, что он ни в данный момент, ни вообще — для дела этого не пригоден».

После перемирия в Польше было официально объявлено, что русским людям под страхом высылки из страны запрещено критиковать власть большевиков.

В 1920 году Мережковские переезжают в Париж. Дмитрий еще надеется вырвать Философова из «глупых и опасных» лап Савинкова. Гиппиус — уже нет. Дима по-прежнему слишком увлечен. «Сегодня написал Борису



(Савинкову), категорически требуя приезда, — пишет он Мережковским. — Мне кажется, ему нужно приехать в Париж, ударить кулаком по столу и взять, наконец, в свои руки несчастный русский флаг...»

Философов оставался верен Борису вплоть до 1923 года, когда, по словам Гиппиус, произошла «эта отвратительная катастрофа с Савинковым». Что она имела в виду? «О ней я расскажу в свое время», — писала она в воспоминаниях. Но они остались незаконченными и прерываются почти на полуслове.

В 1923 году вышла повесть Савинкова «Конь вороной» о бесперспективности белого движения. Савинков потерял надежду. Дима, наконец, разочаровался в своем кумире, но и к Мережковским не вернулся. Было слишком поздно.

В начале августа 1924 года Савинков нелегально вернулся в СССР. А 16-го его уже арестовали. Большевистский суд был скор: уже 29 августа (через 13 дней после ареста!) Савинкова приговорили к расстрелу. По ходатайству Верховного суда расстрел заменили десятилетним лишением свободы.

В тюрьме он заявил, что «без принуждения, свободно, не потому, что стоят с винтовкой за спиной» безоговорочно признает Советскую власть. Что это было? Продолжение «катастрофы»? Попытка спасти детей, оставшихся в России? Хитрость старого террориста, неоднократно бежавшего из ссылок и тюрем при царской власти?

Как бы то ни было, он не купил этим себе ни свободы, ни жизни. По официальной версии, 7 мая 1925 года в здании ВЧК на Лубянке Савинков покончил жизнь самоубийством, бросившись в лестничный пролет. Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» приводит другую версию — Савинков был убит сотрудниками ВЧК.

В Париже Мережковские устроились в квартире, которая осталась у них еще с дореволюционных времен.



Они снова участвовали в литературной жизни, восстановили знакомство с ярчайшими представителями русской эмиграции: Иваном Шмелевым, Константином Бальмонтом, Николаем Бердяевым, Иваном Буниным, Александром Куприным. А в 1926 году организовали литературно-философское общество «Зеленая лампа». В обществе с таким же названием когда-то принимал участие Пушкин. На заседания общества Мережковских гости приглашались по списку, и с них брали небольшую плату на аренду помещения.

Общество просуществовало до начала Второй мировой войны.

Мечтая о победе над большевиками, Мережковский увлекался Муссолини и даже Гитлером. Впрочем, в последнем совершенно разочаровался незадолго до смерти. Он умер 7 декабря 1941 года.

Гиппиус словно окаменела от этой потери.

До смерти она писала воспоминания о Мережковском, продолжала устраивать литературные воскресенья и иронично называла себя «бабушкой русского декаданса».

Она пережила мужа на четыре года и умерла 9 сентября 1945 года в возрасте 76 лет. Ее враги приходили на похороны, чтобы убедиться, что она мертва, и стучали палками по крышке гроба. Но были и друзья. Пришел даже Иван Бунин, панически боявшийся смерти и всего, что с ней связано.

Умерла целая эпоха. И осталась пустота. После смерти Мережковских все попытки восстановить литературные воскресенья оканчивались неудачей. Русская литературная эмиграция лишилась своего центра, своей декадентской мадонны, своей души.

«БАШНЯ»

Среда. Точнее уже четверг. Около полуночи. Последний этаж полукруглого выступа дома по Таврической, 25, известного в кругах петербургской богемы под названием «Башня». Почти мансарда, отсюда есть выход на крышу, влажную от дождя, скользкую и опасную, с видом на огни и туманы северной столицы. «Петробагдад» называет ее хозяйка.

Большая комната. Рояль. Серые обои, единственное полукруглое окно. Там внизу шумит Таврический сад.

В комнате человек семьдесят, так что тесно и душно. Горят свечи, зажигая золотые лилии на обоях, пламя колышется от дыхания, дым свечей смешивается с табачным, и тени дрожат на стенах. Кто-то читает стихи:

Среди прелестных, стройных ног,
Раздвинув белоснежный камень,
Торчал его лохматый рог,
И взор пылал, как адский пламень.*

Обстановка располагает. Эрос, мистика, таинственность, оккультизм — все сливается и переходит одно в другое.

А вот и хозяин — поэт, историк, философ и исследователь древней религии Диониса — Вячеслав Иванов. Его

* Стихи Федора Сологуба.



называют Вячеслав Великолепный, и он больше похож на немецкого профессора, чем на поэта. Пышная светло-рыжая шевелюра вокруг красноватого лица, пенсне, постоянно падающее вниз при порывистых движениях обладателя, любезная, обворожительная улыбка и цепкий, змеиный взгляд.

Большой стол отодвинут к дверям, чтобы освободить место для многочисленных гостей. На нем сидят хозяйка — жена Вячеслава Иванова Лидия Зиновьева-Аннибал, поэт Сергей Городецкий и художник Сомов. Между Городецким и Зиновьевой-Аннибал — блюдо с апельсинами — предмет опасный, если оратор говорит слишком абстрактно — тут же попадет под апельсиновый обстрел.

Лидия — жизнь и душа этого вечера, ее зовут здесь «Диотима», в честь героини диалога Платона «Пир», учительницы самого Сократа. Это полная дама, похожая на Сивиллу на фреске Микеланджело в Сикстинской капелле — такая же монументальная, с мощными руками и волевым лицом. Такая «любого Диониса швырнет себе под ноги», — говорят о ней посетители. С этим суровым обликом контрастируют белокурые, со странным розоватым оттенком волосы и голубые, почти детские глаза. Но и эта голубизна может вдруг становиться серо-стальной, а взгляд иступленным, как у менады — служительницы Диониса, одержимой своим хмельным богом. Муж зовет ее «менада с сильно бьющимся сердцем».

На Диотиме — алый хитон собственного изготовления: два куса ткани, собранные на плечах и скрепленные брошами. Широкий шарф накрывает плечи. Она любит все яркое; таких тканей, купленных за один только цвет, у нее набитая доверху корзина. Оттуда берут отрезы для украшения комнаты и костюмов для театральных представлений, которые иногда проходят здесь же, на «Башне». И для заседаний более узкого кружка под названием «Друзья Гафиза», где обычная одежда не принята.



В Лидии слилась кровь сербских князей и потомков «арапа Петра Великого» Абрама Ганнибала, от последнего — смуглый цвет лица, страстность, порывистость и вольнолюбие. Еще в школе диаконис в Германии у нее проявился интерес к лесбийской любви: она «соблазняла» подружек так, что им запрещали встречаться под угрозой исключения. Диаконисы прозвали ее «фатум Русский черт». Она не осталась в долгу и обозвала наставниц «свиньями», после чего ее избавили от опостылевших монашек и вернули в Россию.

Богатые и утонченные родители нанимали юной Лидии лучших учителей, что привело к неожиданным последствиям: она влюбилась в молодого учителя-историка Константина Шварсалона, увлекшись его социалистическими проповедями. И вышла за него замуж, несмотря на возражения родственников.

Получив долгожданную свободу от родительской опеки, богатая наследница тут же присоединилась к партии эсеров, наняла нарочито бедную, не отапливаемую квартиру и превратила в конспиративную, самозабвенно предавшись борьбе за счастье трудового народа. Бывший учитель был в ужасе. Он мечтал об университетской кафедре, а тут — такое! Да и на деньги невесты рассчитывал, что уж греха таить, а не на нищую конуру. Впрочем, деньги у него появились, и он начал тратить их на женщин, совершенно забыв о социалистической революции. Как только Лидия узнала об изменах, она прихватила троих детей и сбежала от мужа за границу.

С Вячеславом Ивановым она познакомилась в Риме, летом 1893 года. «Узкоплечий немецкий школяр-мечтатель» собирал здесь материал для диссертации из римской истории и тайком писал малопонятные стихи. Эта встреча перевернула ее жизнь: Лидия оставила партийную работу и решила стать писательницей. «Друг через



друга нашли мы — каждый себя и более чем только себя: я бы сказал, мы обрели Бога», — вспоминал Вячеслав Иванов. Но сначала любовь к Лидии Зиновьевой-Аннибал казалась темной животной страстью. Он был женат, и бросить жену и маленького сына Сашу — было бы непростительным предательством. Он покался во всем жене и обещал, что «демоническое наваждение» пройдет, но она была непреклонна и потребовала развода. Он сам проводил ее в Россию.

«Демоническое наваждение» не прошло. Несколько лет Вячеслав и Лидия жили в гражданском браке, скитаясь вместе с детьми по странам Европы, пока не получили разводов от бывших супругов. В 1899 году они, наконец, смогли пожениться. Венчание происходило в маленькой греческой церквушке в Ливорно, куда они приехали одни. По местной традиции, вместо брачных венцов им надели на головы обручи из виноградных лоз, обмотанных шерстью ягненка. Обычай почти дионисийский. Они обменялись кольцами, украшенными узором из виноградных лоз: с опалом у нее, и простое — у Вячеслава.

В 1905 году вернулись в Россию, сняли квартиру на последнем этаже дома на Таврической и организовали литературный салон «Ивановские среды».

Итак, очередная «среда», плавно переходящая в утро четверга. Стол у стены.

Сидящий рядом с Диотимой Сергей Городецкий — худощавый и гибкий юноша, над его верхней губой едва пробиваются усики и нависает большой нос, придающий сходство с птицей или египетским птицеголовым богом. Но нос Сирано его почти не портит, а волнистые спутанные волосы придают сходство с древним скифом. Он только что выпустил нашумевший поэтический сборник «Ярь», о котором Блок сказал: «Может быть величайшей книгой наших дней».



Какое же отношение имеет приятный юноша и молодой поэт Городецкий к хозяевам гостеприимной «Башни»?

Видимо, это была идея Вячеслава Иванова, хотя она органична и для социалистки Лидии: «Если два человека совершенно слились друг с другом, то они могут любить третьего». Эгоистично замыкать такую любовь на двоих, эгоистично не отдавать возлюбленного людям. Союз двоих надо раскрыть и впустить в него третьего, это будет семья нового типа, начало новой человеческой общины и новой церкви, где «Эрос воплощается в плоть и кровь».

На роль третьего и пригласили Сергея Городецкого.

Приглашал Вячеслав, проявлявший интерес к гомосексуальным отношениям. Лидия была с ним вполне солидарна. «Диотима лезла к Городецкому», — частый рефрен в дневнике другого завсегдатая «Башни» — поэта Михаила Кузмина.

Сначала Сергей отнесся к идее вполне благосклонно, то ли из любопытства, то ли надеясь на помощь в публикации сборника и хорошие критические отзывы. Как только сборник вышел из печати, тройственный союз распался, едва зародившись.

Блики от свечей играют на черной крышке рояля, за которым сидит еще один несостоявшийся член тройственного союза. Он аккомпанирует себе и поет, по мнению одних — противным, других — чарующим голосом:

Если б я был рабом твоим последним,
Сидел бы я в подземелье,
И видел бы раз в год или в два года
Золотой узор твоих сандалий,
Когда ты случайно мимо темниц проходишь,
И стал бы счастливее всех живущих в Египте.

Оборачивается к дамам. У него приятное несколько женственное лицо и огромные глаза. «Как осенние озера, — напишет о них Ирина Одоевцева. — Пожалуй, не



как озера, а как пруды, в которых водятся лягушки, тритоны и змеи». Даже при свете свечей заметно: они подведены, что делает их еще больше. К тому же исполнитель румянит щеки и подкрашивает губы. Это тот самый поэт, автор упомянутого дневника и «Александрийских песен», на которые заранее копят деньги студенты (прошел слух, что будут очень дороги), принц эстетов, известный в Петербурге гомосексуалист, меняющий мальчиков с частотой, не позволяющей запоминать имена. Словом, Михаил Кузмин.

Вячеслав Иванов и ему объяснялся в любви, но Кузмин встречался с очередным юным эфебом, к тому же недолголюбивает Лидию. «С Диотимой любой терцет невозможен», — записал он в дневнике.

Кузмин поглядывает на Сомова, иногда взгляды их встречаются. Пожалуй, даже слишком часто. Сомов — его последнее увлечение. Они любовники.

Тема заседания животрепещущая — эрос, а доклад читает «весь пропариженный» и странноватый поэт Максимилиан Волошин. На низеньком, толстом и борода-том парижском госте бархатные шаровары до колен и модный жилет, а в прихожей он оставил черный цилиндр. Доклад называется «Пути эроса». Максимилиан учился в Париже живописи, увлекался мистицизмом и, видимо, поэтому не обошел вниманием древний индийский трактат «Кама-сутра». Знает чуть не наизусть и шокирует общественность лекциями на эротические темы. «Что-то о 666 объятиях», — вспоминал Ходасевич. За такие доклады Макс заслужил репутацию великого любителя и мастера бесить людей.

А между тем в богемной среде ходят слухи о том, что его брак с художницей Маргаритой Сабашниковой чисто духовный, и Макс женился девственником, да так девственником и остался. Это неправда, Макс — не только теоретик эроса, он общался с парижскими прости-



тутками и даже устраивал друзьям экскурсии по ночному Парижу, правда, проявляя больший интерес не к значным местам, а к месту сожжения тамплиеров, где, по его словам, если прислушаться, еще можно услышать их голоса. Известная ясновидящая Анна Рудольфовна Минцлова, например, постоянно слышит. Да и он сам слышал.

А Маргарита...

— Между нами не может быть земной любви, — говорила она на башне Страсбургского собора, целуя его волосы, когда он прижимался лбом к ее рукам.

Он был готов на все — на полное самоотречение, на духовную любовь, на «ангельский» брак.

— Но любить я буду только вас, — говорил он. — Благословите ли вы меня на этот путь?

— Да, да...

Вон и она среди гостей, тоненькая, изысканная, с пышными светлыми волосами и чуть восточным разрезом глаз, так похожая на египетскую царицу Таиах, бюст которой Макс заказал в Париже. «Почему эта царевна вышла замуж за этого дворника!» — недоуменно спросила одна девочка в Коктебеле, когда увидела их вместе. Она действительно почти царевна, наследница купца и золотопромышленника Сабашникова, род которого восходит к бурятскому шаману, ему Маргоря или Амори, как зовут ее дома, и обязана особенной формой глаз. Полумифического предка Маргарита почитает и любит показывать друзьям его бубен.

А духовный брак — это модно. У Александра Блока и Менделеевой — его прекрасной дамы — тоже духовный брак. И у Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, говорят, тоже. И что ей до мучений Макса, как и до мучений земной девушки Менделеевой, которой посчастливилось выйти замуж за великого поэта.

Беседа начинается. В центре бессменный председатель «сред» религиозный философ Николай Бердяев.



Черная бородка клинышком, пышная шевелюра вокруг лысеющего лба, пронизательный взгляд. На «Гафизе» его зовут «Соломоном», мудрецом и повелителем джиннов. У него колокольчик, в который он звонит, если считает нужным вмешаться в дискуссию и перебить оратора. Он активный и далеко не бесстрастный председатель.

Макс Волошин начинает доклад.

Все здесь — подражание платоновскому «Пиру» с его восхвалениями бога Эрота, и докладчик говорит о платоновском «Пире». Та, древняя Диотима учила Сократа, что Эрот не бог, а демон, не бог любви, а сама любовь, а причина всякой любви к кому-то или к чему-то есть мечта о бессмертии. Волошин комментирует Платона как мистик и философ: «Эрос — эволюция, путь к Богу, отказ от низшего «я» ради «Я» высшего, вечное слияние с людьми, с космосом и Богом». И произносит провокационный афоризм: «Все мы гермафродиты в духе своем».

Разношерстная публика спорит, какой-то материалист кричит, что нет никакого бога, а весь эрос — только буйство бездушной материи. Интеллигент в очках, пышные усы, узкая бородка, говорит, что современный пролетариат — это перевоплощение античного эроса. Интеллигента зовут господин Луначарский.

Звенит колокольчик Николая Бердяева.

Слово берет Вячеслав Великолепный: «В сущности, вся человеческая и мировая деятельность сводится к Эросу, нет больше ни этики, ни эстетики — обе сводятся к эротике, и всякое дерзновение, рожденное Эросом, — свято. Постыден лишь гедонизм».

И не ради гедонизма их тройственная идея, а ради дерзновения и творчества: Не получилось с молодыми людьми? Значит, нужна натура более возвышенная. Нужна женщина!

Вячеслав говорит, и его змеиный взгляд останавливается на Маргоре, царевне, новом воплощении древне-



египетской Таиах, так любимой странным поэтом Максом Волошиным, на «сирене Маргарите», как Вячеслав назовет ее в стихах. Не она ли третья?

Волошины снимают две комнаты непосредственно под апартаментами Ивановых. Комната Маргариты занимает коридор, туда поместилась только узенькая кушетка и столик, на котором они едят, у Макса — каюта с одним диваном, а вместо письменного стола широкий подоконник. Но что значит теснота, когда прямо над ними «боги справляют свои пиры»!

Вячеслав уже заходил сюда. Маргарита была одна, Макс остался внизу, на воздухе, у него астма, и он не выносит тесных помещений.

— Мне почему-то захотелось вас увидеть, — сказал Вячеслав.

Маргарита смущена. Она вспоминает книгу стихов Иванова «Кормчие звезды». Книга близка ей, такая сложная, темная, мистическая, она знает ее почти наизусть.

— Она прекрасна, — говорит Маргарита. — Я как бы вошла в нее. Мне особенно нравятся «Дриады», они так верно передают сновидческую космическую жизнь деревьев, их потустороннее чувство осязания земных пространств.

Маленькие глазки Вячеслава широко раскрылись, в Маргору впился змеиный взгляд.

Несколько минут он молчал.

Наконец сказал очень взволнованно:

— Мои стихи серьезные, они очень трудны и, даже если меня когда-нибудь станут чтить, они, собственно, встретят мало понимания — я поражен!

Он склонился и поцеловал ее руки.

— Перестаньте, — испугалась она и отступила на шаг. — Вам лучше уйти!

Вячеслав так изящен, так утончен, так образован и эрудирован. Он куда ближе ей, чем неуклюжий и странный Макс.



Это начало романа. Они встречаются все чаще и становятся откровеннее.

Однажды Вячеслав говорит ей:

— Я сегодня спросил Макса, как он относится к близости, растущей между тобой и мной, и он ответил, что это его глубоко радует.

Макс искренен, он любит и чтит Вячеслава и действительно так чувствует.

Он сын своей матери. Елена Оттобальдовна, выпускница Института благородных девиц, курила папиросы, наряжалась в мужичью рубаху и шаровары, занималась гимнастикой с гирями и, бросив мужа, устроилась на службу в контору Юго-Западной железной дороги. А сыну наняла в гувернантки бывшую цирковую наездницу.

Елена Оттобальдовна была фанатичкой свободы: разрешала сыну все, кроме разве переедания. Приветствовала интерес к оккультизму и мистике и только усмехалась, когда его оставляли в гимназии на второй год. И Макс вырос таким же поклонником свободы. Как же он мог позволить себе ограничить свободу другого, тем более любимой женщины?

Он был сыном своего времени, проникнутого эротизмом и многочисленными романтическими связями всех со всеми, нередко приводящими к трагедиям: от измен и расставаний до самопожертвований и самоубийств.

«Люди мечтали о несбыточном, — вспоминала Маргарита. — Люцифер завлекал их в сети Эроса. Жизнь была пронизана драматизмом. Особенно жизнь художников. Дружные супружеские пары встречались редко, их даже несколько презирали...»

Макс почти не ревнует.

Но Вячеслав уже не терпит ее близости с Волошиным. Все резче критикует его сочинения, его мысли, его парадоксы.

Макс записывает в дневнике: «Я радовался тому, что Аморя (т.е. Маргарита) любит Вячеслава, но не будет



принадлежать ему. Я знаю теперь, что она должна быть его до конца... То, что я не смел требовать для себя, я должен требовать для другого». И делает вывод: «Я должен сам убедить ее уступить тому, что я для себя не смел желать».

Вячеслав встает около трех пополудни, сидит на кушетке, еще укутанный в одеяло, пьет кофе, начинает редактуру текстов. Перо замирает над бумагой.

В древнем культе Диониса были неистовые жрицы — менады. Вот они, подобные сестрам богини Лиссы, отнимающей у человека разум, в руках у них факелы или тирсы, увитые виноградными листьями, в волосах шевелятся змеи, глаза горят безумным огнем.

— Эй! — разносится крик.

Так они славят своего бога.

Они идут в горы, чтобы принести жертву. И девушки, и замужние гражданки. Там, в горах, будет оргия. Это слово истерлось в веках и изменило значение. Оргия — это совместное богослужение, это работа во имя Диониса.

Вячеслав откладывает рукопись, его глаза смотрят в пустоту, рука блуждает под одеялом, где встает и упирается в ткань пижамы тот самый огненный рог, что поминал в своем стихотворении Сологуб.

Дионисийская оргия — самая возбуждающая фантазия Вячеслава. И у него уже есть две менады: Лидия и Маргарита. Опытная женщина и юная девушка — то, что надо для богослужения Дионису, а может быть, Эроту.

Пусть ласкают его обе, пусть склонятся над ним, как менады над будущей жертвой, пусть целуют его, и пусть поцелуи будут все жарче, пока не превратятся в укусы, пока он не почувствует боль и сладость их зубов, пока кровь не выступит у него на коже. У участниц дионисийских оргий был обычай под названием «омофагия» — жертву живьем разрывали на куски и съедали.



Жертва — одновременно Бог. Дионис и жертва Дионису, жертва бога самому себе.

Вячеслав посвятит Маргарите стихи:

Лампаде тусклой веришь? Бог прекрасный —
Я пред тобой, я не похож на змея.

Это не мания величия, это изложение богословия.

А что же третья вершина треугольника Лидия-Диотима? Она пишет письмо той самой ясновидящей Минцловой, которая слушала в ночном Париже разговоры сожженных тамплиеров. Пришло время «изжить до последнего любовь двоих» и распахнуть «двери нашего Эроса прямо к Богу». Теперь это возможно: «Вячеслав и Маргарита полюбили друг друга большой и настоящей любовью». И она тоже полюбила Маргариту «большой и настоящей любовью». «Более истинного и более настоящего в духе брака тройственного я не могу себе представить, — продолжает она. — Потому что последний наш свет и последняя наша воля тождественны и едины...»

И Минцлова вмешивается.

Она уже вмешивалась в отношения Макса и Маргори, убеждая последнюю, что они предназначены друг для друга. Теперь она говорит, что Маргарита должна жить в атмосфере страсти, а Макс лучше выбрать свой путь, то есть уехать подальше.

И Макс уезжает в Коктебель.

Маргоря пишет портрет Лидии, а Диотима в одном из писем говорит о «стихии ласки, где царицей Маргарита-девушка». Был ли между ними лесбийский роман? Воспоминания современников и письма участников ставят в тупик и противоречат друг другу. «Она не имеет никаких подходов к стихии Страсти и к стихии Сладострастия», — пишет Лидия о Сабашниковой.

Но что несомненно — это влюбленность Маргариты в Вячеслава.



— Для Вячеслава я готова на все! — говорит она Минцловой.

И сам Вячеслав наедине с ней подливает масла в огонь:

— Вы с Максом — существа разной духовной природы.

Сабашникова соглашается. Она и сама так думает, Вячеслав только облекает ее мысли в слова. Он — ее единственный возлюбленный и учитель. Но и она хочет быть единственной.

— Только троих и четверых быть не может! — говорит она Анне Рудольфовне.

У нее не одна соперница. Есть еще падчерица Вячеслава и родная дочь Лидии Вера Шварсалон, которая вовсе не прочь стать третьей. А еще есть Макс, без которого ее жизнь тоже неполна.

— Да, да, вы должны быть вдвоем с Вячеславом, — отвечает Минцлова.

— Зачем же тогда вы соединили меня с Максом? Я шла, слепо веря вам, против себя!

— Нет, я верила вам, во мне все время был протест против вашего брака, но я верила вам.

Они и дальше будут ей верить, все эти стихийные мистики Серебряного века: Волошин, Сабашникова, Зиновьева-Аннибал, Михаил Кузмин и сам Вячеслав Иванов, да и многие другие. Она еще вмешается, еще сыграет роль в их судьбах.

Маргарита Сабашникова вошла в «Гафиз» и получила имя «Примавера», боттичеллевская «Весна».

Комната почти без мебели, только два низеньких дивана и высокий, пестро окрашенный деревянный сосуд, в котором Лидия хранит свои рукописи, свернутые в свитки. Диваны, матрацы и подушки задрапированы тканями и оранжевыми коврами, ярко-оранжевые обои на стенах и подсвечники в центре, там, где стоят две огромные бутылки с белым и красным вином и блюда со



сладостями и фруктами. Здесь не сидят, а возлежат по античному обычаю, столь уважаемому хозяином.

Николай Бердяев (точнее Соломон) и здесь председатель, он возлежит возле вина и фруктов, а неизменный колокольчик привязан к ноге.

Сабашникова танцует. Это не просто танец — это рассказ, повесть, стихотворение — Маргарита протанцовывает свои чувства. Потом это искусство единения слова и движения антропософ Рудольф Штейнер назовет «эвритмией» и попросит ее протанцевать свою лекцию. Но она то ли не воспримет всерьез, то ли смешается, и выразительницей нового искусства станет другая женщина — Лори Смит.

Макс пишет Маргарите длинные нежные письма, но почему-то они не доходят до адресата. А Амори в тупике, не в силах разобраться со своими чувствами. Ясно одно — Вячеслав ее любит.

Она вызывает Лидию на разговор.

Говорили здесь же, в убранной под «Гафиз» комнате Диотимы.

— Я должна уехать, — сказала Маргарита.

— Нет, — покачала головой Лидия. — Ты вошла в нашу жизнь, ты принадлежишь нам. Если ты уйдешь, останется мертвое. Мы оба уже не можем без тебя.

Каковы были ее мотивы? В воспоминаниях Сабашникова предположила, что Лидия пыталась удержать мужа. Она теряла Вячеслава и понимала это. Видимо, вначале действительно верила в тройственный союз или заставляла себя верить, но, заболев в конце осени 1906 года и оказавшись на краю могилы, поняла, что ничего дороже этой любви у нее нет и делить ее нельзя, она от этого перестанет быть любовью.

Об этом ее повесть «Тридцать три урода», которую современники воспринимали как гимн лесбийской любви вплоть до того, что она ненадолго была запрещена и



тираж арестован. На первый взгляд повесть действительно о любви двух женщин: актрисы Веры и ее возлюбленной, которую она решает отдать в мир, считая, что не имеет права одна, безраздельно обладать ее красотой. И поручает написать портрет подруги тридцати трем художникам. Результат — ужасен. На полотнах каждый из живописцев изобразил свою любовницу, которая красива только для него одного, и получилось тридцать три уroda.

Скорее автобиографично, чем символично. Вера — это Лидия, которая отдала другой Вячеслава. Она разочарована в тройственной любви.

Еще до болезни она говорила Маргарите: «Когда тебя нет, во мне подымается какой-то внутренний протест против тебя. Но когда мы вместе, мне хорошо, я покойна...» Внутренний протест называется ревностью.

После разговора наедине с Лидией говорят втроем.

Вячеслав рассказывает о новой церкви, где Эрос воплощается в плоть и кровь.

— А Макс? — спрашивает Маргарита.

— Нет, он не подходит.

— Но я ведь не могу его оставить.

— Ты должна выбрать, — говорит Лидия, — ты любишь Вячеслава, а не его.

«Да, я любила Вячеслава, — писала Сабашникова, — но эта любовь была такова, что я не понимала, почему Макс должен быть из нее исключен. Я чувствовала себя такой по-детски беспомощной перед этими двумя сильными людьми, так боялась вызвать их неудовольствие, что уже не могла себя чувствовать безмятежно счастливой, как раньше. То же было и с Максом».

Амори рассказала обо всем Минцловой. Оккультистка подняла ее на смех: «Они полагают, что из кратера вулкана потечет чистая водичка!»

Полностью запутавшаяся Маргоря решила рассказать все матери.



— Я больше не расстанусь с Ивановыми, — сказала она. — Вячеслав любит меня. Макс и Лидия согласны.

Маргарита Алексеевна, дама из крепкой купеческой семьи, далекой от богемной жизни, пришла в ужас.

— Только через мой труп, — выдохнула она.

Ивановых друзья пригласили погостить в небольшое имение Загорье в Тамбовской губернии, и они уехали туда отдыхать. Имение было разорено, почти все земли заложены, но природа удивительной красоты: хвойные леса по склонам холмов, осиновая роща с серебристыми стволами, пруд. Вячеславу и Лидии отвели новый дом, еще пахнувший деревом и смолой. Лидии он сразу понравился, но, войдя, она вдруг расплакалась.

Маргарита было покорно отправилась в Коктебель, но не удержалась и заехала в Загорье. Вячеслав был очень нежен, почти по-отечески. «Никогда он еще не был мне ближе, — вспоминала Сабашникова, — я чувствовала себя вернувшейся на родину». Счастье портило только недоброжелательное отношение падчерицы Вячеслава Веры, которая, казалось, стала третьим членом союза.

И Лидия была сдержаннее, чем раньше. Она не могла понять беспомощности Амори: «Настоящая любовь не размышляет, это — категорический императив!»

— Будем жить и доверять жизни! — сказала на прощание Диотима.

Они обещали вслед за Амори приехать в Коктебель. Макс ждал ее: «Все, что было неясного и смутного между мной и тобою, я приписываю не тебе, и не себе, а Петербургу... На этой земле я хочу с тобой встретиться, чтобы здесь навсегда заковать все темные призраки петербургской жизни».

Отсюда она писала Ивановым, но письма оставались без ответа.

А в октябре Анне Рудольфовне пришла телеграмма: «С Лидией сочетался браком через смерть».



Осенью стало холодно и сыро, и в окрестных деревнях вспыхнула скарлатина. Лидия помогала ухаживать за крестьянскими детьми и заразилась. Проболела всего четыре дня.

Сохранились воспоминания Вячеслава Иванова о ее последних минутах. Он простился с ней, взял ее волос, вложил в ее руки свои. Снял у нее с пальца кольцо, то самое, дионисийское, с опалом и виноградными листьями, и надел себе. Лег с ней на постель, поднял ее. Она легла на него и на нем умерла. Когда сняли тело, думали, что он лежит без чувств. Но он встал спокойный и радостный. Ее последние слова были: «Возвещаю вам великую радость: Христос родился».

Похороны состоялись через несколько дней в Александро-Невской лавре. Было холодно, влажно. У могилы стояли с одной стороны аристократы Зиновьевы, с другой — весь цвет петербургской богемы. Городецкий рыдал, как маленький, опершись на зеленую часовню, Блок поддерживал под руку Вячеслава, а к Марии Замятиной, подруге и постоянной спутнице Лидии, прижималась маленькая девочка — дочь Лидии и Вячеслава Лидия Иванова, будущий композитор и автор воспоминаний «Книга об отце». На венке от Вячеслава была надпись: «Мы две руки единого креста».

А в Коктебеле Маргоря рвалась к Вячеславу, но снова вмешалась Минцлова и уехала в Петербург вместо нее. «Вячеслав еще не готов к встрече, — писала она Маргарите. — После смерти жены он почти на грани безумия, он не может смириться с потерей».

В этом была доля правды. Вячеслава окружали вещи Лидии, ее портреты, ее книги. Он постоянно видел ее во сне и разговаривал с ней, как с живой. Анна Рудольфовна только подливала масла в огонь. Она устраивала спиритические сеансы, вызывала дух Лидии, говорила, что видит ее тень, и толковала сны Вячеслава. И верте-



лось блюдец по большому листу с нанесенным по кругу алфавитом, и стучали ножки стола, на котором лежали руки ясновидящей, и послушно возвещали нужные ответы, и медово пахло от свечей, и тени плыли по потолку, а Вячеслав все более погружался в безумие.

Он мечтал о Маргарите, он хотел сорваться и ехать к ней, но Минцлова говорила, что Амори прогонит дух Лидии, и он оставался.

Много позже Маргарита узнала: мать заплатила Минцловой, чтобы не допустить ее союза с Вячеславом. Кроме того, «ясновидящая» сама хотела выступить в роли утешительницы, поскольку влюбилась в Иванова. А что она могла предложить, полная, некрасивая, с одутловатым лицом и бесформенной фигурой, кроме своей мистики, таинственности, связи с высшими силами?

Так продолжалось два года.

Маргарита покинула Макса и уехала за границу. В Риме она закончила портрет Лидии, начатый еще при жизни, и выслала его Вячеславу. Он в ответ скупно поблагодарил и обратился к ней на «Вы».

В отчаянии она уехала в Германию к доктору Штейнеру, мистическим учением которого (да и самим его основателем) увлеклась еще до свадьбы с Максом. Маргоря рассказала учителю историю своей странной любви, в которой он вряд ли что-нибудь понял. Она восхищенно говорила о Вячеславе, о его попытке соединить античную духовность и христианство, о его произведениях, о способности пробуждать в людях творческие силы.

— Когда я видел вас в прошлый раз, вы были творчески много богаче, чем сейчас, — безжалостно заметил Штейнер. — Вы сейчас недостаточно сильны, чтобы соединиться с Ивановым.

— Что же мне теперь делать? — спросила она.

— Вы должны снова найти себя, а пока больше о нем не думать.



— Вряд ли мне это удастся.

Штейнер написал на листе бумаги: «Человек может то, что он должен, а когда он говорит «не могу», это значит, что он не хочет».

Но, видимо, Амори за долгий период общения с Минцловой вообще разучилась сама принимать решения. Она ждала знака от Анны Рудольфовны.

Что же тем временем происходит в Петербурге? По воспоминаниям Андрея Белого, Вячеслав был раздавлен смертью жены и ходил «с видом Эдипа, ведомого прочь от злосчастного места, где рок раздавил ему зрение». Его рука лежала на плечике «падчерицы, почти девочки, Веры, сквозной, точно горный хрусталь, с волосами белесыми, гладко зачесанными». И сам он во всем черном, и лицо похудевшее, страдальческое, с «как перламутровым» профилем. А за ними шла огромная и грузная, похожая на одутловатую каменную «бабу», изваянную древними скифами, Анна Рудольфовна Минцлова. В черном, так же как Вера и Вячеслав, и платье на ней было бесформенное, как и она, и напоминало мешок. И не она шла за «добрым пастырем» Вячеславом, а он следовал за ней, сам того не понимая, пастырь, превращенный ею в покорную «овцу».

Вера Шварсалон — дочь Лидии от первого брака, та, что когда-то показалась Сабашниковой третьим членом союза Лидии с Вячеславом. Теперь она пыталась оторвать отчима от Минцловой и спасти от безумия.

Анна Рудольфовна не сразу поняла, что происходит, а когда поняла, было уже поздно.

Амори слушала лекции Рудольфа Штейнера в Берлине.

Весной 1909-го Минцлова приехала к ней и говорила исключительно о Вячеславе: «Он думает только о вас, он говорит только о вас. Теперь вы должны с ним встретиться».



С этого момента Маргарита жила только ожиданием встречи.

Вскоре она простилась со Штейнером и уехала в Петербург.

На вокзале в Петербурге ее встретила Минцлова и передала письмо от Вячеслава. «Как вычурны и ненатуральны были эти строчки!» — вспоминала Сабашникова. Она тут же поехала на «Башню», но был полдень, и пришлось ждать, когда Вячеслав проснется.

Из Женевы привезли много лишней мебели, комнаты казались тесными, всюду пыль и духота. Всюду увеличенные фотографии Лидии, нет только ее души.

Зато приехала из деревни Вера, вызванная телеграммой.

— Я чувствую Лидию через Веру, — объяснил Вячеслав.

Они вдвоем стояли перед портретом Лидии. Он сказал, что его отношение к Маргарите не изменилось.

Под портретом лежала деревянная дощечка. Он взял ее и нарисовал мелом дерево: одна половина сухая, другая — в цветах.

— Это моя душа, — сказал он.

В этот момент Вера прошла мимо двери, и он окликнул:

— Вера, я люблю Маргариту, что мне делать?

— Быть верным Лидии.

Маргарита поняла, что на «Башне» ей лучше не оставаться.

Его «Венок сонетов» к Лидии, который он ей прочел, казался мумификацией живого. Духа Лидии, женственного, сильного и свободного не было и в стихах. «Вся жизнь в “Башне” была вознесена в потусторонние сферы, в которых естественные чувства должны увянуть, — писала Сабашникова, — и в то же время потусторонность совлекалась вниз, в сферу личных желаний».

Чтобы остаться вблизи Вячеслава, Маргарита поселилась неподалеку, сняв вместе с Минцловой квартиру на Васильевском острове.



А в конце лета уехала в имение родителей.

Когда она вернулась в Петербург, Вячеслав стал для нее недоступен, словно находился в чьей-то чужой власти. Минцлова жила с ней, но все дни до позднего вечера пропадала на «Башне». «Он — не он, он уже больше не он», — причитала она, вернувшись.

Вячеслав стал иным, но и сама Маргарита изменилась. И у нее другой учитель — Рудольф Штейнер, и другая судьба.

Только Волошин еще пытался вступить за нее перед Вячеславом: «Любовь к тебе велика и не умрет. Но не судить тебя я не могу. А судью во мне вызвал к осознанию и бытию ты сам. Я же перебороть его пока не могу. И он судит тебя, гневно и негодуя».

Но и его обвинения были тщетны. Вскоре Маргарита навсегда покинула Петербург, вернулась к Рудольфу Штейнеру и посвятила себя антропософии.

В апреле 1912 года Михаил Кузмин жил у Ивановых в одной из комнат огромной, несколько раз расширявшейся за счет пролома стен квартиры на «Башне». Днем, когда все ушли, у него состоялся странный разговор с Верой. Она сказала, что беременна от Вячеслава, но любит Кузмина и предложила Михаилу фиктивно на ней жениться. Гомосексуалист, никогда не скрывавший своих пристрастий, был потрясен. «Притом тут еще была приплетена тень Лидии Дмитриевны», — вспоминал Кузмин.

У этой любви есть предыстория. «Вера, оказывается, была влюблена в меня», — равнодушно записал Кузмин в дневнике еще в ноябре 1908 года. А он за глаза называл ее «маленькой дурой».

Сохранились дневники Веры Шварсалон.

Отношение Кузмина не было для нее секретом.

Как-то Маруся, вечная компаньонка Лидии, оставшаяся на «Башне» и после ее смерти, попросила Веру сходить в аптеку за спиртом для Минцловой, которая мыла



им волосы. Кузмин сидел за роялем, и Вере страшно не хотелось от него уходить.

Маруся взглянула на него:

— Вам не хочется прогуляться с Верой?

Кузмин соскочил со стула, замахал руками и протянул обиженным, но очень решительным тоном:

— Нет, ни за что не пойду!

Веру это страшно кольнуло. Он во всем предпочитал ее младшего брата Костю: с ним и гулял, и ездил просто так на вокзал, только чтобы отдать письмо, секретничал с ним, рассказывал о лихачах, барах и ресторанах, звал тихонько пить чай.

Да, есть люди, которые любят ее, но радость дает один Кузмин, и только он совершенно ее не замечает. Зато она видит все его увлечения, и все понимает: «Я думаю — он увлекся маленьким Позняковым», но способна расплакаться от того только, что Кузмин ушел.

«Я думала о тебе, — записывает Вера, — мне хотелось твоих ласковых добрых глаз, так хотелось жать твою руку и просто прижать мою грусть к тебе, если бы ты знал, сколько света мне даешь».

Она мечтает, что когда-нибудь Кузмин встретит «настоящую женщину» и сможет полюбить ее. В это время на «Башне» появляется Елизавета Дмитриева — будущая Черубина де Габриак. Вера решает, что это и есть «настоящая женщина».

Вот они вместе, Лиля и Кузмин, лежат на диване, болтают, смеются, потом она интимно заговаривает о его любовнике художнике Белкине, Михаил дружески отвечает.

«Мне нужно было все мое мужество и вся моя заledenелость, чтобы не зареветь, как дикий зверь, которому всадили в бок кол раскаленный, — записала Вера. — Если бы я заговорила с ним о Белкине, знаю, что он сухо бы прекратил сразу разговор».



«Дмитриева совсем не то, что я думала, — она, кажется, самая обыкновенная “баба”», — заключает Вера.

В феврале 1910 года депрессивный тон дневника вдруг резко меняется: «Душа моя летит, словно несомая на санях четверкой могучих лошадей, то плавно по глади вод, то подсакивая, окунаясь вниз и взбираясь куда-то вверх, и только с сегодняшнего дня... где-то на пути блестит огонь, но на небе далеко, тепло светится яркая звезда, которая, я знаю, мне благословенна».

Это последняя запись.

Весной 1910 года Анна Рудольфовна Минцлова поняла, что отношения Вячеслава с падчерицей принимают опасный для нее оборот. Она вызвала Вячеслава на разговор:

— Вам суждено сыграть благотворную роль в судьбе России, — сказала она, — но для этого вы должны жить в миру, как монахи, давший тайный обет, и оставаться безбрачным.

Вячеслав покачал головой:

— Нет.

Анна Рудольфовна «замерла, точно вся опала».

— Я виновата, не сумела исполнить их поручения. Они меня вызывают. Прощайте. Да хранит вас Господь, — сказала она тихо и покорно.

Она имела в виду розенкрейцеров, с которыми якобы была связана.

В августе 1910 года в Риме Вера и Вячеслав Иванов приняли решение жить вместе, как муж и жена.

А в петербургском мороке в отчаянии ломала руки ясновидящая Анна Рудольфовна Минцлова. Она больше не видела смысла жить: «Я пережила несколько жизней, волновалась за несколько десятков людей. Точно несколько гор было у меня на плечах... И вот сейчас только я рассчиталась вполне с жизнью, я чувствую, что нет больше ничего на земле, что взволновало бы меня или удивило.



Я достигла Геркулесовых столбов — и теперь дальше идти нельзя, разве в открытое море, вниз головой».

В сентябре Минцлова пошла с подружкой на Кузнецкий мост. Здесь они распрощались: Анна Рудольфовна направилась в одну сторону, подружка — в другую. Так и не обернувшись, не взглянула еще раз на непривлекательную грузную женщину с желтыми космами, затянутыми в тяжелый узел на затылке и обрамляющими растрепанным мочалом одутловатое лицо. Не взглянула больше в узкие щели-глаза, вдруг раскрывавшиеся двумя серыми безднами, словно навстречу иному миру, то ли в небеса, то ли в ад.

Больше Минцлову никто не видел, а тело так и не было найдено. Ходили слухи, что она удалилась на другой план бытия выполнять какое-то поручение рыцарей-розенкрейцеров. По крайней мере, так она объясняла свои планы Андрею Белому, с которым часто виделась, незадолго до исчезновения. Она передала ему свое кольцо и назвала несколько мест из Евангелия, что должно было послужить ему «опознавательным знаком» для будущей встречи в 1912 году.

В 1915 году у него была странная встреча в соборе в Лозанне. Он разговорился с неким пожилым, незнакомым ему господином. Тот вдруг вынул из кармана книжку и торжественно прочел те самые места из Евангелия, о которых говорила Минцлова. Затем попрощался и ушел.

Значение этой встречи объяснил Рудольф Штейнер: «Фрейлен Минцлова умерла и не могла найти покоя, не закончив начатого ею дела. Это она говорила через того господина».

По более реалистичной версии, Минцлова уехала в Финляндию и утопилась в водопаде Иматра — модном месте самоубийц Серебряного века.

Весна 1912 года. Кабинет Вячеслава из-за красных обоев подобен огненной печи. Хозяин пригласил сюда



шестнадцатилетнюю дочь Лидию. В соседней комнате сидела Вера и робко ждала окончания беседы.

Юная Лидия услышала невероятные вещи: «Вячеслав и Вера любят друг друга и решили соединить свои судьбы. Это не измена ее маме. Для Вячеслава Вера — продолжение мамы, дар, который ему посылает мама. Будет ребенок. А ребенок всегда создает новую жизнь, новый свет.

Принимает ли Лидия слова Вячеслава? Если принимает — останется с ними. Если для нее это неприемлемо — ей устроят самостоятельную жизнь».

— Я с вами, — ответила Лидия.

Они вышли в соседнюю комнату, к Вере.

— Она с нами, — сказал Вячеслав.

Через несколько дней они втроем — Вячеслав, Вера и Лидия — уехали во Францию и поселились около Эвиана, на озере Леман.

Под этот брак было подведено мистическое основание. Якобы Иванову явилась во сне Лидия Дмитриевна и сказала: «Дар мой тебе, дочь моя, в ней приду». Так кому же она завещала Веру: Иванову или Кузмину?

Во Франции все изменилось, точно рассеялся петербургский морок, стоявший над городом даже в яркие радостные дни. «Словно наступило утро», — вспоминала юная Лидия Вячеславовна. И сам Вячеслав стал другим: простым, полным юмора, лиричным. Они были счастливы.

Тем временем в Петербурге Михаил Кузмин рассказывал всем и вся об их отношениях и сочинил рассказ-памфлет «Покойница в доме».

Для старшего брата Веры Сергея Шварсалона описанное было полной неожиданностью. В начале октября 1912 года он вызвал Кузмина на дуэль. Переговоры вели секунданты Сергея: Скалдин и Залеманов. Со стороны Кузмина — художник и один из бывших любовников —



Судейкин. Михаил сначала было принял вызов, но 15 октября, вдруг вспомнив о своем дворянстве, отказался от дуэли, объяснив это сословным неравенством между ним и Шварсаломом, сыном учителя, о чем секунданты тут же составили соответствующий протокол.

Вячеслав старался уладить дело. Он писал Скалдину из Швейцарии: «Я нахожу, что Сережа поступил естественно, последовательно, корректно, благородно. Разумеется, с его точки зрения; что хорошо для него, было бы нехорошо для нас с Вами. Особенно радует меня, что он не позволил себе никакой оскорбительной выходки, ни одного ненужного действия... Радуюсь и тому, что поединок не состоялся. Беспокойна только мысль, что Сережа может не остановиться на этом... все дальнейшее было бы ложным, дурным и вредным... С тем протоколом у нотариуса он, Сережа, должен признать инцидент законченным».

Однако история имела то самое продолжение, которого так не желал Вячеслав. 5 декабря 1912 года в Русском драматическом театре А.К. Рейнеке состоялась премьера пьесы «Изнанка жизни» с музыкой Кузмина. На премьере присутствовал Гумилев с женой. Во время второго антракта Сергей Шварсалон отправился за кулисы к ближайшей от фойе комнате, где был Кузмин. Ударил его несколько раз по лицу в присутствии двенадцати-пятнадцати человек и потребовал составления протокола.

В это время Анна Ахматова вышла в фойе и увидела там «человека страшного вида, в смокинге». Он ходил из угла в угол. Лицо и губы бледнее бумаги. Человек показался Ахматовой знакомым, но лицо было настолько искажено, что она его не узнала. Это был Сергей. Из фойе она тут же прошла за кулисы и увидела Николая Степановича, Кузмина и других, бурно обсуждавших происшедшее. Уже явился полицейский и составлял протокол.

Пенсне Кузмина было разбито, лицо в крови.



Гумилев расписался в протоколе в качестве свидетеля.

После этого Вячеслав, наконец, объяснил Сергею, что все правда, что он действительно любит Веру. Вскоре они уехали в Грецию, где нашли священника, согласившегося их повенчать.

Маргарита и Макс увиделись в последний раз в 1914 году на строительстве Гетенаума, так Штейнер, последователь натурфилософии Гете, назвал храм Святого Иоанна — храм антропософии, искусства и науки, созданный по его проекту для единения всех религий и наций. Макс приехал в последний момент, накануне войны, и за его спиной захлопнулись границы. И почувствовал себя «одним из нечистых животных, запоздавших и приходящих в ковчег последним».

Дорнах — тихое место, в Европе уже бушует война, а здесь тишина, луга, холмы, деревья. Типичная швейцарская деревня с домиками, разбросанными среди лугов и рощ. Внизу, в долине — железная дорога, наверху — трамвай до Базеля.

Макс тут же направился к Маргарите, и вот они вместе идут на вокзал за вещами.

— Есть человек, который очень волновался из-за твоего приезда, — говорит Маргоря.

Это Йозеф Энглерт, главный инженер строительства Гетенаума. Крепкий, розовощекий, веселый, с синими глазами и в синей куртке, легкий, общительный. Он влюблен в Маргариту.

— Он не верил мне, когда я говорила, что мы давно не муж и жена, — продолжает Сабашникова.

Макс снова лишний, да он и не затем приехал, за время разлуки он успел пережить еще одну несчастную любовь.

Весной 1908 года на одном из собраний на «Башне» Макс увидел довольно некрасивую девушку, полную, с



большой головой, но с необыкновенными лучистыми глазами. Такие глаза бывают у детей, святых и шизофреников. Это была та самая Елизавета Дмитриева, с которой в присутствии Веры Шварсалон так доверительно говорил Кузмин. Да, она балансировала на грани безумия, слишком нервная, слишком впечатлительная и ранимая. Но была в ней непреодолимая прелесть, несмотря на недостатки внешности и хромоту.

Но ей он казался тогда «недосягаемым идеалом во всем».

В 1909-м на лекции в Академии художеств ее познакомили с Николаем Гумилевым, и они вместе с большой богемной компанией поехали ужинать в ресторан «Вена», где много говорили с Гумилевым об Африке, львах и крокодилах, понимая друг друга с полуслова.

— Не надо убивать крокодилов, — серьезно попросила она.

— Она всегда так говорит? — спросил Гумилев Макса, отведя его в сторону.

— Всегда.

«Эта маленькая глупая фраза» настолько очаровала Гумилева, что он поехал провожать малопривлекательную девушку. Тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча», и не нам ей противиться, — напишет потом Лиля в своей «Исповеди». — Это была молодая, звонкая страсть».

И вот уже они встречаются, пишут стихи, ездят вместе на «Башню» и вместе возвращаются на рассвете «по просыпающемуся розовому городу». С ним она ни о чем не помнит, а дома плачет и мечется. В Гумилеве есть «железная воля» и «желание даже в ласке подчинить», а в Лиле — «желание мучить». Лиля — невеста другого — инженера-гидролога Всеволода Васильева. Гумилев знает, видел ее жениха и ревнует. «Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья», — вспоминала Дмитриева.



В мае они поехали в Коктебель. И там все изменилось.

В Коктебеле Макс — самая большая и самая недостижимая любовь Лили.

Но чудо свершилось. Она узнала, что Макс любит ее, и рванулась к нему вся, без размышлений, без остатка и почти без колебаний. «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Гумилеву — я буду тебя презирать», — сказал Макс. Выбор уже сделан. Но и юный Гумилев, «мальчик», «цветение весны» остается «какой-то благоуханной, алой гвоздикой». «Хочу обоих, — думает она. — Зачем выбор!»

Но все же просит Гумилева уехать, ничего ему не объяснив.

В нем есть черта, которая ей не нравится: «неблагожелательное отношение к чужому творчеству». Он всегда всех бранит и над всеми смеется.

Она осталась с Максом, с которым можно было говорить о жизни, смерти, поэзии, теософии и который все понимает и сочувствует.

Они подолгу разговаривают наедине:

— Все мое детство было каким-то театром жестокости, — говорит Лилиа. — Сначала умер от чахотки отец. Он был замкнутый мечтатель и неудачник. Потом я заболела: туберкулез костей и легких. С семи до шестнадцати лет все время лежала. И до сих пор хромаю, потому что болит нога. А тогда бабушка заставляла ночью целовать образ Целителя Пантелеймона и говорить: «Младенец Пантелей, исцели младенца Елисавету». И я думала, что если мы оба младенцы, то он лучше меня поймет. Я совсем не боялась и не боюсь смерти. В семь лет я хотела умереть, чтобы посмотреть на Бога и Дьявола. И это осталось до сих пор. Тот мир для меня бесконечно привлекателен. Я долго помнила о своей предыдущей жизни и всем рассказывала о ней, но мне, конечно, никто не верил. А потом я заболела дифтеритом. Мы были одни с



братом на даче. И я уже была больна. Но он запрещал мне лечиться, говоря, что болезнь надо преодолеть. У меня был очень сильный дифтерит. Потом я ослепла на год. С восемнадцати лет я хожу по дорогам жизни, и мне кажется, что исчезает мое темное видение, и вот сейчас я ничего не знаю, но только что-то слышу, а им все кажется, что у меня открыты глаза. И мне хочется, чтобы кто-нибудь стал моим зеркалом и показал меня мне самой хоть на одно мгновение. Мне тяжело нести свою душу.

Макс внимательно слушает. Показать ей ее? Стать зеркалом?

Она чем-то напоминает Минцлову. Поменьше честности и побольше уверенности в себе — и была бы вторая Анна Рудольфовна.

— Брат заставлял меня просить милостыню, — продолжает Лиля. — Подходить к прохожим и говорить: «Подайте дворянину». Деньги я отдавала ему, а он их бросал в воду, потому что «стыдно было брать». Он любил Эдгара По и пересказывал мне его страшные истории. Но за это я должна была позволить сбросить себя в отверстие в крыше, там был сеновал. Очень высоко, два этажа, но я все равно соглашалась. Сестра тоже рассказывала мне истории, и за это разбивала моих фарфоровых кукол, потому что ничего не должно быть просто так. Иногда сестра требовала, чтобы мы принесли в жертву огню все самое любимое, и мы сжигали свои игрушки. А однажды бросили в огонь щенка. Он завизжал, пришли взрослые и вытащили его.

С братом случались нервные припадки, вроде падучей, с судорогами и пеной у рта. Раз мы жили с ним вдвоем в пустой квартире. Когда он знал, что у него начнется припадок, он ложился на кушетку, а меня заставлял смотреть — это воспитывает характер. Я ему должна была давать капли. Но в первый раз была так смущена, что



вылила весь пузырек ему в глаза. Капель больше не было. Тогда он стал мне давать нюхать эфир и сам нюхал. Это было очень хорошо. У меня быстро начинала кружиться голова, и я ложилась где-нибудь на пол. Было страшно ясное сознание. Через две недели, когда взрослые вернулись, он уже ходил по дому и резал какие-то невидимые нити. Его на несколько месяцев отвезли в больницу.

Когда мне было тринадцать лет, в мою жизнь вошел тот человек. Он был похож на Вячеслава. У него был такой же большой лоб, длинные волосы. Только темнее Вячеслава. Змеиная улыбка, бело-голубые глаза, которые становились совсем белыми, когда он гневался. Он был насмешлив и едок. Мама очень любила его. И тогда начался кошмар моей жизни. Я ему очень многим обязана. Он много говорил со мной. Он хотел, чтобы все во мне пробудилось сразу... Он хотел, чтобы я была страшно образованна. Он занимался оккультизмом и дал мне первые основы теософии, но не был теософом. И он был влюблен в меня, он требовал от меня любви: я в то время еще не понимала совсем ничего. Я иногда соглашалась, говорила, что буду его любить, и тогда он начинал насмехаться надо мной. Его жена знала и ревновала меня. Она делала мне ужасные сцены. Все забывали, что мне тринадцать лет... Да... Макс, это было... Он взял меня... Это было рано утром... У меня настало каменное спокойствие. Я вышла через минуту туда, где были люди. И никто ничего не заметил. Мама была на его стороне. У нее будто было озлобление на меня, что я не полюбила его. Все были против меня, и я не знала, что делать. Мне кажется, что у меня не было детства, и любовь невозможна для меня. Я так и не смогла его полюбить.

Макс слушает. И уже понимает, что сможет стать зеркалом для этой девочки, чья жизнь сплошное несчастье. Он станет для нее волшебным зеркалом, в котором отразится франко-испанская аристократка, прекрасная,



утонченная таинственная. А звать ее будут... Черубина де Габриак.

— Лиля! Хочешь, мы положим к твоим ногам весь Петербург?

Имя «Черубина» нашли в одном из романов Гэрет-Гарита. Габриак же назывался выброшенный на берег морем и подобранный Максом корень виноградной лозы, забавный, похожий на маленького человечка с собачьей мордочкой. Волошин и Лиля вместе сели читать старинную книгу о демонах и бесах Жана Водена, чтобы найти в ней имя какого-нибудь маленького бесенка, похожего на этого виноградного уродца. Имя нашлось: «Габриак».

Для Черубины де Габриак придумали происхождение: отец из Южной Франции, а мать — русская. Черубина — ревностная католичка, в детстве она воспитывалась в монастыре, а в доме у нее строгие порядки.

Макс подсказывал сюжеты для стихов, а Лиля писала.

Вскоре в редакцию журнала «Аполлон» пришел надушенный конверт со стихами, подписанными странным именем «Черубина де Габриак»:

С моею царственной мечтой
одна брожу по всей вселенной,
с моим презреньем к жизни тленной,
с моею горькой красотой...

Вся редакция была в восхищении. И стихи тут же поставили в номер.

Это было только начало сумасшествия. Ей высылали корректуры с золотым обрезом и корзины роз, ей назначали свидания, за ней охотились. Когда прошел слух, что она едет в Париж, все билеты на поезд были немедленно раскуплены. Тираж «Аполлона» разлетался так быстро, что не успевала просохнуть типографская краска. Ее стихи ставили вместо стихов маститых поэтов: пришлось потесниться даже Иннокентию Анненскому.



Но сама Лиля слишком мучительно переживала неожиданную славу. Она сходила с ума от раздвоения личности, ее везде преследовал двойник, который ходил за ней по пятам по мостовым Петербурга. Ей казалось, что она украла у Черубины ее судьбу.

Она совсем закрылась от Гумилева, мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил выйти за него замуж.

А она собиралась замуж за Макса. Но и Гумилева не отпускала от себя. «Это не жадность была, — напишет она в «Исповеди», — это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, а другая — другого».

В Макса она влюбилась, но какой-то мучительной любовью-поклонением.

— Макс, теперь я ничего не помню. Но ведь ты все знаешь, все помнишь. Я тебе все рассказала. Тебе меня отдали. Я вся твоя. Ты помнишь за меня.

Она садится на пол и целует ему ноги.

— Макс, ты лучше всех, на тебя надо молиться. Ты мой бог. Я тебе молюсь, Макс.

— Лилия, не надо. Этого нельзя.

— Нет, надо, Макс...

Макс бы немедленно женился на ней, но все еще был официально женат на Сабашниковой, а развод был делом не быстрым.

А Лиле все чудился какой-то призрак, от которого исходит холод, и призрак предупреждал, если она останется с Максом, ее ожидает безумие. И Макса — тоже. «Страшно сладкое безумие».

— Он сказал, что девочка может быть у нас, но и она будет безумна... Что ее не надо... Макс... и что надо выбрать... Или безумие... сладкое! Или путь сознания — тяжелый, больной... И я, Макс, выбрала за себя и за тебя... Я не могла иначе... Я должна была выбрать. Я выбрала не быть твоей...



Она не вынесла ноши славы, страсти и полубезумия и проговорила поэту и переводчику Гансу Гюнтеру: «Черубина де Габриаки — это я». И Гюнтер наутро побежал к Михаилу Кузмину и рассказал о своем открытии. Так закончилась эта великая мистификация.

Елизавета Дмитриева сама нанесла визит главному редактору «Аполлона» Маковскому и принесла извинения. «В комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина, с крупной головой... Она была на редкость некрасива», — вспоминал Маковский. «Похоронив Черубину, я похоронила себя», — сказала она.

Но на этом еще не закончилась история таинственной франко-испанской красавицы, писавшей русские стихи. Точку, а точнее, многоточие в этой истории поставили несколько пистолетных выстрелов.

В субботу 14 ноября 1909 года Николай Степанович остановил Лилу в «Аполлоне» и сказал:

— Я прошу вас последний раз: выходите за меня замуж.

— Нет.

Он побледнел.

— Ну, тогда вы узнаете меня.

В понедельник к Лиле приехал Ганс Гюнтер и сказал, что Гумилев на «Башне» говорит о ней бог знает что. Что именно, без труда восстанавливается по дневнику Михаила Кузмина. «Действительно, история грязная, — записывает он как раз в понедельник. — Любовница и Гумми, и еще кого-то, и теперь Гюнтера, креатура Макса, пугающая бедного Мако...» То есть Маковского.

Вечером Гумилев остался ночевать у Кузмина. Они ругались с Гюнтером, выпили все вино и отослали хозяйна спать.

В среду Елизавета Дмитриева пригласила Гумилева к своей подруге Лидии Брюлловой, туда же пришел и Гюнтер.



И вот Лиля в темно-зеленом бархатном платье, которое ей очень идет. Она крайне возбуждена, на лице горят красные пятна. Гостей ждет изящно накрытый стол, рассчитанный на примирение. Очаровательная Лидия Брюллова встречает их как хозяйка дома.

— Вы действительно говорили обо мне то, что передал Ганс? — спросила Дмитриева.

По воспоминаниям Гюнтера, Гумилев с небрежным и даже заносчивым видом приблизился к обеим дамам.

— Мадемуазель, — начал он презрительно, даже не поздоровавшись, — вы распространяете ложь, будто я собирался на вас жениться. Вы были моей любовницей. На таких не женятся. Вот что я вам хотел сказать.

И снисходительный кивок. Гумилев поворачивается к обеим женщинам спиной и уходит.

Вечером на «Башне» была «Поэтическая Академия», где Вячеслав Иванов читал лекции по теории стиха. Об этом вечере есть запись в дневнике Кузмина: «Долго совещались о новых членах. Дмитриева была печальная и оскорбленная... Гумилев сидел сам не свой в недрах «Башни». Макс с графом о чем-то совещались у клозета».

В четверг аполлоновцы собрались в мастерской художника Александра Головина, находившейся над сценой Мариинского театра.

Шел «Фауст». Где-то внизу гремел голос Шаляпина.

А здесь обсуждали новость о разоблачении Дмитриевой.

Вот Николай Гумилев беседует с неким литератором.

— И все-таки по-русски так еще никто не писал! — восхищается литератор стихами Черубины.

— Да бросьте... — говорит Гумилев. — Я довольно хорошо знаю эту особу: как женщина — в определенные моменты бытия — она обладает куда большими способностями, чем как поэтесса...



Волошин все слышит и стремительно идет к ним через всю комнату. Толстый, невысокий встает напротив длинного Гумилева и отвешивает ему пощечину.

— Вы поняли? — спрашивает он.

— Да.

Тут же следует вызов на дуэль.

Гумилев отводит в сторону Кузмина и просит быть секундантом.

Михаил Алексеевич в дневнике явно сгущает краски: «Макс подошел сзади и кулачищем чуть не своротил нос Николаю Степановичу, того удержали... Противники долго не уходили, все ходили попарно, обсуждая инцидент». Секунданты Волошина — граф Алексей Толстой и театральный художник князь Шервашидзе. Гумилева — Кузмин и секретарь редакции «Аполлона» Евгений Зноско-Боровский.

21-е, суббота. Кузмин с Шервашидзе вырабатывают условия. Долго спорят. Пытаются достать дуэльные пистолеты. «У нас сидел уже окруженный трагической нежностью “Башни” Коля, — записывает Кузмин. — Он спокоен и трогателен». С трудом нашли врача. Дуэль завтра, 22-го, в воскресенье.

«Решили не ложиться, — пишет Михаил. — Я переоделся, надел высокие сапоги, старое платье. Коля спал немного. Встал спокойно, молился».

Стрелялись за Старой Деревней, по дороге на Лахту. Несколькоими днями раньше саженьях в тридцати пяти от этого места стрелялись депутаты Государственной думы граф Уваров и Александр Гучков. Последний обиделся на Уварова за интервью газете «Русь», в котором тот пересказал нелестный отзыв о Гучкове, данный якобы Столыпиным. В результате дуэли Уваров был ранен.

Пистолеты достали у секунданта Гучкова Мейендорфа.

Гумилев «предъявил требование — стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников, — вспоминал



Алексей Толстой. — Он не шутил. Для него, конечно, из всей этой путаницы, мистификации и лжи — не было иного выхода, кроме смерти». С трудом договорились стреляться на пятнадцать шагах, еле уломав Гумилева.

Утром выехали за город, по дороге болтали весело и просто. Оставили автомобили и вышли в поле возле свалок, занесенных снегом. До выбранного места не дошли и расположились на болоте, проваливаясь в воду выше колен.

Алексея Толстого выбрали распорядителем дуэли. Он начал отсчитывать шаги.

Гумилев внимательно следил за ним.

— Передайте графу, что он шагает слишком широко, — попросил Николай Степанович.

Толстой начал сначала и снова отсчитал пятнадцать шагов. Попросил противников встать на свои места и начал заряжать пистолеты, еще пахнущие порохом после поединка Гучкова. Пыжей не оказалось. Толстой разорвал платок и забил его вместо пыжей.

Гумилев получил пистолет первым, второй пистолет Алексей вручил Максиму и в последний раз предложил мириться.

Николай Степанович перебил «глухо и зло»:

— Я приехал драться, а не мириться.

— Приготовьтесь! — сказал Толстой.

И начал громко считать:

— Раз, два...

У Кузмина подкосились ноги, он сел в снег и заслонился хирургическим ящиком, «чтобы не видеть ужасов».

«Граф распоряжался на славу, — запишет он в дневнике, — противники стояли живописные, с длинными пистолетами в вытянутых руках».

— Три! — крикнул граф.

У Гумилева блеснул красноватый свет, грянул выстрел.

Противники были целы.



Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало.

— Я требую, чтобы этот господин стрелял! — в бешенстве крикнул Гумилев.

— У меня была осечка, — взволнованно возразил Волошин.

— Пусть он стреляет во второй раз, — закричал Гумилев, — я требую этого!

Волошин поднял пистолет. Щелкнул курок, но выстрела не было.

Толстой подбежал к нему, вырвал у него пистолет из дрожащей руки, прицелился в снег и выстрелил. Гашеткой ему ободрало палец.

Николай Степанович продолжал стоять неподвижно.

— Я требую третьего выстрела, — упрямо сказал он.

Секунданты посоветовались и отказали.

Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилю.

На обратном пути застряли в сугробе. Гумилев «загрустил о безрезультатности дуэли, — писал Кузмин. — Дома не спали, волнуясь. Беседовали».

Вскоре был суд, но участники отделались десятью рублями штрафа.

Только Лиля восприняла все слишком остро и слишком всерьез: «После дуэли я была больна, почти на краю безумия. Я перестала писать стихи, лет пять я даже почти не читала стихов, каждая ритмическая строка причиняла мне боль. Я так и не стала поэтом: предо мной всегда стояло лицо Н.Ст. и мешало мне».

Она не вернулась к Гумилеву, но не осталась и с Максом. В начале 1910 года они расстались. «Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку», — вспоминала она в «Исповеди». А о Гумилеве написала так: «До самой смерти Н.С. я не могла читать его стихов, а если брала книгу — плакала весь день... Он не был виноват



передо мною, очень даже оскорбив меня, он еще любил, но моя жизнь была смята им, — он увел от меня и стихи, и любовь...»

Было и еще одно обстоятельство. В ходе игры в Черубину Лиля влюбилась в Маковского, и крах надежд на него ассоциировался с Волошиным и его выдумкой. Волошин долго не мог поверить в конец их любви.

«Твои письма дают радость и тоску, — писала она ему в марте 1910-го. — Радость, потому что ты мне дорог, и твой покой тоже, тоску потому, что все ясней, что нет к тебе возврата».

А в начале апреля она подвела черту под их отношениями: «Да, не нужно писать мне, и я не буду больше... это мое последнее письмо, от тебя больше не надо ни слова. Мне больно от них».

30 мая 1911 года она повенчалась со своим давним женихом Всеволодом Васильевым.

И вот Макс в Дорнахе, на строительстве Гетенаума.

Он мечтал «о великой коллективной работе», поэтому берет в руки стамеску и стучит молотком вместе с этими удивительными антропософами — целым цветником художников, критиков, издателей, писателей и переводчиков.

Еще в июле 1914 года Рудольф Штейнер провел в храме акустические испытания, но первым звуком, раздавшимся под его сводами, была канонада. Окна в столярной дрожали, и Штейнеру приходилось повышать голос, чтобы быть услышанным. Он начал давать ученикам уроки по уходу за ранеными.

На строительстве работали люди восемнадцати национальностей, и в обеденный перерыв каждый погружался в свою газету. Среди строителей начались раздоры, а с границы приходили слухи о тысячах убитых. Штейнер распорядился сложить необходимые вещи,



чтобы в случае опасности немедленно собраться в здания и оттуда уйти в горы.

Тем временем Макс принимал участие в росписи Гетенаума. Штейнер нарисовал эскиз для занавеса, который должен был отделять зрительный зал от сцены: река, пилигрим, на заднем плане — множество исхоженных им путей, на другом берегу — купола Гетенаума, а над ним, в облаках — видение увитого розами креста. И с того берега навстречу путнику, еще полускрытая скалой, выплывает лодка.

Работу поручили даме, обладавшей более «мистическими», чем художественными способностями, а Макс был назначен ей в помощники. Бедный Макс! Она писала все в розово-голубом тумане, а он в виде четко очерченных горных цепей любимой Киммерии. «Макс в этом окружении совсем загрустил, — вспоминала Сабашникова. — Да и все другое общество его удручало; он видел людей, живущих догматами, нередко отгораживающихся от жизни готовыми схемами... все, что кто-то другой высказывал в какой-то другой форме, они высокомерно отвергали».

В начале января 1915 года он навсегда покидает Дорнах и уезжает в Париж.

А в апреле 1916-го возвращается в Россию, в милый его сердцу Коктебель. Здесь он узнает о высочайшем указе о «призыве ратников I и II разрядов». И решает отказаться от военной службы: «Пусть лучше убьют меня, чем убью я». Сохранилось заявление, поданное им в военное министерство: «Я отказываюсь быть солдатом, как Европеец, как художник, как поэт: как Европеец, несущий в себе сознание неразделимости христианской культуры, я не могу принять участия в братоубийственной и междоусобной войне, каковы бы ни были ее причины... Я знаю, что своим отказом от военной службы в военное время, я совершаю тяжкое и су-



рово караемое преступление, но совершаю его в здравом уме и твердой памяти, готовый принять все его последствия».

Последствий не было. Из-за астмы Макс был признан негодным к военной службе.

Тем временем в Дорнахе Маргариту обвиняют в связи с Энглертом и устраивают разбор ее морального облика. Учитель не принимает в этом участия, а она не хочет нагружать его личными проблемами.

Вскоре праведный народный гнев доберется и до него. В 1915 году Рудольф Штейнер женится на Марии Яковлевне Сиверс. Это вызовет целую бурю. Мистически настроенные антропософки считали его своим небесным женихом. Как их пророк посмел жениться на обычной земной женщине! В результате в обществе произойдет раскол, и Штейнеру придется изгнать часть последовательниц.

Маргарита тяжело переживает скандал, кроме того, начнет разочаровываться в творении доктора Штейнера. Случай Макса и его коллеги типичен: над росписью храма бок о бок работают профессиональные художники и дилетанты, которых считают ясновидящими. И результаты ей совсем не нравятся.

Вдохновения нет, она просто делает работу, которую обещала сделать, и мучительно ждет, когда же это кончится.

Отношения с Энглертом не спасают от депрессии. Когда-то она говорила Максy: «Я не выношу, когда меня любят. Ведь это борьба. Если предо мной склоняются, я хочу добить... Вы не знаете моего характера. Я люблю, чтобы мне противоречили, чтобы меня не любили». И еще: «У меня мучительное чувство, когда люди мне вдруг надоедают и становятся невыносимы. Чем больше меня любят, тем меньше я могу их выносить». Йозеф слишком полюбил ее и стал невыносим?



Так или иначе, в январе 1917 года Маргарита Сабашникова решает вернуться в Россию. «Что бы ни случилось — в Духе мы всегда будем вместе», — сказал ей на прощание Рудольф Штейнер.

Но добраться домой не так-то просто. В Россию надо ехать через Париж, Лондон и Скандинавию. Но из-за опасностей морского путешествия женщинам не дают виз в Англию. Она возвращается в Швейцарию и там узнает о Февральской революции.

Наконец, приятельница из Дорнаха пишет ей, что вскоре из Цюриха через Германию и Швецию отправится в Петербург экстерриториальный поезд для тех, кто выступал против войны. Два таких опломбированных поезда уже отправлены.

Маргарита идет по указанному адресу.

— Есть ли у вас заслуги перед революцией? — спрашивают у нее.

— Нет, насколько я знаю.

— Тогда вы не можете ехать.

Сабашникова было ушла огорченная, но тут же вернулась.

— Я вспоминаю: у меня есть заслуга перед революцией, если вы сочтете это заслугой. Пользуясь знакомством с генерал-губернатором Джунковским, я смогла освободить несколько политических заключенных.

Ее заслуги были признаны, и она получила билет в опломбированный вагон.

В первом из таких поездов в Россию вернулся Ленин.

И вот она в Петрограде, потом в Москве. Здесь анархия, разруха, голод и слова о новой России без тюрем, насилия, ненависти и преступлений.

Сабашникова пишет картины, участвует в антропософском обществе, преподает в детской студии, организует лекции по искусству. Ей заказывают серию рисунков-портретов известных деятелей культуры. Среди них Вячеслав Иванов.



Прошло десять лет с тех пор, как они расстались. Маргарита не сразу узнала бывшего кумира. Он измучен и несчастен. Он теряет третью жену Веру Шварсалон, которая всегда отличалась слабым здоровьем, а теперь умирает от голода и туберкулеза. «Я видела перед собой седовласого человека с тонко выгравированным, гладко выбритым лицом, — вспоминала Сабашникова. — Прежде он носил бородку, а теперь улыбка, змеившаяся на его тонких губах, была мне чужда... Как кучка пепла походит на пламя, так этот Вячеслав Иванов походил на прежнего».

Она хотела написать его таким, каким видела теперь, но написала свою прежнюю любовь. И сделанный красным карандашом портрет вышел по-настоящему красивым. Но при обыске в типографии и оригинал, и уже готовые клише пропали. А обыски тогда были событиями регулярными, неизбежными, почти скучными и ничем не обоснованными.

Вера Шварсалон умерла 8 августа 1920 года в клинике Московского университета. За несколько месяцев до этого казалось, что спасение близко: Луначарский выхлопотал для Бальмонта и Ивановых заграничные командировки, взяв с них слово, что они хотя бы два первых года воздержатся от критики Советской власти. Первым уехал Бальмонт. Слова он не сдержал и, едва ступив на землю Европы, высказал все, что думает о большевиках, а ничего хорошего он не думал, несмотря на сочувствие эсдекам в дореволюционные времена. В результате командировка Вячеслава была аннулирована. «Это смертный приговор», — сказала Вера, услышав эту весть. В Москве у нее не было никакой надежды на выздоровление.

После смерти жены Вячеслав с семьей уехал в Баку и преподавал там в университете. А в 1924 году смог выехать в Италию. Больше в Россию он не вернулся.



В 1926 году принял католичество, потом получил итальянское гражданство. Умер в Риме, дожив до глубокой старости. За два-три месяца до смерти он позвал к себе дочь Лидию и снял с пальца золотое кольцо, то самое, дионисийское, которым когда-то обручился с ее матерью Лидией Зиновьевой-Аннибал, сделанное по заказу в Париже.

— Возьми его себе и никогда не снимай. Это единственный способ не потерять его. Другое с опалом, которое принадлежало Лидии, я не хочу тебе передавать: говорят, что опал приносит несчастье.

В 1922 году в России было запрещено Антропософское общество.

Тем временем из Петербурга отправлялся «философский пароход» — более тридцати писателей, философов, богословов, профессоров высылали за рубеж. «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно», — прокомментировал Троцкий.

И у Маргариты появилась возможность уехать. Даже несколько раньше, на «лечение» за границу, после шести месяцев хождения по учреждениям. «Изо дня в день я ходила в какую-нибудь инстанцию, пешком через всю Москву, нередко — чтобы только узнать, что приемные часы перенесены на другое время, или что нужное учреждение переехало, и даже вообще больше не существует, — вспоминала Сабашникова. — В этих учреждениях я оставила одиннадцать моих фотокарточек, и одиннадцать раз на них были положены печати».

Она уехала на том же пароходе «Гакен», на котором в сентябре — ноябре были высланы неугодные интеллектуалы, тоже в Штеттин, но не осенью, а 17 августа.

На корабль ее провожали друзья по Антропософскому обществу: Борис Леман и Елизавета Васильева — та самая Черубина де Габриак, от стихов которой когда-то



Олег Волховский

сходил с ума весь Петербург и стрелялись Гумилев с Волошиным. В 1928-м оставшихся деятелей Антропософского общества отправят в ссылку, и Лиля умрет в том же году в Ташкенте.

Перед смертью она будет болеть долго и тяжело. Когда станет особенно плохо, она спросит мужа:

— Волюшка, это — конец?

У них была договоренность, что при приближении смерти они не соврут друг другу.

— Да, — ответит он.

После этого она будет молчать три дня.

Наконец скажет:

— Если бы я осталась жить, я бы жила совсем по-другому.

Для Макса бы тоже нашлось место на пароходе в Штеттин, но он решил остаться в России. Судьба отпустила ему не так много — десять лет. Он умрет в Коктебеле в 1932-м, на пятьдесят шестом году жизни.

Маргарита Сабашникова переживет всех своих знаменитых современников, включая Рудольфа Штейнера, который умрет в конце 1923 года, после пожара, дотла уничтожившего его храм. Она до конца дней будет проповедовать его учение и писать картины. Умрет в Штутгарте в 1973 году, в возрасте девяноста одного года.

МИХАИЛ КУЗМИН — ЛИТЕРАТОР

Август 1905 года. У владельца иконной лавки Казакова живет 32-летний поэт Михаил Кузмин — невысокий, изящный человек, тонкий и узкоплечий. Одевается по-русски, но с богемным шиком: бархатные или шелковые рубашки-косоворотки, поддевки и штаны, заправленные в красные сапоги с серебряными подковками. В приличные рестораны в таком виде не пускают, только в трактиры с половыми и русской едой.

Вот он в ресторане при Мариинской гостинице. Гостинодворские купцы, промышленники, старшие приказчики, коммерсанты. Официанты в белых брюках и рубашках с малиновым пояском. На сцене музыканты в вышитых косоворотках — русский оркестр.

Внешность поэта соответствует обстановке: черная окладистая борода обрамляет бледное лицо. Только огромные, как на фаумской миниатюре, глаза слегка подведены и нарумянены щеки. Правильный греческий профиль волнует и женщин, и мужчин, крупные завитки волос старательно зачесаны на лысеющий лоб, камни сияют в перстнях, унизывающих пальцы.

Михаил Кузмин не один. С ним юноша, нежный и сероглазый. Гриша, банщик. Поэт любит ходить *aux rays chauds* — в теплые края — так называются бани на аргоне петербургских гомосексуалистов.



Еще утром и надежды не было на ресторан. Денег оставалось двадцать пять копеек, и Кузмин решил заложить ложки и кольца. Любовники обрадовались, весело попили чаю и легли «побаловаться». И тут звонок. Оказалось, почтальон. Михаил почти голый приоткрыл дверь и взял письмо. Там был чек! Гриша совершенно обнаженный сидел на сундуке на своей красной рубашке и болтал ногами. Кузмин помчался в банк, потом за покупками, и вот они в Мариинской.

Чек был от его гимназического друга Георгия Чичерина, Юши. Того самого, который много позже, в 1918-м станет народным комиссаром иностранных дел.

21 ноября 1904 года умерла мать Кузмина, с которой он прожил большую часть жизни. Он был единственным по завещанию наследником, но в свои права еще не вступил. Тяжба о наследстве затянулась, и Михаил остался без средств к существованию. «Он "менестрель на готовых хлебах", он таким создан и таким должен быть, — писал Чичерин невестке. — Я считаю возможным уделять на него 100 рублей в месяц».

Это был очередной Юшин чек. Но 100 рублей Кузмину катастрофически не хватало, и он продавал свои старопечатные книги времен увлечения старообрядчеством и старинные иконы.

На обратном пути из ресторана Михаил зашел в иконную лавку и отдал долг хозяину.

Вечером зажгли все лампы, свечи и лампу. Развели самовар и пили дымящийся чай под рассказы Гриши о посетителях бань.

Гриша разделся, без возражений и кривляний, нырнул под меховое одеяло. Кузмин спал обнаженным под меховым одеялом, мехом к телу, наслаждаясь нежными прикосновениями волосков.

Гриша тонок и красиво сложен, хотя ширококул и похож на татарина. Но есть какая-то особенная слад-



страстность в лице. И тело! Вот педерастическая красота!

Между округлыми холмами ягодич тот тайный ход, который французы зовут «розовыми лепестками». Михаил гладит нежную кожу возлюбленного, целует плечи и касается зубами мочек ушей. Вот и юношеский пух у запретной двери. Михаил осторожно, медленно раздвинул вход. Надавил и проник внутрь, как клинок, до самой рукояти, до мошонки. Гриша застонал. Михаил задержался, остановился, переждал и вонзился вновь, чувствуя, как подступает пик наслаждения. Стоны все чаще. И горячая струя бьет в пульсирующую раковину, плотно обнимающую твердый стебель, и два крика сливаются в один.

Проснувшись утром, Михаил почувствовал под головой чью-то руку, увидел рядом Гришино лицо и наконец понял, в чем дело.

За окном в тумане парил Исаакий. Михаил развел самовар.

Пили чай, и он любовался на своего милого Гришу, тонул в омуты серых глаз. Они бы могли жить вместе, тем более что Гриша просится в слуги, но это невозможно. Скоро Михаил переезжает к сестре. Да и деньги... Если бы у него были деньги, он был бы окрылен! Он бы расставил по полкам Анатоля Франса и играл Дебюсси и Массне, и жил на башне из слоновой кости в изящном одиночестве, положив на аналой Данте перед «Весной» Боттичелли.

Когда-то Михаил мечтал о Грише, как о чем-то невозможном. Но все перевернул один разговор. Они стояли вместе у окна здесь же, на Верейской улице, и Гриша рассказывал о своем знакомом Тимофее: «Может быть, он влюблен в своего барина». — «А, может быть, я в вас влюблен, Григорий». — «Все может быть, — весело сказал он. — Если бы вы сами не сказали, я бы написал вам об этом».



Теперь Гриша обещает приходить каждое воскресенье. Иногда приходит и чаще. И наслаждение с ним краткое и сильное, словно выходишь из собственной кожи. Но после — разочарование, почти нелюбовь к предмету страсти. «Великие чувственники были и величайшие пессимисты, — записывает Кузмин в дневнике, — и все лица итальянского Ренессанса такие жестокие, чувственные и печальные».

Близится переезд. Жаль терять отличный вид на Исакий, на вечерний Петербург, большой стихающий город. Словно древняя Александрия. Но семикомнатная квартира сестры Вари все больше нравится Кузмину: светлая, современная, уютная. Из окна вид на небо и крыши домов. Внизу Таврический сад. Новый громадный дом с мозаичными стеклами на лестнице, электричеством, телефоном, ваннами, зеркальными окнами. И непременно швейцаром у входа. И кухаркой. Как же без кухарки!

1 сентября Кузмин переезжает к сестре.

А через пару недель происходит на первый взгляд пустяковое, а на самом деле немаловажное событие: Михаил сбривает бороду и усы.

Жизнь его души — это вечные колебания между Западом и Востоком, итальянским Ренессансом и русским монашеством. Избавление от бороды означает, что маятник качнулся и начал движение на запад. Он еще восхищается простыми людьми в поддевах и картузах, еще тоскует об олонецких скитах и дониконианских иконах, еще успеет вступить в «Союз русского народа», но уже мечтает о тончайшей культуре и о друге, который разделит с ним не только постель, но и интересы, и цели, и устремления.

Такой друг у него уже был. Конногвардейский офицер князь Жорж, с которым он путешествовал по Италии, Греции и Египту. Смирна, Александрия, Константи-



нополь — все то, что навеки осталось в его «Александрийских песнях». Но князь Жорж умер в Италии от болезни сердца, и с тех пор спутниками Кузмина стали те самые простые люди в сапогах и косоворотках, в любви к которым ему так хочется себя убедить.

Он смотрится в зеркало: то ли Казанова, то ли Калиостро, то ли ожившая мумия египетского юноши (по словам доброжелательного Волошина), то ли «гробовой труп раскрашенной проститутки», как заметит мизантроп Бунин. «Самое страшное из моих лиц», — запишет он сам.

И сквозь это лицо стареющего юноши уже проглядывает другое — лицо французского корреспондента с узкой бородкой клинышком, несколько равнодушное и скучающее. Не пройдет и двух лет, как Михаил Кузмин позабудет о картузах и поддевках, переоденется в европейское платье и сменит трактир в Мариинской на богемный ресторан «Вена».

18 сентября, в воскресенье пришел Гриша. Нежен и весел. Сидели за маленьким столиком, пили чай. Варя предложила варенья к чаю.

И вот они вдвоем.

Поцелуи и шутки, несколько скользкие.

— Я люблю вас, — говорит Гриша. — Я скучал и ходил к вашему дому, но не смел зайти.

Кузмин улыбается, не верит. Это неправда, конечно!

— А когда будет напечатан ваш роман? — спрашивает Гриша. — Чтобы почитать.

Это о романе «Крылья» — повести о гомосексуальной любви, вполне целомудренной и полной намеков и недоговорок.

— Вы побрились, чтобы походить на того англичанина, которого сослали?

Он имеет в виду Оскара Уайльда.

— Что вы, выдаетесь с А. Б.?



— Каким А. Б.?

— Которому посвящены ваши стихи.

Алеша Бехли. Ему посвящен цикл «XIII сонетов».

Зерно кокоса в грубой спит коре,
Но мягче молока наш вкус ласкает.
И как алмазы кроются в горе,
Моя душа клад чудный сохраняет.
Открой мне грудь — и явится тебе,
Что в сердце у меня горят: А. Б.

Нет, он не встречается с Алешей. Это было в Васильсурске. Сестра Варя тогда жила в Нижнем Новгороде и лето проводила в его окрестностях. Там Кузмин отчаянно влюбился в мальчика, Алешу Бехли, сына Вариных знакомых, семьи управляющего конторой купцов Рукавишниковых в Нижнем, живших на даче по соседству. После лета разъехались: Кузмин в Петербург, Алеша в Москву, и вели переписку, которая попала в руки Алешиного отца. Тот устроил скандал и прекратил это приключение.

Григорий ревнует!

— А какие лица тебе нравятся? — спрашивает Кузмин.

— А такие, вроде англичан ярославских.

Родной город Кузмина Ярославль. И Уайльд — англичанин. Точнее, ирландец, но Гриша не знает подобных тонкостей.

Григорий грациозен и шутив в ласках, у него стройное «смугло-бледное» тело, длинные темные ресницы и алый рот. Милый близкий человек, с которым можно быть откровенным, к которому можно попросту приласться, не опасаясь ни досады, ни насмешки, ни отворачивания.

Только отношения с ним все более отдают буржуазной привычностью, почти супружеской скукой. «Постельная гимнастика», как говорил император Домициан.



«И если есть в этом остаток поэзии, то очень невысокого полета, какого-то хулигански-содержанского», — записывает Кузмин в дневнике.

Нет! Он еще ждет его звонка, еще думает о нем, еще вспоминает его жесты, улыбку, тело. Еще провожает с печалью и с нетерпением ждет. Но заканчивается сентябрь, и связь с Григорием Муравьевым начинает тяготить.

«Конечно, во мне совершается какой-то перелом, отношения к Муравьеву осложняются безденежьем, — пишет он в дневнике. — Я несколько более возвышенно настраиваюсь, вновь вспомнив о культурных ценностях и своем искусстве, но, смотря в окно, на улицу, разве я не ищу глазами линий стройного тела, волнующих лиц, светлых, как ручей или омут, глаз; разве у меня не замирает сердце, когда я слышу звонок, возвещающий о его приходе?» Но не было бы это и со всяким, привлекательным физически и доступным?

Бежать от безденежья? От дороговизны Петербурга? К лампадам перед старинными иконами, долгим церковным службам, скиту в снежном бору, летнему празднику над рекой, пению девушек «за шитьем в яблочном саду». И умереть, «думая о колоколах, жаркой горенке, бане и морозах».

Бежать он решает в Псков. Гриша согласен. Он тоже любит церковность и службы, и его тоже иногда принимают за старовера, как и Кузмина. Они обедают в комнате Михаила. Кузмин смотрит на Муравьева и думает: «Какой у меня есть Гриша!» Они мечтают и строят планы отъезда.

Планам не суждено осуществиться.

Вечером 23 декабря Кузмин задумал ехать в баню. Без всякой задней мысли, просто «для стиля, для удовольствия, для чистоты».



По приезде попросил банщика, простыню и мыло.

— Может, банщицу хорошенькую потребуется? — спросил его служитель бань.

— Нет, нет.

— А то можно...

— Нет, пошлите банщика.

— Так я вам банщика хорошего пришлю, — сказал тот со значением и глядя в упор.

— Да, пожалуйста, хорошего.

— Может, вам помоложе нужно? — почти прошептал собеседник.

— Я еще не знаю...

— Слушаюсь.

Банщик оказался высоким стройным парнем с черными усиками, светлыми глазами и почти белокурыми волосами. «Он смотрел на меня в упор, — запишет Кузмин, — неподвижно, русалочно, не то пьяно, не то безумно, почти страшно, но начал мыть совсем уже недвусмысленно. Он мне не нравился, т.е. нравился вообще, как молодой мужчина, не противный и доступный; моя, он становился слишком близко и вообще вел себя далеко не стесняясь».

— А как вас звать? — спросил Кузмин.

И мыльная мочалка ласково пошла по его спине к ягодицам.

— Александром...

— Ничего я не думал, идя сюда.

И мочалка скользнула между ног, нежно лаская основание члена.

— Чего это... — протянул Александр.

— Да ничего...

— Бывает, случается, мимо идут да вспомнят...

— Запаса-то у меня не много, — предупредил Кузмин.

— А сколько?

Михаил сказал.



— Не извольте беспокоиться, если больше пожалеете, потом занесете... — согласился банщик.

— В долг поверите?

— Точно так...

— А если надую?

— Воля ваша.

Кузмин еще колебался, когда мягкая, белая от пены, ладонь Александра нежно мыла его мошонку, теребя и катая ее содержимое, как китайские шарики.

— А вы как? — спросил банщик.

— Обыкновенно.

— В ляжку или в руку?

— В ляжку.

— Конечно, в ляжку, чего лучше! — обрадовался Александр.

Поцелуи. Объятия. Белое тело Александра: лег лицом вниз и смеется. Ласки, грубоватые и профессиональные. Проникновение плоти в плоть, единство влажных тел. Сладостное полубезумие, наслаждение, экстаз.

Александр оделся, вышел причесаться. Вернулся в рубаше, подпоясанной серебряным пояском. Кузмин предложил пива.

— Что вы, что вы, барин!

Насилу уговорил.

Сели, подняли кружки с округлыми холмами пены.

— За ласку благодарствую, барин. Спасибо за обхождение простое. Князь-то, что ко мне ходит, совсем не таков.

Все у них князя!

— Ну что же, что вы меня не знали раньше, — продолжал Александр, — теперь узнаете; это и очень часто бывает, не думаешь, а потом и дело выйдет; я вас тоже ведь не знаю, а верю вам, вы добрый и ласковый, а другие есть, все равно как с девкой обращаются, или еще старые бывают да толстые, только кого я видал, да не понравились, к тем я не хожу.



Банщик рассказал о себе. Ему 22 года, в банях с 14-ти. Видно, на меня наслали профессионала, заключил Кузмин.

Александр поцеловал его на прощание.

Михаил пожал ему руку.

Банщик впервые зарделся.

— Благодарствуйте.

И пошел провожать до выхода сквозь строй банщиков с понимающими взглядами.

«Гриша, милый, красивый, человечный, простой, близкий, Гриша, прости меня! — напишет Кузмин, вернувшись. — Вот уж правда, что душа моя отсутствовала. Как бездушны были эти незнакомые поцелуи, но, к стыду, не неприятны». «Хоть бы напиться, да голова только заболит. О, Псков, о, Гриша, вы будто луч спасения, как детство, как рай, как чистота... в Григории есть и родственность, и девственность, как это ни смешно. И чего я сунулся с этим Александром».

Но «бездушные поцелуи» «профессионала» запомнились. Мысли о красивом банщике не оставляли Кузмина. Светлые, «пьяноватые» глаза Александра, его лицо, каждое его выражение, каждое слово и жест. Он похож на рынду — телохранителя или оруженосца. «В высокой собольей шапке, белом кафтане, с серебряной секирой он был бы солнцеподобен: круглое лицо, светлые глаза, светлые волосы, чудные зубы, заносчивый и раболепный вид».

Однако деньги опять кончились...

26 декабря пришел Григорий, и все удивлялся, куда его друг умудрился промотать 125 рублей за неделю. А ведь было еще 15 рублей за иконы от Казакова!

В общем, Гриша был совершенно неинтересен, сердит и скучен.

Поехали в Мариинскую. Михаил напился и проболтался про Александра.



— А я ему дал 17 рублей и обещал еще!

Привирал, конечно.

Расстались очень сухо.

«Я чувствую желание пилить и мучить, кого люблю», — записал Кузмин.

1 января был у обедни, потом дома читал январскую Минею. Вера и гомосексуализм соединялись в его душе легко и непринужденно, без мук очевидных противоречий. Да и Христос представлялся кем-то вроде небесного возлюбленного:

Окна плотно занавешены,
Келья тесная мила.
На весах высоких взвешены
Наши мысли и дела.
Дверь закрыта, печи топятся,
И горит, горит свеча.
Тайный друг ко мне торопится,
Не свища и не крича.
Стукнул в дверь, отверз объятия:
Поцелуй, и вновь, и вновь, —
Посмотрите, сестры, братья,
Как светла наша любовь!

«...Если обоих душа пылает, то и значит, что Бог соединил их. Грех с сердцем холодным или по расчету любовь творить, а кого коснется перст огненный, — что тот ни делай, чист останется перед Господом. Что бы ни делал, кого дух любви коснется, все простится ему, потому что не свой уж он, в духе, восторге...» Это из романа «Крылья».

Только Михаил закончил молиться, как пришел Гриша. Сначала был мил, но выпросил почитать дневник.

— Если вы пригласите на Крещение Александра, то я не приду! — заявил Гриша. — Вы и так дали ему достаточно!

Да, Кузмин мечтал пригласить их вместе...



«Господи! дай, чтобы я не думал вечно о деньгах, чтобы Григорий умирился и пришел к любви, чтобы все пришло в порядок, чтобы Псков привел тишину и счастье мне и милому Грише!» — записал он в дневнике.

8 января. Гриша пришел неожиданно, ссорился, ревновал, плакал. Кузмин дразнил и подсмеивался.

— Я сейчас разорву стихи про Александра Македонского и уйду! — воскликнул Гриша.

— Ну, парень, слушай: если ты уйдешь, так надолго уйдешь.

Гриша стушевался, поник, опустил плечи.

— Да есть ли в вас человечность!

Почти помирились и простились довольно нежно.

Но 16-го Кузмин пошел в лавку Казакова, чтобы получить деньги за проданные иконы. В магазине, облокотившись на прилавок, стоял мужчина. Михаил было принял его за Степана, служившего в лавке.

— Неужели вы вашу симпатию не узнали? — спросил его приказчик.

Да, перед ним, по-прежнему улыбаясь, стоял старый знакомый Саша Броскин, которого он не видел пять лет. Годы «его не изменили, тот же рост, то же блистательное широкое лицо, светлые кудрявые волосы, те же необыкновенные, волнующие и странные глаза, как у Григория, как у Александра, какие бывают у близоруких от онанизма, сильно пьющих или балующих людей, расплывчатые и острые, мистические и извращенные, припухлые и впалые; у обычных распутников таких не бывает. Прибавились маленькие золотистые усики над все тем же свежим и прекрасным ртом». Торговец иконами, плут, сутенер, хозяин борделя, муж жены-проститутки, беспробудный пьяница. Все «прошло бесследно для этого белого, лучезарного, слегка только потолстевшего лица». Он, слегка усмехаясь, как ни в чем не бывало начал разговор, а Кузмин откровенно любовался этим колоритным



персонажем: «Бывают же эдакие царевичи!» «Царевич» казался совсем доступным и изредка бросал на собеседника откровенные взгляды, продолжая шутливый разговор. Да, похож на банщика Александра, но свежее и красивее, несмотря на свои 26 лет и бурную биографию. И «одет франтом».

На следующий день Кузмин снова в лавке Казакова. Снова с Броскиным. Тот бросил пить (утроба не принимает) и занялся душеспасительным чтением Патериков. Ему бы «Декамерон» читать, а не Патерик!

19-го Кузмин поехал на Бассейную к Александру расплачиваться с долгом. Но того не было, уехал по делам. «Я даже не ожидал, что это произведет на меня такое впечатление, — записал Кузмин, — я вдруг похолодел, закружилась голова, и все стало не мило в мире». Пришли другого банщика — Ивана, безобразного с расплывшейся, бабьей фигурой. Михаил был так опечален, что не сразу осознал принесенную Иваном новость: оказывается, Александр недавно женился. Он передал через Ивана деньги и отправился в лавку Казакова.

С этого дня солнцеподобное лицо Александра, вдохновившего Кузмина на стихи о Македонском, померкло и отсыяло в душе поэта. И теперь «Саша» в его дневнике больше не банщик с Бассейной, а Саша Броскин.

28-го он все же поехал в бани, чтобы увидеть Александра. По-прежнему высок и лучезарен, но грубее. Наконец узнал его имя: Александр Ильич Корчагин. Круглое лицо, огромные, «воловыи» глаза, «как у Александра Великого или у жеребца». Но Гриши ему не заменить. Григорий и ближе, и развитее, и не женат. Да и к чему все это? «Гриша, милый и нежный, придет, когда я захочу».

Они еще встречались с Александром. Он писал Кузмину письма, назначал свидания, бывал у него дома, но в мыслях и сердце уже царил Броскин, потеснив и его, и



еще не отставленного Григория Муравьева. Даже эпитеты переключались от Александра Корчагина к Саше Броскину, теперь у последнего и лучезарное лицо, и солнце-подобное, и сходство с рындой — русским оруженосцем и телохранителем.

Февраль с метелями, розовыми зорями и оттепелью. Дело о наследстве проиграно, точнее, проигран первый этап. Кузмин впадает в отчаяние: «Решительно не знаю, что делать с долгами и вообще с деньгами. Безденежье мое достигает крайних пределов». А так вроде бы все по-прежнему: Григорий, Саша Броскин, банщик Александр. На последнего, правда, нет денег. И неизвестно, опубликуют ли «Крылья». Ему хотелось бы «плюнуть на все, поселиться в углу и ходить только в церковь».

24-го он увидел во сне, как его убивают из пистолета: «Впечатление было так ярко, что, проснувшись, я был уверен, что выстрел был реальным». Он задумывается о самоубийстве, он мечтает стащить у зятя револьвер, написать прощальные письма и застрелиться.

Его тетя подает апелляцию, но Кузмин уже не верит в успех дела и все представляет собственные похороны и панихиду. Он едет с зятем Прокопием Мошковым, мужем сестры Вари, в Новгородскую губернию. Вечер, синь, снега до горизонта. Он просит показать, как действует револьвер. Прокопий Степанович объясняет, как стрелять. «Дуло у револьвера тонкое, холодное, что-то не то хирургическое, не то фотографическое». На следующей станции револьвер уже у Михаила: вытащил у зятя из кармана шубы.

Пистолета хватились дома, и сочли потерянным.

А Кузмин в своей комнате достает его каждую ночь. Рассматривает, примеривает к руке, ощущая его холод и тяжесть, и странный покой нисходит на него. Но будет весна, Пасха, и он не услышит больше, как запоют «Христос Воскресе», не увидит нежных и ярких красок по-



морских икон! Но неужели это обязательно надо сделать до Пасхи...

«О деньги! если бы их было достаточно!»

Помощь пришла от верного Юши Чичерина, которому Кузмин подробно расписал в письме свои планы самоубийства и даже признался в краже пистолета. Получив надежду на материальную помощь, Михаил тут же отправился на Бассейную к Александру.

И тот поведал историю, еще больше его развеселившую. Александр описал Кузмина своему главному клиенту князю Тенишеву. Тот сразу узнал его и воскликнул:

— Так это Кузмин, поэт, Михаил Алексеевич.

— Да, Михаил Алексеевич, — кивнул банщик.

— Он и прекрасный музыкант к тому же, я его хорошо знаю.

«Что же это — начало славы? — записал Кузмин. — Слухи об известности в почти публичном доме; что-то шекспировское».

Так или иначе, он снова «в числе живущих». Светит солнце, воркуют голуби, и мальчишки зазывают в лавки. Снова увидит весну, иконы, услышит звон колоколов. «Какое счастье! — пишет он. — Как я вам благодарен, избранные святые, которых я обещал купить, если спасен буду».

Он снова на Бассейной, но Александр все больше его разочаровывает: «Слишком классичен, слишком солист его Императорского Величества, еле ползающий и снисходящий». Да и накладно это, и «вымываешься Бог знает как». Уж, не бросить ли совсем Александра и остановиться на Григории?..

Настала Пасха с крестным ходом, свечами, запахом ладана, новыми иконами избранных святых и пьянкой до рвоты в компании Гриши, Саши Броскина и приказчиков из иконных лавок.

4 апреля Кузмин отправился к Саше. В кухне сидели Саша с женой и три женщины из их публичного дома.



— Позвольте с вами похристосоваться, — обрадовался Броскин.

— Христосовались ведь уж.

— Ну, так поцеловаться.

— Извольте.

Здесь все пьяно и истерично.

Жена Броскина истерично благодарит Кузмина за визит:

— Вы же знали, что у нас за квартира, и пришли. Вы скромный, вы дворянин. Целую ваши руки.

Склоняется к нему и действительно целует руки.

В соседней комнате курят и поют сиплыми голосами. Пьяный Броскин засыпает на коленях у Кузмина. В кухне кто-то кого-то бьет по лицу и приговаривает: «А, сволочь, будешь меня дразнить? Будешь?» Слышен плач. Броскин, проснувшись, требует хор цыганок. Пышная проститутка Танька с коровьими глазами и в розовой кофте поет народный романс «Очаровательные глазки». Михаил поет «Экой Ваня» и «Надоели ночи». Броскин подтягивает пьяным голосом без слуха.

Танька плачет от пения Кузмина и говорит:

— Голубчик мой, почему вы не хотите меня поцеловать.

— Разве ты, блядь, можешь целовать Михаила Алексеевича, — кричит Броскин, — дайте лучше я вас поцелую. Ты знаешь, что такое современная музыка?

Берет Михаила за затылок и крепко целует раз пять, а потом целует ему руки.

Приказчик из лавки Казакова играет на балалайке. Все пляшут. Броскин с женой, подобравшей платье так, что видны черные чулки. Толстая Танька проплывает, подняв руки.

Балалаечник ушел, но Саша буйнит, не хочет спать.

— Ляг, ляг, — говорит жена, — и Михаил Алексеевич ляжет с тобою.

И Михаилу:





— Как он уснет, можете уйти.

Саша соглашается, кладет Кузмина к стенке, обнимает, целует. Не стесняясь, при жене. Михаил тоже пьян и плохо осознает, что происходит. И отвечает на неистовые пьяные ласки Броскина.

Саша засыпает, Михаил дремлет. С кухни слышны крики, ругань, хлопанье дверей.

В комнате пылает лампада.

Саша храпит, положив голову на руки Кузмину. Михаил пытается освободиться. Спросонья Саша царапает его и чуть не кусает, просыпается, видит Михаила рядом, с открытыми глазами, бормочет:

— Недреманное око Господа нашего Иисуса.

Целует и снова засыпает, прижавшись к плечу.

Потом эта сцена почти без изменений переключается из дневника Кузмина в его рассказ «Нежный Иосиф».

А отношения с Броскиным продолжают развиваться. Кузмин бывает у него почти каждый день, они ведут задушевные разговоры. Саша все целуется, причем старается, чтобы никого не было.

— Саша, отчего вы со мной целуетесь? — спрашивает Михаил.

— Оттого же, отчего и вы со мной.

Они собираются ехать вдвоем в Череповец и побрататься, поменявшись крестами. На прощание Саша целует его крепко, долго, не прищуривая глаз. Смотрит ими широко, «словно в безумии».

12 апреля Кузмин везет Сашу в церковь давать клятву против пьянства. Саша стоит на коленях перед иконой Скорбящей, плачет и дает клятву в числе человек еще двадцати пяти. Кузмин усердно молится.

Клятва не помогла. Протрезвев, Саша тут же забыл обет. «Как все слагается неблагоприятно, — записывает Кузмин. — Саша если и не так пьет, то не разом и не окончательно бросил».



А жена Броскина собирается ехать с ними в Череповец. Конечно, Кузмина это не особенно устраивает. Но Саша лежит пластом: то ли опасно болен, то ли беспробудно пьян. А жена за ним ухаживает. «Может быть, это и к лучшему», — заключает Кузмин.

Они начинают собирать вещи. Но все с каким-то надрывом, с пьяным трагизмом, с истериками, ссорами и плачем. После похода за покупками в дорогу Саша засыпает у Кузмина на плече. Входит Татьяна и садится на скамеечку вышивать. Кивает на спящего:

— Это ваш любовник?

— Что вы, Татьяна Васильевна, бог с вами, Саша же женатый, какие глупости.

Татьяна помолчала, потом снова спросила:

— Александр Михайлович ваш любовник?

— Пустяки вы говорите, Татьяна Васильевна, шли бы лучше к себе работать.

— Как же не любовник, — усмехнулась она и, пошатываясь, ушла.

Утром Кузмин вдруг понимает, что ему совершенно не хочется ехать с Сашей в Череповец. У Ивановых планируются вечера «Гафиза», Нувель начал дневник, Сомов пишет портрет Нувеля. Очаровательный Константин Сомов, «все его жесты, слова, вещи так гармонируют, так тонки» и «милы». А у Броскина «вечное пьянство, бутылки, ползающие по всей квартире девицы». Смрад от всего этого «начинает бросаться в нос».

Все же покупает билет, но, придя домой, твердо решает не ехать. Сообщает Саше, притворяясь огорченным. Тот жалеет ужасно занятого друга. На следующий день билет был сдан, и Михаил идет провожать Броскина. Саша зовет скорее приезжать, просит писать, говорит, что может умереть. «Горестно вернулся я домой, где уже все спали, — написал Кузмин, — и, не закусывая, лег спать. И будто все кончилось, все уехали, я один в чужом вдруг городе».



Саша вернулся в начале мая трезвым, загорелым и похудевшим. Кузмину не сообщил. Михаил узнал об этом на следующий день и тут же отправился к Броскину. Саша проверял счета. Сидел у окна со счетной книгой, в одной сиреневой рубашке, еще более желанный, чем до отъезда. Жаловался на неприятности и головную боль, а Кузмин чувствовал себя лишним, не вовремя пришедшим и влюбленным, как мальчишка. Михаил гладил его волосы и тело под рубашкой, трезвое и похудевшее. Броскин провожал его, улыбаясь, с папиросой во рту. Потом вынул папиросу и не спеша поцеловал.

Приезд его не принес желанной радости. «Я очень расстроен, — записал Кузмин, — я ничего не знаю, порою мне кажется, что я не только никого не люблю, но ни в кого и не влюблен».

16 мая. Кузмин у Ивановых. Здесь Нувель, Сомов, Анастасия Чеботаревская. Уютно и весело. Диотима читает «33 урода», Михаил делает коктейли: белое с мускатом, красное с мадерой, бренди, апельсиновый сок, Кюммель. Переходят на французский, потом на итальянский, потом на английский. Чеботаревскую носят на руках и кладут на колени. Все пляшут и целуются. Кажется, все любят друг друга. И только Михаил Кузмин никого здесь не любит и чувствует себя лишним. Он выходит в соседнюю комнату, прислоняется к стене, «с флейтой в руках, в красной бархатной рубашке». Нувель выходит вслед за ним, замечает манерность позы. Кузмин объясняет.

— Ни в кого не влюблен? — удивляется Нувель. — Ты влюблен в Сомова.

— Но это невозможно.

— С Сомовым? Гораздо возможнее, чем ты думаешь. Я могу это очень легко устроить.

18-го Кузмин отправляется в Таврический сад — место встречи петербургских гомосексуалистов. Что бы он



делал без возможности этой «легкой, доступной, ни к чему не обязывающей любви». Но поход неудачен. Два-три приятных лица.

Он размышляет о Сомове: «Я почему-то не могу представить себя влюбленным (или, вернее, в связи) с человеком общества, особенно со знакомым».

В начале июня Кузмин зашел к Саше Броскину. Его жена ушла на рынок, а девицы с прислужгой уехали на осмотр к полицейскому врачу. Саша был один.

Он показался Михаилу сухим и холодным, еще суше, чем обычно, о чем Кузмин и сказал ему.

Броскин вспыхнул, стал уверять, что любит, и целовать «сладко и долго». Михаил не любил так целоваться, предпочитая быстрые и нежные поцелуи.

Саша снял поддевку, тихонько, продолжая обнимать.

— Что вы делаете? — спросил Кузмин.

— Снимаю поддевку.

— А.

Спустили тюлевые шторы. Сняли одежду и оказались на той же постели, где недавно целовались в пьяном угаре при Сашиной жене.

Они торопились, страхась звонка. Фигура Саши напоминала Александра, но по сравнению с ним разочаровывала. Михаилу показалось, что какой-то опыт у него есть, но Саша встал кислым и сконфуженным. Успели до прихода жены. Она пришла веселая и напоила их чаем.

«Это приключение было совсем неожиданно и дало мне гораздо меньше радости, чем можно было ожидать, — заметил в дневнике Кузмин, — и я бы предпочел быть по-старому просто влюбленным в Броскина, но едва ли это возможно».

«Приключение» с Броскиным было утром, а вечером он обещал Константину Сомову и Вальтеру Нувелю прийти к Чернышову мосту полюбоваться на нового юного возлюбленного последнего по имени Вячеслав.



Он сразу узнал юношу по описанию Вальтера Федоровича. Милое, нежное личико, очаровательная фигура эфеба. Прелестен, но Кузмин ждал не его. Здесь должен быть Сомов, с которым еще накануне они объяснялись «жестами любовников-заговорщиков из комических балетов». «Вскоре я увидел милую фигуру Сомова, я его очень люблю, не только как мастера, но как человека и даже больше: я люблю его лицо, его глаза, коварные и печальные, звук его голоса, манеры, воротнички — все проникнуто какой-то серьезной и меланхолической жеманностью».

Родственники Кузмина уехали на дачу в Васильсурск, жить одному тоскливо и дорого. Нувель для сокращения расходов и скуки предлагает переехать к нему. Подумав, Кузмин соглашается.

Переехал 6 июня. Завтракал с Нувелем. К обеду приехали Сомов и Бакст, и все вместе отправились к Ивановым. Вячеслав читал свой сборник стихов «Кормчие звезды», потом вышла Диотима. Спорили о Дон Жуанах и Дон Кихотах. Потом об Уайльде. «Вячеслав Иванов ставит этого сноба, лицемера, плохого писателя и малодушнейшего человека, запачкавшего то, за что был судим, рядом с Христом — это прямо ужасно», — записал Кузмин в дневнике. Не зависть ли это не столь прославленного подражателя? Чем принципиально отличались банщики и Таврические юноши Кузмина от платных мальчиков Уайльда? В русском Уложении о наказаниях тоже была статья 995: ссылка в Сибирь на поселение. Но кто о ней помнил! Строгость российских законов как всегда смягчалась необязательностью их исполнения. Если уж другому активисту «Союза русского народа» великому князю Сергею Александровичу это позволено — то позволено и всем!

10-го Дягилев просил Нувеля прийти в Таврический сад. Кузмин решил присоединиться к другу. Там уже ждал



Дягилев с неким Стасей и кадетом Чичинадзе. На лавочке неподалеку сидели два пассивных гомосексуалиста, на жаргоне — тапетки, от французского «*tapette*» — колотушка. На том же языке банщики именовались «на-ядами», солдаты — «маркитантками», бани — «тепицами», а активные гомосексуалисты — «тетками».

Итак, на лавочке сидели две тапетки. Кузмин тут же обратил на них внимание. Первый юноша был черненький и похожий на еврея, в котелке и черных перчатках. Михаилу он не понравился. Зато второй повыше, бело-брысый, как чухонец, узенькими томными глазами все посматривал на Кузмина.

На следующий день Михаил отправился в Таврический один. Тапетки были на месте. Он заговорил с ними и пригласил ужинать. Поехали в Мариинскую. Шел дождь, окна в трактире были открыты от духоты; светло, но тоскливо. Блондина звали Павел Константинович Маслов. Черненького — Александр Дубровский (или Шурочка). С Павлом Кузмин сел на один диван. Шурочка устроился на стуле. Болтали, пили, ели жареные грибы. Шурочка мрачнел, видя, что для него из встречи ничего не выходит. С Павлом поехали домой. И тот «еще на извозчике... начал доказывать свою “грамотность” и предприимчивость».

Нувель еще не спал и предложил чаю. Но Павел не предупредил хозяйку, что может не вернуться, она будет ждать, а завтра ему вставать на службу, так что от чая отказались, чтобы не терять времени.

И вот они в спальне, при свечах. Лицо Павла, днем желтое и потасканное, на подушке преобразилось, раз-румянившись и помолодев. Ласки, поцелуи. Павел весел, говорлив, смешлив, «не лежит безучастной колодой». Правда, слишком суетлив и замирает в самых невозможных и искусственных позах. Но Михаилу нравится искусственность.

— У вас ебливые глаза, — говорит Павел.



Кузмин воспринимает как комплимент.

Мальчик очень опытен, почти профессионал. Михаил быстро заводится и входит в горячую лошину юношеской плоти. Наслаждение, экстаз, срыв.

Кузмин доволен. Очень. И от искусственных движений можно прийти в возбуждение отнюдь не искусственное.

С тех пор он встречается с Павликом почти каждый день, всякий раз находя его в Таврическом саду.

Он два года в Петербурге, из Вологодской губернии. Почти безобразен, но тем не менее мил. Худ и длинноног. И весел. И Григорий, и Саша, и банщик Александр — все позабыты и отставлены.

Кузмин предупреждает, что из-за денег не сможет видаться так часто, как бы ему хотелось.

— Разве деньги всякий раз нужны, — говорит Павлик.

22 июня. Денег одалживает Сомов. И Кузмин мчится в Таврический сад. Приезжает слишком рано и мучается ожиданием. Павлик с Шурочкой приходят около десяти.

Полнолуние. Луна царит на небе и отражается в водах Невы. Лодки и пароходики, теплая, очаровательная ночь. Они покупают розы. Разного цвета, увядающие, с осыпающимися лепестками, которые остаются на извозчике, на лестнице, в комнате, осыпают дорогу.

— Вы мне сразу понравились, Михаил Алексеевич, — говорит Павлик. — Еще до того, как мы познакомились. Я люблю вас. Можно ведь иметь дело со многими, а любить одного?

Он очень нежен и не хочет уходить. Прощаясь, Кузмин сует ему в карман деньги. Тот не берет.

Через два дня Павлик пришел к Михаилу в новом лиловом галстуке и розовой батистовой рубашке. Весело ужинали, пили. Он остался на всю ночь, спали вместе. И было удобно, несмотря на узкую кровать.



Утром Кузмин накрыл на стол. Пили чай с печеньем.словно «с каким-то родственником, племянником, гостем, милым, услужливым, скромным». И радостно было «угощать, занимать его после любовной ночи — было прелестно».

13 июля Кузмин пришел к Вячеславу Иванову. Был очень грустен. Пел прекрасно и трогательно из Глюка, Моцарта, Шуберта — и все о смерти. Объявил, что едет в Васильсурск к родственникам.

Сказал:

— А может, я и вправду не вернусь?

Вячеслав одолжил 25 рублей и попрощался до встречи на вокзале.

На Николаевском провожающих не пускали на платформу, опасаясь демонстраций по случаю отъезда депутатов Первой Государственной думы. И Михаил с Павликом ждали поезда в привокзальном буфете. Пришел Иванов. Нашел, что у Павлика европейское лицо, как у шведа. «Павлик милый, бледный, с печальными теперь глазами сидел скромно и благовоспитанно», — записал Кузмин.

И вот он в Васильурске. Купания, яблоки, прогулки, походы за грибами, печальное забвение провинциального города. И все мысли о Павлике, о поцелуях, о запахе его тела, о чуть шершавой коже и округлых плечах. И сны о нем или почти о нем. Павлик, пляшущий обнаженным на поляне, высокий молодой человек с белокурыми волосами, рыжеватыми в скрытых местах. И любовь слишком смелая: Кузмин делает то, чего не делал «обыкновенно наяву, и это было приятно».

И ожидание писем.

Письмо пришло 21-го. Павлик писал, что был с Сомовым, что скучает, и звал скорее приезжать. Кузмин не ревновал, даже почти радовался, что он соблазнил Сомова. Очаровательного, милого Сомова...



Через три дня этой тихой и скучноватой дачной жизни случилось событие, вновь заставившее Кузмина вспомнить о планах самоубийства. Он получил от зятя «скорбное, морализующее» письмо. У письма была предыстория. Еще когда Прокопий Степанович уезжал из Петербурга, он предложил Кузмину денег. Утверждал, что они ему пока не нужны, их некуда спрятать, он оставит часть в квартире и укажет где. Когда зять уехал, мучимый безденежьем Кузмин взял деньги, не спросив позволения и оставив записку. «Конечно, это был род воровства», — признался он в дневнике.

Прокопий Степанович нашел записку вместо денег и написал все, что об этом думает. Сам факт, правда, пообещал хранить в тайне, но предупредил, что деньги понадобятся в сентябре.

Между тем дело о наследстве снова отложили, и деньги взять неоткуда.

«Опять мысли о неизбежной развязке смертью, — записывает Кузмин. — Из окна? лететь... только шаг, но какой ужас, какой крик!» Хозяйка дачи Рахиль Семеновна рассказывает, как один юнкер застрелился зимой в Казани. Михаил слушает, «как пьяный».

Только письма от Павлика развеивают тоску, такие нежные, «поцелуйные». «За что мне такое счастье в это лето? — пишет Михаил. — Я никогда не был так счастлив и так полон предчувствий грядущей беды». Но Павлик не пишет несколько дней, и Кузмин снова впадает в отчаяние.

На дороге убитый котенок, словно «крепко, крепко спит». «Если тело чувствует, я думаю, приятно разлагаться, будто расчесывать язвы, будто пролежни, сладкая и томная боль, сладость». И еще: «Когда лежишь на спине и долго смотришь в небо, кажется очень нетрудным умереть».

17 августа — в обратный путь. 21-го — в Петербурге. Тут же приходит Павлик, милый, похудевший, нежный. Но на следующий день зять напоминает о деньгах: не-



чем платить за квартиру. «Но откуда же я возьму 200 нужных ему рублей!» — восклицает Кузмин. Пытается занять у тети Екатерины Аполлоновны, сестры сенатора Кузмина, но она отказывает, долго объясняя, что у нее нет своих денег. Михаил плачет, она смягчается, становится ласковой, поит кофе. Но денег не дает.

«На станции кружилась голова, — записывает Кузмин, — и так падало, так падало сердце, словно перед свиданием. У паровоза такая штука спереди, сбрасывающая с пути, значит, нужно под вагоны? еще раздавят голову. Или вскрыть себе вены? Попросить бритву у Футина, знакомого купца? Побледнеешь, и руки почувствуют разрез. Ах, не видеть Павлика? только это может меня остановить. Какой дивный лес осенью, какие красные, желтые, малиновые деревья...»

Он пишет письма: Сомову, Павлику, Нувелю, Баксту, Ивановым, Чичериным. Просит денег, умоляет, обещает наложить на себя руки... Но приходит Павлик, и изорванные им письма летят в мусорную корзину. «Мне стало ясным, что умирать, пока Павлик меня не бросил, — не стоит», — пишет Михаил. «Друзья считают меня шантажистом, пускающим в ход трагические фасончики, чтобы выудить деньги».

И Кузмин идет к Ивановым читать дневник. Вячеслав тут же предлагает денег. Но уговаривает брать меньше, чтобы не очень обременять, вдруг у Сомова тоже есть. Диотима обнимает и утешает. Приходят деньги из «Весов» за публикацию, и Кузмин тут же отдает долг сестре.

В начале сентября Михаил в гостях у Павлика. Сомов и Нувель считают его возлюбленного «грубым, пошлым и глупым», но Кузмин счастлив от одного его существования. Маленькая комната, окно в сад, на подоконнике герань, чайная роза, бегония. Павлик показывает детские фотографии. Рассказывает о своей семье. У него два брата. Старший, двадцати девяти лет, живет в Мос-



кве с мальчиком, младший — девятнадцати — тоже «грамотный», пока один.

Павлик по-прежнему мил и очень нежен.

А Кузмин влюблен «как никогда, как кошка», и, если Павлика нет, плачет «от любви, ревности и злости». И не может писать, если он не приходит.

В середине сентября Константин Сомов и Павлик в гостях у Кузмина. Павлик целует Сомова, Кузмин читает новую повесть. Пьют мадеру. Ласки Павлика к Сомову продолжаются под чтение кузминского дневника. Вскоре Сомов собирается уходить, но так долго и откровенно целуется с Михаилом на прощание, что Кузмин предлагает ему остаться.

Сели рядом на постель, и Сомов начал снимать пиджак Михаила. Потом раздели Павлика, и он оказался между Сомовым и Кузминым, отвечая на ласки обоих. Михаил целовал Павлика, склоняясь к нему, благоговейно, «как плащаницу».

Павлик «соскочил одеваться». Михаил и Константин остались вдвоем в постели. Причем Сомов так и не снял рубашки, из-под которой поднимался возбужденный член. И рука Михаила тонула в мягкой поросли подле него. И губы сливались в поцелуях, а Сомов ласкал гладкую кожу Кузмина, который любил сводить волосы.

Михаил донизу провожал обоих любовников.

— Неужели наша жизнь не останется для потомства? — спросил он Сомова.

— Если эти ужасные дневники сохранятся — конечно, останется; в следующую эпоху мы будем рассматриваться как маркизы де Сад.

«Сегодня я понял важность нашего искусства и нашей жизни», — записал Кузмин.

На следующий день Михаил зашел к Павлику.

— Как нежно вы целовались с Сомовым, необыкновенно, он мог бы подумать, что вы в него влюблены ужасно, — упрекнул Павлик.



— Что ж, я его и вправду очень люблю — и вы разве не целовались с ним?

— Это другое дело, ты на меня не должен сердиться. А я на тебя могу.

Павлик предложил раздеться, но дверь не запиралась, и они все боялись, что войдет хозяйка. Штору спустили, но говорили шепотом, и Павлик опасался говорить «компрометирующие вещи»: «Дай полотенце!», «Ты готов?»

Павлик проводил Кузмина до Марсова поля, был прост и нежен, только несколько опечален вчерашней нежностью Михаила к Сомову, и эта тень ревности была очень ценна.

17 сентября они встречаются в Летнем саду. Потом едут в ресторан «Вена». Павлик рассказывает о прошлых победах, раздражается и ссорится из-за пустяков. И не та рубашка у Михаила, и не тот галстук, и зачем возвращаются по одной улице, а не по другой, и к чему он говорит о красоте луны и ее отражении в Мойке.

Вечером балет. Там Сомов, которому Кузмин рад, как спасению.

Павлик же заводит еще более опасный разговор:

— Посмотрите, вон граф, я его знаю, и он совсем не богат. Видите, он с молодым человеком, они вместе живут. Таких «браков» очень много, и они не требуют больших денег. Скоро меня уволят со службы, заказ от казны кончается, и я не знаю, где найти место. Да мне немного надо, Михаил Алексеевич. Ну, 30 рублей в месяц.

— Если бы я был богаче, согласились бы вы жить со мной? — спросил Кузмин.

— Я бы и без больших денег согласился!

Кузмин реагирует как старый донжуан на девичьи мечты о замужестве — решает, что отношения исчерпаны. К тому же он без гроша. Деньги, полученные от продажи икон, пошли на раздачу долгов, и ему не хватает даже на бумагу, чтобы писать.

Он посвятил Павлику цикл стихов «Любовь этого лета». Но уже осень. «Для Павлика опасны мечты о со-



вместной жизни; в таких отношениях, без общности интересов и развития, это часто начало конца, — записывает Кузмин. — Во всяком случае, мне кажется, цикл «любви этого лета» замкнулся».

Он еще пленен Павликом, еще привязан к его телу, его подушки еще пахнут его фиксатуаром, но мысли уже полны Константином Сомовым. «Не желала бы я быть твоей симпатией, — заметила сестра Варя, — слишком это кратковременно».

К тому же Павлик постоянно кланчит деньги, причем не только у него, но и у Сомова.

26 сентября собирается общество у Ивановых. Сомов там. Они спускаются по лестнице, обнявшись, а на улице Кузмин плотно прижимает его руку, провожая до извозчика. Они договорились встретиться завтра. «Я был окрылен и страшно молод», — записывает Кузмин.

Сомов выполнил обещание. У Кузмина играли итальянских композиторов и Дебюсси, потом пошли в комнату Михаила. В постели перешли на французский. «Я теперь думаю просто об его лице, глазах, голосе, теле, хотя ценю, может быть, еще больше сознание, что этот чопорный, жеманный Сомов знаком мне и по-другому», — отмечает в дневнике Кузмин.

С Павликом он еще встречается, но тот все понимает:

— Мне кажется, вы собираетесь меня бросить, — говорит он.

Теперь он часто не застает Михаила дома, Кузмин проводит дни в мастерской Сомова. Играет на фортепьяно, читает, рассматривает альбомы живописи, пока Константин пишет картины. Он обожает «эти часы около его работы».

Но вскоре все изменится. Кузмин пишет пьесы и музыку к спектаклям и неуклонно превращается из литератора в человека театра.

МИХАИЛ КУЗМИН — ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА

Вечер у Комиссаржевской. Цветные фонарики со свечами, возвышение для репетиций, специальное место для чтения с высокими красными свечами перед ним. Блок читает пьесу «Король на площади». Он сидит за столом, голова точно между двумя язычками пламени, лицо не склонено над рукописью, только опущены глаза.

Кузмину драма не нравится: скучна и отвлеченна.

Богемная публика пьет чай, закусывает, актрисы разносят яства и угощают, «как какие-нибудь гурии». Но Михаила занимают не они. Он обратил внимание на «англизированного» молодого человека.

— Кто это? — спрашивает Сомова.

Тот пожимает плечами.

Молодой человек подходит сам и представляется:

— Судейкин Сергей Юрьевич, художник.

Судейкин хорошо знает другого художника Феофилактова, иллюстратора «Александрийских песен».

— Передайте ему мой поклон, — просит Кузмин.

И узнает, что его песни уже печатаются.

Павлик надоел окончательно. Кузмин не решается прямо порвать с ним, а намеков тот не понимает. Но «на



пороге расставания с Павликом» он «легок и окрылен, даже без денег».

В конце октября Павлик уезжает из Петербурга. Перед отъездом заходит к Кузмину и снова просит денег. Михаил отдает все свои и занимает 5 рублей у зятя. Выходит проводить Павлика, «уходившего с чемоданом, в потертом пальто с поднятым воротником, никем не провозжаемого, заброшенного... нелюбимого». И вся нежность к бывшему возлюбленному вновь оживает в нем, и стыд за то, что он его выгоняет.

Но это ничего не меняет.

На следующий день Кузмин у Сомова. После обеда садятся на диван, переговариваясь и целуясь. Поцелуи становятся все более страстными, а ласки откровенными. Наконец, Сомов предлагает пойти в мастерскую, прихватив с собой подушку.

Высокие окна, васильковые обои, старинная мебель красного дерева и фарфоровая статуэтка на комод: Дионис с гроздьё синего винограда среди ярко-зеленой листвы. И здесь же мольберт с незаконченной картиной, холсты у стены, творческий беспорядок мастерской художника: краски, масло, грязные кисти в банке с водой.

Рубашки упали на стул и спинку дивана. Два мужских тела сплелись, стремясь проникнуть друг в друга, слиться, смешаться, как краски на палитре. Острая плоть одного во влажных объятиях другого.

Встали удовлетворенные.

Спустились вниз, рассматривали галстуки Сомова.

— Миша, бери вот эти. Тебе нравятся?

Пока Сомов одевался, Кузмин играл на пианино. Потом пили чай.

Домой Михаил возвращался пешком, была прелестная почти весенняя погода, мягкая и тихая. Он думал о том, какое счастье быть вместе с Сомовым: мечтать, думать, писать.



Прошло три дня. Снова вечер у Комиссаржевской. Комнаты декорированы Судейкиным: голубое ажурное полотно окутывает сцену, как сеть или паутина, невзрачная кушетка закрыта ярким ковром, свечи на покрытом сукном столе. «Очень хорошо», — замечает Михаил. И сам Сергей Юрьевич «очень милый, ласковый и не трусливый». Федор Сологуб читает трагедию «Дар мудрых пчел». Трагедия скучновата, и читает Сологуб, как «архиерей на двенадцати евангелиях». Брюсов декламирует стихи. Кузмин поет из «Александрийских песен». Судейкину, кажется, понравилось.

Сомов усталый и скучный. Накурено. Голова болит от дыма папирос. Подходит Судейкин.

— Позвольте сделать с вас набросок. Я хотел бы написать ваш портрет.

Говорят, что Судейкин от него без ума и готов заложить душу. «Едва можно верить таким счастливым вестям! — записывает Кузмин. — Неужели такая неожиданная радость?»

Самый конец октября. У Кузмина в гостях поэты, художники, музыканты: Городецкий, Гофман, Судейкин, Феофилактов, Нувель. Феофилактов и Судейкин засиживаются допоздна. Сергей Юрьевич все уговаривал Феофилактова уходить, но тот назло оставался.

Наконец, Судейкин сел в кресло и сказал:

— Ну, я остаюсь, на сколько тебе угодно, и отвечаю правду, на какие угодно вопросы, и первое, что я скажу, что я не знаю человека более талантливого, чем Михаил Алексеевич, и все время буду это говорить.

Николай Петрович Феофилактов принял игру:

— Ну а любишь ли ты Михаила Алексеевича?

— Люблю, — ответил Судейкин.

— Как?

— Как угодно.

— Всячески?



- Всячески.
- А я, думаете, люблю вас? — спросил Кузмин.
- Любите.
- Отчего вы это думаете?
- Я это чувствую.
- С каких пор?
- С первой встречи.
- Вы знаете, что я вас не люблю, а влюблен в вас?
- Знаю, — ответил Сергей.
- Вас это не удивляет?
- Нет, только я не думал, что вы будете говорить при Николае Петровиче.
- Вам это неприятно?
- О нет, — сказал Судейкин.
- А если бы я не говорил?
- Я бы сам вам сказал.
- Первый? — спросил Михаил.
- Первый.
- И вам не жалко, что это сказал я?
- Нет, я очень счастлив.

Феофилактов слушал как ни в чем не бывало и, наконец, сказал:

— Давно так приятно не проводил вечера, как сегодня. Приятнейший вечер в Петербурге!

На следующий день Кузмин поехал к Сомову. Там сплетничали, что Сомов отбил Кузмина у Нувеля. К Судейкину Константин не ревновал:

— Я ожидал, что ты в него влюбишься.

Стал хвалить Сергея Юрьевича и одобрять выбор Михаила, однако казался обиженным.

Кузмин решил посвятить Судейкину «Весну» — первую часть цикла песен «Куранты любви». Они выйдут в издательстве «Скорпион». Судейкин взялся за оформление.

В начале ноября Судейкин у Кузмина. Ласки, поцелуи, объятия. Михаил уже доходит до крайнего возбуждения, но Сергей отстраняет его.



— Не надо. Я сам скажу, когда будет пора.

Он рассказывает о своей семье. Из бедных дворян, дед увлекался охотой, собаками. Двенадцать детей. Жена идет молиться на перекрестке трех дорог — просит Бога, чтобы не было больше детей. Они умирают один за другим, кроме одного, отца Сергея — Георгия Порфирьевича Судейкина. Последний становится жандармским подполковником, заведующим агентурой Петербургского охранного отделения. Народовольцы приговаривают его к смерти и убивают в декабре 1883 года.

Судейкин знал трех женщин, первую — в двенадцать-тринадцать лет. И сейчас считает, что отвергнуть их любовь можно, только познав ее. Был любовником Дягилева и директора Товарищества Воскресной мануфактуры Якунчикова.

— Все любившие меня гибнут, — сказал он. — Но от третьего.

Он перечислял жертвы, называл по именам.

— И вы погибнете, Михаил Алексеевич. Через 5 лет. Оба мы несем зло и яд. Это общее, что нас связывает.

Полутьма, горят свечи, звучит музыка. Вечер этот напоминает сон, фантасмагорию с примесью ужаса и мистицизма. Судейкин безумно нравится Кузмину, он очаровывает и пугает, иногда его глаза «страшат вдруг закрытостью, занавешенностью, отсутствием, мертвостью». А страх перед завершением ласк отдает достоинством, излишним психологизмом или кокетливым капризом. На следующий день они едут в театр Мейерхольда. Сергей пишет для него декорации, Кузмин надеется на постановку «Курантов любви» и отдает Мейерхольду «Весну» и «Лето». Они вместе бродят по фойе, мастерским, лестницам, разговаривая по-французски и едва отвечая актрисам. Судейкин провожает Кузмина до извозчика. «Думаю, чтобы не целоваться при всех на прощанье», — замечает в дневнике Михаил.



8 ноября именины Кузмина. Приглашены друзья, в том числе Сомов и Судейкин. Пьют чай. Сомов поет. Судейкин спрашивает, где можно вымыть руки. Это означает согласие на секс. Они покидают зал, уходят в комнату Михаила. Поцелуи Сергея очаровательны и вкусны.

Наконец, встают. Кузмин широко крестится.

— Что вы делаете? — спрашивает Судейкин.

— Благодарю свою икону, что она исполнила мою просьбу, давши вас мне.

Михаил опускается на колени, склоняется до пола и благоговейно целует ботинок возлюбленного.

Судейкин обещал остаться после всех, но начал собираться раньше.

— Мы делаемся ходячим анекдотом в театре, — заметил он на прощание.

На общество «Башни» Судейкин произвел отталкивающее впечатление. Лидия Дмитриевна слов не находила для возмущения: «надутый денди, московский декадент, чванный, глупый и толстощекий». Нувель заметил, что Судейкин очень странен и подражает Дягилеву, «его кумиру», и его надо избавить от декадентской позы.

В конце ноября Судейкин снова у Кузмина. Михаил читает стихи и дневник. Переходят к поцелуям и объятиям, и вот постелена постель и потушены свечи. И снова плоть входит в плоть, даря несказанную радость.

Потом ели котлеты, пили воду с вареньем. «Я безумно его люблю», — записал Кузмин.

Судейкин собирается на две недели домой, в Москву, и зовет с собой Кузмина. Рассказывает о розовом доме с голубыми воротами, о своих комнатах, родственниках, знакомых и собаках. Михаил счастлив. Да, конечно, он поедет в Москву с милым Судейкиным!

Но на следующий день идиллия кончается, и начинается нечто странное. Кузмин заходит к Судейкину, но того не оказывается дома, швейцар советует искать в театре.



Там, в мастерской, один Сапунов, на мольберте — осенний пейзаж, красные малиновые, золотые маски ложатся на холст. Кузмин говорит тихо, упавшим голосом, Сапунов о Судейкине ничего не знает, но приглашает заходить. Михаил мчится обратно, в номера. Швейцар говорит, что Сергей Юрьевич собирался сегодня ехать в Москву. Как же так? Не прощаясь! Без предупреждения!

И все! Ни телефонных звонков, ни писем!

Так, в неизвестности, проходят два дня. «Я так скучаю, так люблю Судейкина, что мне почти до реальности мерещатся его фигура и лицо, — пишет Кузмин в дневнике. — Давно я не чувствовал такой смерти в душе. Какая любовь! какая любовь!»

Михаил просит Нувеля пойти в театр и рассказать, как он страдает.

А сам уезжает в салон к поэтессе Вилькиной, потом к художнице Остроумовой. Наконец, возвращается. На столе стоит святочный домик из прозрачной цветной бумаги. Михаил зажигает свечу и ставит внутрь. На стены падают красноватые и золотые блики.

Судейкин сделал то, что и должен был сделать: тут же примчался к нему, но не застал дома и оставил подарок. Попытался узнать, где Кузмин, чтобы позвонить ему, но никто не знал, где он. Михаил почти счастлив. Он не забыт!

Через день, в воскресенье, они снова вместе. Михаил опьянен счастьем видеть, слышать, целовать и иметь своим «ненаглядного Сергея Юрьевича». Судейкин страшно бледен, у него рыжеватые волосы с темно-золотым отливом и маленькие усики над верхней губой. Чай, чтение дневника, поездка к Сомову, поцелуи у двери, почти при прислуге, обещания писать каждый день. «У меня мысль написать цикл, аналогичный «Любви этого лета», Судейкину. Как я счастлив, как я счастлив, как я счастлив!» — записывает Кузмин.



В его жизни действительно счастливая полоса: «Крылья» будут опубликованы и займут целый номер «Весов», дело о наследстве, наконец, выиграно и, видимо, скоро будут деньги, и «утонченный художник, слава грядущего, очаровательнейший юноша позволяет любить себя!»

Но Судейкин все же уезжает в Москву, и теперь настоящему.

Письмо приходит только через неделю, 10 декабря. Ночью, при свечах, Кузмин пишет ему нежный, полный любви ответ.

И писем снова нет. Проходит неделя, две. «Я не заслужил такого великолепного презрения!» — восклицает Кузмин. Ему чудится фигура Сергея, лицо, голос, рука под его рукой. Он мечется как угорелый, как безумный, не находя покоя, не в силах избавиться от своего «ясновидения». «Что мне делать? — пишет он в отчаянии. — Любовь, как ты наказываешь верных тебе!»

Письмо приходит только 26-го. И такое, что для Кузмина это «потяжелее смерти князя Жоржа»: «Мое молчание считаю извинительным; теперь я спокойнее. Я жеманюсь на О.А. Глебовой. Шлю вам привет, мой дорогой друг. Если бы вы приехали, мы были бы очень рады».

Ольга Глебова — актриса, художница, танцовщица. Они столько раз встречались с ней за кулисами театра, ни в чем не подозревая друг друга! «Быть так надутым! — сокрушается Кузмин. — Но отчего такая легкость? разве я совсем бессердечный? Вчера еще я мог броситься из окна из-за него, сегодня — ни за что».

В жизни Кузмина возникает вакуум, который скрашивают только визиты полузабытого Павлика, сводящиеся к сексу и денежным расчетам, и поездки в «теплые края», но там нет «солнцеподобного» банщика Александра, а встречает широколицый со шрамом на лице, зато веселый и на все готовый Степан.



Есть еще Николай Сапунов — почти одних лет с Судейкиным и тоже театральным художником, работающий с ним в одной мастерской, так что их часто путают, но отношения с ним остаются в рамках дружеских и деловых: Сапунов пишет портрет Кузмина.

«Как я страдаю от невлюбленности!» — восклицает Михаил в дневнике.

Но уже в середине февраля в жизни Кузмина появляется еще один молодой человек — юнкер Николаевского инженерного училища Виктор Наумов. Сначала это легкие, ничего не значащие встречи в богемных салонах, у Ивановых, у самого Кузмина. Но 24-го Виктор признается, что накануне прочитал «Крылья» и просит Кузмина встретиться наедине и поговорить без свидетелей. Михаил соглашается, видимо, пока без всякой задней мысли, однако замечает, что в Наумова безумно влюблен Нувель.

Откровенный разговор состоялся 8 апреля. Оказалось, что описанное в «Крыльях» волновало Наумова всю жизнь. И теперь он ищет друга, с которым можно посоветоваться. У него кто-то есть. «Меня, признаюсь, несколько укололо, что это не меня он любит», — записал Кузмин. Кого? Нувеля? Или кого-то из своих товарищей?

23-го он снова у Кузмина. Сидит совсем близко, кладет руку ему на плечо: «Можно бы недурно провести время, будучи другом Уайльда». Но пока этим и ограничивается: кокетство и откровенность.

На пятый день получил от Наумова письмо, душевное и полное ожиданий «большого и многого». «Нужно заставить его считать себя моей музой», — отмечает Кузмин.

Следующее письмо еще откровеннее: «Дорогой мой поэт, если бы Вы не разрешали мне, то были бы моим». Не разрешали быть с другими?



3 мая. У Кузмина Павлик. При нем приходит Наумов. Михаил бросается в переднюю и, не давая ему опомниться, целует руку:

— Благодарю вас за ваше письмо!

Виктор растерян, даже шокирован. Они проходят в комнату Кузмина, он читает новый рассказ «Об Алексее, человеке божьем».

26 мая Кузмин уезжает к сестре в Окуловку; там, на бумажной фабрике, служит его зять Прокопий Степанович — ученый-лесовод. И снова спокойная деревенская жизнь: цветущая черемуха, яблони, чай на веранде, огромный дом, сад, прогулки по лесу и походы за земляникой. И переписка с Наумовым.

В конце июля Кузмин отмечает, что Наумов «долго и странно» не пишет.

11 августа, наконец, письмо, «смутное и тревожное», «несколько писем не получал, скучает, надоело». И только через десять дней — еще письмо.

В конце августа Михаил снова в Петербурге.

Еще весной он договорился переехать в комнаты художницы и организатора художественных школ Елизаветы Николаевны Званцевой. Последняя ее школа, основанная всего год назад, расположена в доме номер 25 по Таврической улице, непосредственно под «Башней» Ивановых. Именно туда и переселяется Кузмин.

Заходит к ней, но Званцевой нет дома, и он отправляется в бани, к Степану, а потом перекусить в ресторан «Вена», где тут же попадает в объятия критика и прозаика Петра Пильского, писателя Анатолия Каменского и журналиста Петра Маныча.

Они пьют кофе с коньяком, делятся петербургскими сплетнями.

Маныч откровенничает:

— Мы, начитавшись вас, с художником Трояновским захотели попробовать. Во время объятий и поцелуев было



ничего, а как стали вставлять и двигать — так все опадало, и ничего не выходило.

Кузмин прячет улыбку.

Его приглашают на какой-то литературный вечер, угощают фруктами, заставляют играть на пианино, петь и декламировать.

Домой вернулся в десять утра.

С Наумовым увиделись только 8 сентября при Нувеле и Дягилеве. Виктор похорошевший, веселый, милый. Но такой же скромный. Только поцелуй при встрече и поцелуй на прощание.

Следующая встреча только через пять дней. И снова откровенный разговор. Наумов любит «совершенной любовью» другого, но допускает и другую любовь.

— С тем, кто старше вас? — спрашивает Кузмин.

— Да, возможно.

— А как вы относитесь ко мне?

— Боюсь. Ни люблю, ни не люблю.

«Был очень мил, желанен и близок, — записывает Кузмин, — но что-то стоит между нами. Я бы никогда не позволил себе с ним ни малейшей фривольности... Какое было бы безмерное счастье и источник радости и творчества, если бы он позволил себя любить!»

Имя возлюбленного Наумова вскоре становится известным Кузмину — это поэт и литературовед Модест Гофман. Как же ему завидует Михаил! Модест может делать Виктору семейные сцены, трогать его, быть с ним, целовать на прощание!

Кузмин предлагает Наумову прочитать свой дневник: теперь все или ничего, или больше не видеть его, или быть вместе: «Я ставлю все на карту, огромное счастье, безмерное солнце и вдохновение... Теперь я понял, что для меня Наумов и как люди могут умирать не от детского легкомыслия, не от безденежья, а от отвергнутой любви... После смерти князя Жоржа, после измены Су-



дейкина у меня не было надежды, где бы вкусы, развитие так совпадали».

22 сентября — тот самый решающий день. Кузмин читает дневник Наумову.

Виктор плачет. Они целуются.

— Я люблю вас, — говорит Наумов, — люблю, что бы вы ни говорили потом. Не боюсь и люблю. Я не мог бы существовать без вас.

Они обещают часто видаться, и поцелуи выматывают больше, чем «три ночи любви».

И Михаил не спит ночей, «туша и зажигая свечу, читая, плача, мечтая, умирая».

В субботу Кузмин купил папирос и конфет. Для Наумова, тот обещал прийти.

Придя, сказал:

— Мне тяжело, что я причиняю вам боль, но ничего поделать не могу.

И поцеловал Михаила несколько раз. Пригласил к себе, обещал познакомить с сестрами. С Модестом он давно уже не виделся, но все поцелуями и кончилось. Любовь этой осени обещала остаться платонической, несмотря на обещанные частые встречи.

6 октября день рождения Кузмина. Наумов принес вино, но не сразу признался в этом. Бегали в темноте вниз, искать штопор. Виктор ласков, нежен, трогателен. Они пьют, смеются, плачут, целуются. Воздух вливается в открытое окно. Тепло, словно не Петербург, а Рим. «Сегодня не только день рождения, но и крещенья, но и обрученья, — записал Кузмин. — Я со слезами благодарю Небо, пославшее мне такое счастье. Виктор Андреевич благословил меня на любовь к нему, чистую и уничтожающую всякие другие амуретки».

Но проходят дни, и любовь остается все такой же чистой. И она не для Кузмина, как бы он ни пытался убедить себя в обратном. Ах, если бы Виктор Андреевич



был с ним! Но ведь он знает его поцелуи, его объятия, он гладил его руку — разве он не счастливый человек? «Сегодня сам себе дал обещание чистоты», — записывает Кузмин.

И уже спустя неделю оказывается в «теплых краях» на 9 линии. Вместо Степана — Матвей — большой сквернословец, но веселый и неплох телом. «Теплота, доступность, род бардака — приятны». Однако какой цинизм, особенно при «чистой» любви к Наумову. «Цинизм Шекспира».

Тем временем Вальтер Федорович Нувель признается в любви Наумову. Виктор целует Валечку на прощание. Кузмин не находит себе места от ревности: «Смерть в сердце: любовь, прощай! друзья, прощайте!»

А Наумов начинает назначать свидания им обоим, аккуратно разнося по времени. А то и приглашает их вместе. Ни радости, ни гордости от таких приглашений Кузмин не испытывает, и уже рад отдалиться от этого юноши, который «желает всех осчастливить».

А что же другой соперник, Модест Гофман? Полный, со спотыкающейся походкой, «будущий паралитик». Кузмин встречает его у Ивановых.

— Мы давно не встречаемся с Наумовым, и я не хочу его видеть, — говорит Модест. — Давайте напишу ему несколько слов в вашем письме.

Кузмин спустился к себе, в комнаты Званцевой, и посмотрел, что Гофман написал для Виктора: «Целую тебя; скоро надо будет тебя видеть, очень скоро, но не сейчас... Если ты в силах и знаешь, откуда эти силы, помоги Кузмину». «Как мне помочь? — удивляется Кузмин. — Только отдалиться».

Вечером прибежал Гофман и попросил дописать к записке несколько слов. Но написал новую: «Дорогой, люблю тебя и целую. Скоро тебя увижу...» — «Не совсем то же самое», — заметил Кузмин.



7 декабря к нему заходит восемнадцатилетний начинающий литератор Сергей Позняков. И остается допоздна «с твердым намерением довести дело до конца». И доводит. В рубашке и без пенсне у него вид почти мальчика. Пьют и закусывают не одетыми. Сергей не требует ни преданности, ни чистой любви. Времяпровождение — ничего больше. Постельная гимнастика.

Расстались в 4 часа утра. «Вот случай, — с некоторым удивлением записал Кузмин. — Но не скажу, чтобы это было без приятности».

Через день чистоту его любви к Наумову ждет новое испытание. Михаил сидит дома, никуда не выходит, скушает, позирует художницам из школы Званцевской, Иванов занят, вдохновения нет.

Вечером он придумывает себе развлечение. Пишет записку Гофману: «Милый Гофман, спуститесь сейчас минут на десять, мне страшно, зову Вас, т.к. период Вами мне не стыдно».

Модест спустился немедленно. Объятия, пощелуи.

— Да, да. Все знают, что вы меня любите! — говорит Модест.

Темная комната, они на диване, Гофман верхом на Михаиле, последний в его объятиях, плачет, клянется в любви к Наумову:

— Что бы вы ни слышали, что бы вы ни видели, что бы я сам ни говорил про себя — моя душа всегда чиста, я не изменяю своей любви.

В этот самый момент вошла Фима — служанка Званцевой, видимо, привыкшая ко всему, и передала Гофману записку от Иванова.

Модест поднялся на «Башню», потом прибежал опять, страстно терся животом о живот Кузмина и «пытался его изнасиловать». Последнего это не особенно возбуждало, так что легко было представить себя совсем мудреным и чистым. Модест пообещал приходить каждый



день. «Я бы без этого обошелся», — записал Кузмин. Он узнал главное: Наумов говорил Модесту, что любит его, Кузмина, и потерять не может, вначале мог бы отдаться, но боролся, а теперь, любя глубже, не может. Но ведь все меняется...

11 декабря у него в гостях еще один молодой человек — двадцатилетний поэт Петр Петрович Потемкин. С ним племянник Кузмина и тоже начинающий писатель Сергей Ауслендер и уже привычный Модест.

Все уселись на диван и начали щупать друг друга. Свечи потушили. Кузмин стал целовать Потемкина и «наконец нащупался до конца при всем честном народе, хотя и в темноте».

Прощаясь, спросил Петра Петровича:

— Вы не сердитесь?

— Нет, я был рад.

«Вот так случай», — записал в дневнике Кузмин.

Это было время после смерти Лидии Зиновьевой-Аннибал, когда на «Башне» царила Анна Рудольфовна Минцлова. Ясновидящая не обошла вниманием и Кузмина и решила вмешаться в его платонический роман с Наумовым.

Она зашла к нему. Утешала, целовала в лоб.

— Завтра расскажете мне о вашем свидании с Виктором.

«Может быть, я действительно на новой дороге», — размышлял Кузмин.

Еще в конце октября Наумов потянул связки при верховой езде и попал в лазарет юнкерского училища. Кузмин навещал его. И теперь Виктор снова болен.

— Мы будем видеться каждый день, — говорит Наумов. — Это и мой путь.

Его губы касаются рук Михаила, по щекам текут слезы.

— Да, я могу помочь вам, — говорит Виктор.

Жмет руки, на клочке бумаги пишет: «Мишенька, Мишенька».



«Это, конечно, лучшая помощь, но достаточная ли? но такая сладкая», — записывает Кузмин.

Они действительно видятся почти каждый день. Михаил навещает Виктора в лазарете. Но не всегда есть возможность даже для поцелуев: сидит дежурный юнкер.

А к Кузмину приходит поэт Потемкин (чтобы еще раз побыть с ним) и литератор Позняков, ставший бесконечно ближе «после обладания».

29 декабря Кузмин возвращается из училища с очередного свидания с Наумовым. Сначала позирует «девам» в художественной школе. Потом заходит к себе. И застывает на пороге. У окна стоит ангел в золотисто-коричневом плаще, солнце играет на золотых латах, сияющее лицо то ли Виктора, то ли князя Жоржа. Это яснейшее видение продолжается секунд восемь.

Перед сном Михаил читает молитву.

С этого дня, а может быть, еще раньше с момента поцелуя Минцловой в мир Кузмина вливается мутная мистическая струя и на некоторое время становится главным течением в жизни.

5 января он у сестер Герцык. На полках Блаватская и Генрих Беме, на столе цветы. Кузмин поет, читает стихи. Его слушают, стоя на коленях, так же, как дилетантскую, но вдохновенную игру самой Минцловой и ее мистические толкования.

Видения повторяются, и Михаил, наконец, решает их записывать.

Он просыпается ночью и видит всю комнату розовой. Дверь открыта, сильный запах аниса и резеды.

У Ивановых, на одной из сред ему чудится Виктор Наумов с чем-то в руках. И яркий коричневый свет. Михаил ходит по квартире, словно сомнамбула, отстраняя всех. Подходит к Вячеславу, наклоняется к его руке, плачет. Вячеслав молится, сам склоняется к нему, целует руки.



«У меня с Виктором есть мистическая связь», — решает Кузмин.

Михаил просыпается при ярком солнце, звоне колоколов и звуках труб. Снова засыпает. Наутро оказывается, что ничего не было: ни солнца, ни колоколов, ни труб.

Наяву видит, как на синем платке появляются золотые древнееврейские буквы. Вдруг, не зная иврита, понимает две первые строки:

Одежды новые
у моря золотого.

Лидия Зиновьева-Аннибал в облачении византийской императрицы сидит в большом зале, вмещающем человек пятьдесят в разных одеждах и с туманными лицами. За спиной у нее окно с прозрачно-синим ночным небом. У нее живые открытые глаза и живые краски лица, хотя известно, что она умерла. Жгут ладан. Кусок ладана падает на пол и рассыпается золотыми опилками. Среди них — золотые колосья. Вячеслав поднимает колосья и горстями берет золотой песок. Из кадьницы струится клубами дым и заполняет комнату. Диотима поднимается с кресла, заслоняет окно и превосходит всех ростом. Все в густом розовом сумраке.

Михаил просыпается, но запах ладана и наяву преследует его.

Его мучают странные головные боли, вдруг начинающиеся и мгновенно проходящие.

Он не единственный мистик в среде петербургской богемы. Модест даже по телефону боится звонить, не посоветовавшись с астрологом, Макс Волошин занимается гипнотизмом и рассуждает об оккультизме, а Вячеслав увлекается масонством (в которое будет вскоре посвящен) и розенкрейцерами. Формулы последних дает Кузмину, и тот начинает медитации.

И все со слезами, с надрывом, на грани жизни и смерти.



Сначала заболевает Минцлова. Все опасаются за ее жизнь. «Какое смятение, какой трепет, — волнуется Кузмин, который совсем недавно не испытывал к этой похожей на каменную бабу, бесформенной женщине ничего, кроме отвращения. — Что мы будем без нее делать?»

Потом заболевает Виктор Наумов. Он снова в лазарете. Тиф или инфлюэнция. Третий день температура под сорок. Кузмин пугается за него, весь в смятении и тревоге. Инфлюэнция у Виктора началась обмороком после молитвы, совпавшим по времени с последним видением Михаила. «Мне кажется, Виктор Андреевич не выживет», — пугается он.

К Виктору пускают минут на пять, как раз время медитации о розе. И он сам лежит, «сгорая в огне, как таинственная роза». Неужели умрет?

На следующий день выясняется: все-таки тиф. К Виктору не пускают. Михаил видит его во сне, на лужайке, босого, с руками в жесте благословения, как у Богоматери Оранта.

Мать Наумова переезжает к нему в лазарет и берет сиделку.

У Михаила снова видение: две розы и поток крови из его груди на пол.

8 февраля. Виктору лучше. Температура 38. Он разогнал и мать, и сиделку.

У Ивановых Анна Рудольфовна играет «Крейцерову сонату», и Кузмин уверен, что Наумов слышит эту музыку. «Местами мне казалось, что это я лежу в жару и издали слышу Бетховена, а не он», — пишет Михаил. У него болит грудь, там, откуда в видении шла кровь.

16 февраля день рождения Вячеслава Иванова. Кузмин, конечно, там, на «Башне». К нему подходит Минцлова, зовет в свою комнату:

— Отрешитесь от окружающего. Надо устремиться к одному, уйти, подняться.



И обнимает его.

Холод и страх. Густая пелена. Сквозь нее Михаил видит Виктора. Живого, румяного, будто спящего. И еще меч и обрывки пелен, в которые заворачивают мертвых.

Последнее видение преследует его весь вечер.

22-го Кузмина наконец пускают к Наумову. Тот слаб и страшно похудел, но жив, и ему больше ничего не угрожает. На столике — цветы и бутылка токайского. Врач принимает Михаила за его брата.

На следующий день Кузмин едет к Наумову с Минцловой. Виктор ей очень нравится.

Однако роман с Виктором с этого момента постепенно сходит на нет, и место Наумова в сердце Кузмина занимает Сергей Позняков, тот самый похожий на мальчика юный литератор, который когда-то пришел к Кузмину «с твердым намерением довести дело до конца».

В мае он почти живет у Кузмина. Михаил счастлив. Мечтает поселиться с ним: работать, читать, пить, есть вместе — какой восторг!

В середине мая 1908 года Михаил переезжает на «Башню», к Ивановым, поскольку художницы Званцевой разъезжаются на лето, равно как и хозяйка, а жить без стола и прислуги нищий поэт не привык. Размещается в бывшей комнате Зиновьевой-Аннибал. Широчайшая кровать, открытое окно, далеко внизу — первая зелень Таврического сада. Прогулки с пятнадцатилетним пасынком Вячеслава — Костей Шварсалоном, который по примеру Кузмина начинает подводить себе брови. Но к нему еще относятся как к ребенку. В дневнике Михаила теперь регулярно возникает загадочная запись «тушили Костю» — это значит гасили свет во всей квартире и укладывали его спать.

Вячеславу не нравится Позняков, и он уговаривает Михаила вернуться к Наумову. «Если он и дальше будет



так относиться к Познякову, не особенно приятно будет у них жить, — сокрушается Михаил, — но все равно выгоднее, чем у чужих».

Тем временем в жизни Кузмина происходит еще одно немаловажное событие: его книгу «Три пьесы» арестовывают «за порнографию». По приговору суда Кузмин обязан заплатить 200 рублей штрафа или месяц отсидеть в тюрьме. Денег, как всегда, нет. «Может, сесть, как-нибудь потихоньку», — размышляет Михаил. Ивановы организуют подачу апелляции, поднимают на ноги знакомых, вспоминают о своих связях. «Лучше бы доставили 200 рублей и отпустили с миром», — ворчит Кузмин.

Еще в апреле в Петербург приехал немецкий поэт Иоганнес фон Гюнтер и привез свою пьесу «Очаровательная змея», дабы завоевать ею мир. С ним приехала миловидная девушка, которую он прочил на главную роль. Первую читку устроили у Ивановых для Вячеслава, Сомова и Кузмина. Вячеславу пьеса о злоключениях влюбленных за многие века показалась неубедительной, зато Михаил предложил перевести ее на русский язык. И самоотверженно переводил каждую ночь. Ганс сидел рядом, разъяснял темные места и параллельно переводил на немецкий «Куранты любви» Кузмина.

Гюнтер оставил восхищенное описание своего переводчика: «Михаил Кузмин был на одиннадцать лет старше меня. Среднего роста, изящный, с незабываемой греческой головой. Линия лба продолжалась в очертаниях благородного носа, а большие коричнево-золотистые глаза чуть-чуть косили (индийский идеал красоты). Он носил тогда эспаньолку; редкие темные волосы были искусно уложены на голове. Одевался он, как денди, великолепно; у него были маленькие ступни и красивые руки. Он довольно быстро говорил, при этом речь его иногда становилась шепелявой и неразборчивой, а свои фразы он часто заканчивал лукавой усмешкой и добав-



лял: "Что? Что? Что?" Он был бесконечно любезен и глубоко жизнерадостен».

«Уж, не влюблен ли он в меня? — предположил Кузмин. — Гюнтер мне очень надоел».

27 мая. Костю уложили спать, и он притворился спящим, чтобы посмотреть, что будет дальше. В комнате Гюнтер и Кузмин. «Гюнтер старательно, но тщетно валил меня на Костю, — записал Кузмин. — А Костя прижимался и целовал. Но тем и кончилось».

Зато Гюнтер обвинил Кузмина в холодности: да, он тот поэт, которого ждали, но как человек не пламенный, не идет до конца, слишком рассудительный.

Родственники снова зовут в Окуловку. Кузмин собирается ехать. Гюнтер устраивает скандал, то ли объясняясь в любви, то ли «шарлатаня мистицизмом и видениями».

Через два дня Кузмин уезжает. Перед отъездом Гюнтер идет с ним в кафе.

— Вы не должны ехать, — заявляет он. — Едемте со мной, к Сиреневой, вы очаруете ее.

Сиренева или Сиреневая — актриса, знакомая Гюнтера. И речь о постановке его пьесы.

Ганс плачет, целует Михаила, становится перед ним на колени.

— Заклинаю вас любовью к Сергею Сергеевичу!

Пообедали. Вернулись домой. Надрывная сцена продолжилась.

— Гюнтер, я уйду, — наконец, сказал Кузмин, — не ходите за мною, через полчаса я скажу вам решение.

— Аббат, не делайте этого, это страшно.

Аббат — это гафизское прозвище Кузмина, как и Антиной.

— Ждите меня, — приказал Кузмин.

Подумав полчаса, он вернулся и запер двери на ключ.

— Не говорите, возьмите перо и бумагу, пишите. Это тайна.



То, что ему продиктовал Кузмин, напоминает рекомендации наемного колдуна: поехать в Миттаву, встречаться с актрисой в определенные числа, думать об одном и том же простом предмете, например цветке. Если это цветок — носить его.

— Я дам вам вещь, не имеющую особой ценности, но все время носите ее с собою, — заключил Михаил. — Встаньте, не касайтесь меня и не противьтесь.

И поцеловал ему лоб, глаза, уши, руки, ноги и сердце.

На этом и закончилась история с Гюнтером — еще один кратковременный мистический роман-фарс, повторивший высокую трагедию с Наумовым.

Немецкий перевод «Курантов» вышел спустя тринадцать лет в Мюнхене небольшой, красиво оформленной книжечкой. А рукопись перевода пьесы Ганса, сделанного Кузминым, погибла во время бомбардировки Мюнхена в 1944 году.

Но вернемся в 1908 год. 1 июля Кузмин уже в Окуловке: мучается от безденежья и отсутствия денег на штраф, тоскует о Познякове, мечтает пригласить его к себе.

От Познякова приходят телеграммы: «Люблю, целую, желаю».

А в Окуловке говорят, что шпионом фабричной полиции занесено в книгу: у Прокопия Степановича Мошкова гостит странный господин, женящийся только на мужчинах.

В конце августа приходит телеграмма от Ивановых: «Башня открыта вам одним». То есть без Познякова! «Как удар бича по лицу!»

И сестра не понимает намеков о приглашении Сергея. Догадывается только в начале сентября:

— Кажется, кто-то хотел заехать к тебе?

— Да, Сергей Сергеевич.



Она не возражает!

И он почти счастлив и только ждет телеграммы от Познякова в ответ на приглашение.

Но телеграммы нет, Кузмин возвращается в Петербург и останавливается в гостинице «Северная», позаботившись о том, чтобы рядом был свободный номер. Сергея пока нет в Петербурге. Михаил получает оскорбительную записку от Чичериной, жены того гимназического друга, что помогает ему деньгами. В записке просьба больше не приходить. Деньги будут присылать через брата Юши Николая. Ничего нового в их отношениях не произошло, просто эта «поповна», наконец, догадалась о подоплеке творчества Кузмина. «Бедный, только сказавший громко, что другие почтеннейшие делают», — записывает Кузмин.

Сергей приехал только 14 сентября, загорелый, выросший. Кузмин встретил его на вокзале, и Позняков поехал к нему. Пили чай, говорили, поехали кататься по набережной и островам, потом обедать в «Вену».

Здесь, в Петербурге, они видятся почти каждый день: кинематограф, театр «Аполло», бары, поездки на автомобиле. И вечный кузминский рефрен: «Ах! Если бы у меня были деньги!» Они идут покупать Сереже вещи. «Если б у меня были деньги, не было бы ничего приятнее тратить их на того, кто дорог».

В конце сентября Кузмин уезжает обратно в Окуловку. Снег идет хлопьями и белеет на ветвях деревьев без листьев. Сестра выходит встречать на балкон. Теплые огни домов.

Сергей обещает приехать через неделю.

Через неделю телеграмма: «Быть не могу, подробности письмом». «Как легко умереть...» — записывает Кузмин.

Еще через пять дней новая телеграмма: «Выеду завтра».

Михаил ждет весь день, ходит пешком на станцию, покупает газеты, телеграфирует Познякову. 6 октября



встречает очередной день рождения. Один. Лежит, думая о смерти: «Не поехать ли самому: денег хватит, объяснить, или взять его с собою, или броситься под поезд. В аффекте это можно сделать».

На следующий день письмо от Познякова: «Скандал в университете, повредил руку, дал подписку о невыезде, ввиду дисциплинарного суда». Волнения в университете начались еще 3 октября, и он был закрыт. Сергей написал об их продолжении. Он оказался среди тех студентов, чье поведение рассматривал дисциплинарный суд.

16-го Сергей зовет к себе телеграммой: «Приезжайте, если можете». Но у Михаила нет денег даже на дорогу. Выезжает только через три дня. Сережа встречает с забинтованной головой (разбил пенсне на глазу) и отвечает на вопросы сбивчиво и туманно: «Не помню», «Нельзя было», «Все собирался».

Нувель считает Познякова расчетливым холодным карьеристом. Кузмин для него всего лишь ступенька на пути к славе, проводник в издательство. Тщеславие начинающего и пока неудачливого литератора — больше ничего.

23-го от Сережи записка: «Такое положение больше продолжаться не может, лучше некоторое время не видаться».

И Кузмин вернулся в Окуловку.

Через неделю новое письмо. Он придет! Когда угодно, в любое время, как только Михаил пожелает! «Какое счастье! Какое счастье!»

7 ноября Позняков, наконец, в Окуловке. Приехал без вещей, экспромтом.

Оказалось, что его брат запретил Сергею ехать к Кузмину, иначе между ними все кончено, и грозился вызвать Михаила на дуэль, если Сергей поедет. Но он приехал, несмотря ни на что.



И вот они вместе. Раннее утро 8 ноября. Солнце уже взошло, за окном холод, в комнате тепло. Кузмин любит спящим Сережей. Понимает ли тот всю важность того, что сделал?

Ездили кататься, и Сережа правил, стоя. Потом — к парикмахеру, играли в винт, гадали. И карты сулили счастье и удачу. Кузмин сочинял оперетту и писал рассказ «Нежный Иосиф», посвященный Познякову. И был совершенно счастлив.

Церковь в Полищах. Службы закончились, священник обедает, только коптят и трещат перед иконами несколько свечей. С ноябрьского холода и слякоти входят два господина: юноша и мужчина средних лет.

— Мы хотели бы заказать молебен о начале дела Михаила и Сергея.

Тотчас посылают за дьяконом и псаломщиком.

Звучат молитвы, пахнет ладаном и медом от пчелиного воска. Молебен служат для них одних. И они смотрят друг на друга и чуть не держатся за руки.

Дома — объяснение с сестрой: «Вы слишком афишируетесь».

А через два дня — снова в Петербурге.

Отношения с Сергеем напоминают пятибалльный шторм: то они поднимаются на вершину, и Сергей говорит, что не может жить без Кузмина, и что они должны жить вместе, и что любит, и что желает, то вдруг падают в пропасть: они ссорятся, Сережа жалуется на плохое самочувствие и гонит из постели и из комнаты, и заявляет, что хочет жить у брата, а не вместе, что не любит, и никогда не любил.

Середина января 1909 года. Сережа клянется на кресте Кузмина:

— К двадцатому все устроится, я перееду к вам.

Целует крест.

Но они едут на маскарад к Тамамшевым — знакомым племянника Кузмина Сергея Ауслендера. И крестного



целования, как не бывало. У Нины Тамамшевой есть подруга — молоденькая актриса Настя. Позняков ухаживает за ней весь вечер, позабыв о Кузмине.

Блестит новогодняя елка, пахнет хвоей, горят свечи, сияют маски и льется шампанское. Настя кокетничает и смеется, улыбается галантный Сергей. Кузмин выходит из себя, эпатирует публику, уговаривает Сергея уйти и пьет не в меру.

Они возвращаются домой на извозчике.

— Да, я таков, — говорит Кузмин по-французски. — Это нужно принять или отвергнуть.

— Скорее отвергнуть, — бросает Сергей.

Михаил на ходу выпрыгивает из экипажа, падает в снег, шляпа его соскакивает с головы и катится по придорожной грязи.

Он бежит по Гороховой к Фонтанке, ничего не видя перед собой и ничего не понимая.

И вот он у реки. Холодные темные воды, и лед у набережной.

Броситься вниз?

Но рядом извозчики, ожидающие публику возле Малого театра.

И он возвращается домой, вспоминая злое, но «невозможно милое» лицо Познякова.

Утром пишет ему записку, указав обратный адрес. Насти. Просит прийти и обещает не устраивать сцен. И Сергей тотчас приходит «милый и нежный, словно выздоровление».

А через день Михаил получает повестку из суда. И, чтобы избежать тюрьмы, бросается в Москву, «запродать свою душу "Скорпиону"», то есть продать права на все свои книги издательству «Скорпион».

И вот деньги добыты, и долг оплачен. Михаил снова в Петербурге, и заключение ему больше не грозит.

Но Сережа объявил, что 20-го не переедет и что не любит.



Кузмин думает отравиться, потом решает примириться со всем: с изменами, с нарушениями клятв, с тем, что Сергей может жениться: он все примет, он «трус и раб», но любит его «больше Богородицы».

Михаил болен, кашляет с кровью, у него жар и ломота.

Жить Сергей будет не с братом, с кем — не сказал. «И он не чувствует, какие гвозди вбивает каждым таким заявлением, но люблю я его все больше и больше и никогда не отступлю, пока сам он меня не выбросит, как тряпку, как выжатый лимон».

На следующий день Сергей у него. Они обедали вместе, потом Сергей заснул. Михаил сел рядом и целовал его руку, молясь, чтобы любовь к нему вернулась: «Господи, дай мне знак, пусть он побудет сегодня со мной. И я куплю икону Казанской Богоматери и сделаю лампадку и оклад».

Но они поехали к Модесту Гофману, побыть вместе не случилось, и обет пропал.

Через день они были вместе, но Сережа лег в постель так неохотно, что это было почти неприятно.

В конце января Сережа признался, что Кузмина не любит, что он нужен ему как руководитель и только. Физические сношения ему гадки и противны: что, если их совсем не будет?

Значит, Нувель был прав? Мальчик — всего лишь карьерист?

Михаил плакал, кричал, целовал ему руки и становился на колени. «Когда я отучусь от сцен и истерик?» — спросил он себя в дневнике.

Кузмин согласен и на «святую жизнь»: «Ну что же — монастырь так монастырь: работа, поливка цветов, все-таки я буду видеть милого Сережу». Но жить с Михаилом ангельским чином никому еще не удавалось.

Вскоре он уезжает в Окуловку. Сначала они переписываются, но все реже и реже. Вести из Петербурга иног-



да приносит Сережа Ауслендер: Позняков нигде не бывает, ни с кем не общается, никого не хочет видеть и, похоже, нездоров, с литераторами со всеми разошелся и стал «какой-то тусклый и тяжелый».

8 мая Кузмин пишет Вячеславу Иванову: «Теперь я могу Вам сказать, что с Сергеем Сергеевичем у меня все кончено. Я не буду винить его; я сам виноват, меря его не его меркой. На его мерку я не мог и не хотел соглашаться, моя же мерка ему показалась тяжела и неудобно-носима. Теперь я могу это видеть ясно и спокойно».

«Кажется, первое лето я провожу без основного любовника», — сокрушается он.

Но лето только началось.

Кузмин ставит в Окуловке любительский спектакль по пьесе «На бойком месте» Островского. 14 июня — премьера. Юный служащий конторы бумажной фабрики Феодосий Годунов (Фонечка) на премьере дарит Михаилу букет сирени.

Кузмин растроган:

— Благодарю вас. Спасибо, что не забываете меня.

— Вас невозможно забыть никогда, — отвечает Годунов.

17-го собрание труппы любительского театра. Выбрали для постановки «Не так живи, как хочется» и режиссером снова Кузмина. Фонечка здесь же, на собрании. Варя следит за обоими. Наконец, подзывает Михаила:

— Да отлипни ты хоть на минуту от Годунова!

— Варя! Но я же совсем далеко стоял! И между нами ничего нет.

— Ничего нет? Все уже замечают! Я не могу этого допустить.

Кузмин проплакал всю ночь. Наконец, написал Фонечке письмо с инструкциями, как себя вести.

Ночное катание на лодках по реке. Фонечка просит посадить его рядом с Михаилом. Маленький остров.



Пение под деревьями, печеная картошка из костра, розовая луна на рассвете. Фонечка все время рядом с Кузминым, хотя последний его почти избегает.

— Да, скорее это Годунов за тобой бежит, — замечает Варя брату.

«Чувствовать себя вечно под надзором невыносимо», — записывает Кузмин.

Праздник Ивана Купала. Снова костры, песни, танцы при луне.

Годунов сплел Михаилу венок и предложил прыгать через костер. Отпустила на миг и вновь понеслась навстречу земля. Пахнуло жаром, взлетели и рассыпались в вышине тонкие дорожки искр. И осталось позади шипящее пламя.

Уставшие, сели в стороне, возле сосны. Вдруг Фонечка лег Михаилу на плечо. Пахло ночными фиалками из венка и из леса, хвоей, дымом и рекой. И они сидели так долго, беседуя о «Нежном Иосифе» — последнем рассказе Кузмина, посвященном Познякову.

Шли дни. Фонечка то и дело заходил к Кузмину на репетиции, но сестра не оставляла их одних ни на час. Но в конце июня Михаил нашел возможность тайком проводить Фонечку.

И вот они объясняются в любви, плачут, целуются.

Но на следующий день Варя делает Годунову нотацию, и все как рукой снимает, он становится холоден и начинает избегать Михаила.

Дело осложняется тем, что в Годунова влюблена Варя маленькая, пятнадцатилетняя дочь сестры Вари, племянница Кузмина. И она тоже ведет дневник.

6 июля оба дневника оказались в руках сестры. Варвара прочитала и устроила Годунову новое объяснение.

— Вы должны порвать все сношения с Михаилом!

Потом отдельно говорила с Кузминым:

— Ты должен немедленно уехать.



Он не успел ответить, потому что пришел Фонечка. Вместе вышли из дома во влажный ночной лес. Далекие огни поселка, скрип деревьев, крики птиц. И звезды в просветах между ветвями. И шорох травы под ногами.

Да, они уедут. Только вместе, только вдвоем. Где будут жить? В соседней деревне? В Боровичах? В Москве? Они бродили по лесу и все строили планы.

Вернулись около полуночи.

На следующий день брат Фонечки пригласил их вместе переехать к нему в Новинки. Но Кузмин вдруг решил проявить характер: «Нет, не так живи, как хочется. Нужно идти наперекор».

Михаил вернулся домой. Варя маленькая ждала его, сидя на балконе. Кузмин сел за пианино, начал играть.

— Я очень люблю вас обоих, — прервав игру, сказал он. — Ты и Годунов — два самых дорогих для меня человека. Не верь, если скажут, что я хочу тебе зла. Тебе мама говорила, почему я должен уехать?

— Да.

— Что же она сказала?

— Я думаю, ты сам знаешь что.

— Ну и что же?

— Я не поверила, хотя она так говорила, что трудно было не поверить; я не нахожу ничего дурного в том, что вы дружны.

Возвращаются родственники и прерывают разговор, очень недовольные тем, что Кузмин говорил наедине с маленькой Варей.

Зато Сережа Ауслендер полностью на его стороне. Но он нездоров.

Михаил садится писать, он сочиняет новый цикл стихов «Трое». Вдруг слышит, что Сережа плачет в соседней комнате, все больше и больше, вроде истерики. Бросается к нему, приносит воды, пытается успокоить.

— Ты только маму не зови, — шепчет Сережа.



Потом впадает в забытие, бредит:

— Где Годунов? Ведь его убили! Я видел нож. Проклятая! Не может быть, нет, нет!

Кузмин бежит к сестре, стучит в дверь.

— Когда только это кончится! — кричит через дверь Варвара.

Зять приходит к Сергею, слушает.

— Это он во сне.

После его ухода Михаил долго сидит на полу возле Сережи. «Никогда не чувствовал к нему большей нежности и жалости», — запишет он в дневнике.

8 июля. Годунов просил утром его встретить. Кузмин встает очень рано, еще холодно, рассветное солнце розово подсвечивает перистые облака. На балконе Варя маленькая ждет Годунова, чтобы передать ему письмо.

— Пойдем к нему навстречу, — предлагает Кузмин.

И они идут вместе.

Фонечка поражен, увидев их вдвоем. Тихонько идут по дороге к фабрике.

— Пойдемте в поле собирать цветы, — предлагает Варя.

Весело, молодо, хорошо. Луг еще серебряный от росы. Капли сверкают на колокольчиках, лютиках и ромашках. Михаил отдает цветы Варе, она ему — букет Годунова.

Фонечка спешит в контору, и вскоре они расстаются.

Дома еще спят. Только зять встал, и они дарят ему цветы.

Когда за ними закрылась дверь, Михаил услышал голос Вари:

— Каждый, каждый миг с ним — зло! Он губит всех: Сережу, Варю, Годунова! Он должен уехать. И чем скорее, тем лучше!

Михаил вернулся к себе. Вскоре пришел зять и почти повторил слова сестры:

— Прошу тебя, уезжай. Сегодня же!



Кузмин кивнул.

— Хорошо, я уеду.

Когда Фонечка шел с фабрики на обед, Михаил сказал ему об отъезде.

До выхода Кузмин сидел один в комнате, ему устроили почти домашний арест, караулили, никого к нему не пуская. С сестрой не попрощался, зато Варя маленькая с горничной и гувернанткой проводили за ворота.

На станции уже ждет Фонечка Годунов, в руках — ветка шиповника с крупными алыми цветами, у ног вертится мохнатая собака Медорка.

Они садятся на скамейку на платформе, рука Михаила в его руке. И пропускают один поезд за другим. Медорка кладет морду им на колени и смотрит печально и умильно. Они говорят, строят планы.

Пишут записку: «Прощайте, живите без помехи». Решают, что, вернувшись, Фоня привяжет эту записку Медорке и пустит ее на двор к Мошковым.

— Я больше к ним не пойду, — говорит он. — И сорву спектакль. Как я мечтал взять отпуск и поехать с вами и Сережей в Валдайский монастырь! Как хотел быть с вами, писать музыку, говорить, гулять, слушать. Ну, кому мы помешали!

Подходит поезд, они целуются на платформе. Годунов бежит за поездом без шапки, в темноте, по грязи, и рядом бежит Медорка.

«Даже если бы он сам захотел, я бы удержался и удержал его, — записал Кузмин, — если бы, скажем, он женился на Варе, я любил бы их еще больше обоих».

И вот Кузмин снова в Петербурге, в той же гостинице «Северная», с тем же швейцаром и лакеем. 16 июля письмо от зятя: «Я употреблю все возможные меры, чтобы воспрепятствовать Вашим целям; оставьте нас с детьми в покое». На следующий день — от Фонечки, «трогательное и верное».



А тем временем Ивановы зовут к себе на «Башню», и Кузмин решает съехать из «Северной». И снова «vita nova». Новая жизнь — сколько раз она начиналась!

Последние деньги Михаил оставляет «в теплых краях», у нового банщика Алексея.

Фонечка пишет регулярно и нежно. С Мошковыми он помирился и часто у них бывает, с ним милостивы и обходительны. «Что же я не жалею об этом?» — записывает Кузмин 1 августа, через две недели после страстного и трогательного прощания на платформе.

Конец октября. В редакции «Аполлона» обед в честь главного редактора Сергея Маковского. Выступают Вячеслав Иванов, Анненский, читают стихи. Блок, Гумилев, Алексей Толстой.

И здесь двадцатипятилетний художник Вениамин Белкин. Когда стали распределять места за обедом, Кузмин попросил, чтобы его посадили с Белкиным. Но рядом оказался молодой писатель Трубников. Обед был параден, но весел и непринужден. Белкин подошел к Михаилу, бросился к нему, обнял и поцеловал. Потом они ушли в другую комнату и целовались с языком, никого не стесняясь. Маковский сидел напротив и «болтал ногами от удовольствия».

Затем поехали в бар. Михаил сидел, обнявшись с Белкиным, который плакал и признавался в любви. «Я счастлив и как-то горд. Белкин мне очень нравится», — записал он в дневнике.

Вскоре Вениамин берется иллюстрировать поэму Кузмина «Новый Ролла». А в середине ноября на «среде» у мецената и поэта Николая Кругликова Алексей Толстой уже произносит тост «за новобрачных», посматривая на Белкина и Кузмина. Вениамин обходит комнату, садится у письменного стола, потом выходит за дверь. Михаил отправляется за ним.



Тот ждет, «приходя в «экстаз». Кузмин счастлив и рас-
троган так, что плачет.

— Какая мелодрама! — презрительно усмехается Белкин.
Михаил обижается, уходит в пустую комнату.

Вениамин за ним.

— Я считаю любовь и принципиальное девство несов-
местимыми, — говорит Михаил.

Вениамин вскакивает, как ужаленный, уходит, и они
больше не говорят весь вечер. И прощаются, обращаясь
друг к другу на «вы».

23 ноября иллюстрации к поэме готовы. Кузмин в во-
сторге. Вениамин приглашает его к себе. Комната и об-
становка далеко не бедные, «как у опереточной богемы»,
но «мило, мансардно и работающе». Фотография жены с
сыном с надписью: «Мы ждем тебя».

Белкин запирает дверь.

— В квартире больше никого нет.

И начинает раздеваться.

Ласки, почти детские, почти стыдливые и быстрые
легкие поцелуи, и страсть, и слияние тел.

Новый 1910 год. В середине января выясняется, что
Вениамин болен сифилисом. И Кузмин с тоской вспоми-
нает о романе с Наумовым, встречается с секретарем
редакции «Аполлона» Женей Зноско-Боровским и печаль-
но пишет в дневнике, что не может представить, как
проживет без любви.

В мае в жизни Кузмина появляется еще один моло-
дой человек — девятнадцатилетний поэт и гусар Всево-
лод Князев. Михаил впервые увидел его в ресторане при
Павловском вокзале после открытия летнего музыкаль-
ного сезона. Всеволод был не один, а с колоритной и не
обремененной предрассудками поэтессой, женой мно-
гих мужей и адресатом многих поэтических посвящений
Палладой Богдановой-Бельской. Она известна своим «го-



мерическим блудом», как писала Ахматова, и ее имя связано с несколькими самоубийствами: один из влюбленных молодых людей застрелился под ее портретом, другой — во время свидания у нее на глазах.

С Князевым она посылает Кузмину две розы. Он идет ее благодарить и потом замечает с холодностью стопроцентного гомосексуалиста, словно о цветке, безделушке или китайской вазе: «Она действительно очень красива».

По словам Вальтера Нувеля, Паллада влюблена в Кузмина. Что не мешает ей ревновать к нему Князева. А Нувелю она обещала Всеволода, если он сделает для нее доступным Михаила. «Каша невероятная», — замечает Кузмин. Но Всеволод уже у него. Говорит, что хочет быть единственным и надолго.

4 июня Всеволод объявил, что порвал с Палладой. Кузмин не поверил: «Она его убьет или сделает тапеткой, котом* и будет драться с ним ежедневно». Но на следующий день Паллада прислала Кузмину письмо с подтверждением разрыва.

Но вскоре Князев уезжает из Петербурга. Возвращается, но видятся они недолго: теперь Кузмин уезжает в Окуловку. К тому же Всеволод болен: схватил триппер у Паллады.

К концу октября эта любовь уже отгорела. Место Князева занимает актер Дома интермедий Николай Кузнецов по прозвищу Птифур — молодой человек редкой красоты. Он дарит Михаилу свой портрет, и Кузьмин пишет, глядя на него.

В ноябре они уже живут вместе. «Милый Николай Дмитриевич, в нем, как в чистой воде, можно отмываться и черпать свежие, все свежие силы».

Но счастье длится недолго. Уже в декабре Кузнецов засматривается на другого актера Дома интермедий Ан-

* Сутенером.



дрия Голубева, заставляя Кузмина бешено ревновать. Потом Михаил и сам ненадолго увлекается Голубевым. А в январе 1911-го Николай Кузнецов уже с танцовщиком, балетмейстером и пианистом Николаем Позняковым. «Коленьки теперь неразлучны, — печально замечает Кузмин. — Какое мне теперь прибежище, кроме монастыря?»

И Михаил возвращается к Князеву. Правда, встречаются они не столь часто, и чувство к нему более покровительственное и куда менее «влюбленное, чистое и трогательное», чем к «нежнейшему цветку» — Кузнецову.

Но в марте и влюбленность в Кузнецова проходит. «Странно, я, кажется, не влюблен в Николая Дмитриевича уже, хотя и люблю его сердечно», — замечает Кузмин. А Кузнецов уже влюблен в актрису Матильду Ветвеницкую.

Тем временем в Петербургском Малом театре ставят оперетту Кузмина «Забава дев». 1 мая премьера и неожиданный успех. Михаилу дарят венок, Кузнецов присылает розы. Едут праздновать в «Palace-Theatre» — опереточный театр с рестораном на Михайловской площади. «Я как во сне», — пишет Кузмин.

На следующий день Михаил с Всеволодом, все еще желанным, а главное — доступным.

В театре порядочные сборы, и 10-го Кузмин едет за деньгами. И, получив деньги, со всей суммой — гулять в «Palace-Theatre» с критиком Чудовским, продавцом программ из «Палас-Театра» Котовым и Сергеем Позняковым.

Пьют, смеются, закупают розы десятками и посылают даже буфетчику.

После «Палас-Театра» нанимают автомобиль и берут с собой какого-то молодого человека, стоявшего у подъезда. Юноша оказывается гардеробщиком. Долго колесят по городу, ни в «Ниццу», ни в «Отель des îles» не пускают. Наконец, попадают в гостиницу «Приморская». Пьют красное вино.



«Потом я плохо помню, что было, — записал Кузмин. — Весь мрак прорезывает ощущение белого, упругого, узкого тела подо мною. Как я вернулся, не помню».

Утром никаких денег не оказалось. Галстука тоже. Горничная уверяла, что, вернувшись, он еще уходил. Кузмин был в недоумении. Сколько бы он ни тратил, не мог он промотать за один вечер 2000 рублей — по тем временам огромные деньги. Отдал кому-то? Потерял? Ограбили?

Так или иначе, он снова нищий поэт и ищет, у кого бы занять. А ведь собирался пригласить Кузнецова в Париж! «Мне теперь стыдно самого себя, — пишет он. — Все пропил, обкраден, надут. А чистому и милому Николаю Дмитриевичу как смотреть в глаза?» А ведь путешествие обещано, он ждет, думая, что у Михаила есть деньги, а у него ни копейки.

И вместо Парижа в конце июня Кузмин едет в неизменную Окуловку. Увлекается там знакомым Мошковых Василием Гостунским, а вернувшись — композитором и певцом Владимиром Сабининым. А в октябре знакомится со студентом Училища правоведения Сергеем Иониным. «Ионин — очаровательный мальчик, в которого я тотчас влюбился». В середине ноября он уже остается на ночь. «Он был моим, и это было большое счастье и радость. Как сладостно, хорошо и славно».

Почти одновременно он знакомится еще с одним Сережей — гусарским офицером Миллером. И вот они вместе. Сережа все готовит сам, хлопочет и ухаживает, как жена или нянька. Разделся весь, и Михаил целовал его «как плащаницу», пока возбуждение не достигло пика и он не проник в узкую пещеру его тела с нежной порослью у входа.

На следующее утро все полотенца и простыня в крови. И так повторяется изо дня в день. Наконец, Кузмин решается спросить, в чем дело.



До Кузмина Миллер был с художником Юрием Анненковым. Он был влюблен в него, «а с Сережей все можно». Он и теперь не порвал с Анненковым. Как только Юрий получает деньги, Сережа исчезает на пару дней — значит, закутил. Он и к Кузмину иногда приходит с Анненковым. А Кузмин сам занимает у него деньги на бритье. «Для его веселья нужно много денег, которых у меня нет», — замечает Кузмин в дневнике.

Но вскоре Сережа стал избегать секса, и начались обиды, ругань, ссоры. «Он, очевидно, меня не любит», — предположил Кузмин. И сбежал в Окуловку. Его догнала телеграмма: «Всегда для Вас, приезжайте». И Михаил тут же примчался в Петербург.

Но Сережа не держит слова. Они ложатся в постель. Миллер гладит и сжимает свой член, теребит мошонку, но не может возбудиться.

— Мне гадко это все! — говорит он.

— Тогда давай совсем расстанемся.

— Нет, только не это! Я уйду сию же минуту, и я буду мстить. Пусть все будет по-старому.

Кузмин неохотно согласился. Но отношения с Миллером уже кажутся исчерпанными, потому что часто такие ночи невозможны.

На следующий день — снова отказ. И Кузмин вспоминает о Сереже Ионине и тоскует о Кузнецове.

Но они мирятся, и в январе 1912 года Сережа Миллер переезжает к Кузмину.

10 февраля выясняется, что у Сережи триппер (был 30-го у девки). «Какая гадость, какая гадость, какая гадость, и пришел ко мне, лег в мою кровать. Фуй!» — возмущается Михаил. Это начало конца. 13-го Кузмин просит Миллера приехать за вещами.

Прощаясь, Сережа кладет его руки себе на плечи.

— Ты мне необходим. Поцелуй меня.



«Если бы он был здоров!» — сокрушается Кузмин. Но тут же находит и другую причину для разрыва: денег все равно не хватит для двоих.

На следующий день Михаил переезжает к Кузнецову. А Миллер звонит ему, умоляет принять, просит денег. Говорит, что с утра не ел. Михаил его не принимает.

Зато сам заходит к нему в начале марта. Сережа переехал в меблированные комнаты «Дюментон», продал мундир и сюртук, почти голодает. Но похудел и «похорошел безумно». Надел галстук на фуфайку, улыбнулся. «Тело такое худенькое, слабое и горячее».

— Со мною все же было бы лучше, — безжалостно замечает Кузмин.

Сережа умоляет вернуться. Михаил отдает последние деньги. Потом Сережа напьется на них. «Мне его жалко, — записал Кузмин, — но я погибну и не спасу его, если уступлю».

Миллер не ел два дня и продал шашку. Ложится в госпиталь. Кузмин непреклонен, тем более что в его жизнь возвращается Всеволод Князев, «крайне мил и любезен» и «красив чертовски». Но его полк расквартирован в Риге, и он вскоре покидает Петербург.

17 мая у Сологуба богемная вечеринка: актриса Ольга Глебова-Судейкина по прозвищу «Тявочка», та самая, что увела у Кузмина художника Судейкина, писатель Борис Зайцев (Зайчик), Вальтер Нувель и еще куча народа. Пьют, веселятся, Зайчик ухаживает за всеми дамами подряд. Тявочка изображает ревность и колит его вилкой. Публику ждет еще одно необычное развлечение: «удалялись в спальню и секли Настю, Тявочку, Валечку и Зайчика». «Занятно», — записал Кузмин.

Сын слишком суровой матери, стремившейся воспитать в нем христианские добродетели, Федор Сологуб считал необходимой физическую боль и страдания, возвышающие душу. Это привело его к садомазохистским



практикам. Его жена «эротоманка» Анастасия Чеботаревская была с ним совершенно солидарна. В черновиках его романа «Мелкий бес» описания процесса порки занимали до трети объема.

Героине его барышне Рутиловой снится характерный сон: «Она сидела высоко, и нагие отроки перед нею попеременно бичевали друг друга. И когда положили на пол Сашу... и бичевали его, а он звонко смеялся и плакал, она хохотала, как иногда хохочут во сне, когда вдруг усиленно забьется сердце, смеются долго, неудержимо, смехом самозабвения и смерти». Есть у него и цикл стихов на тему порки:

Мне никак не отвертеться.
Чтоб удобней было сечь,
Догола пришлось раздеться,
На колени к маме лечь,
И мучительная кара
Надо мной свершилась вновь,
От удара до удара
Зажигалась болью кровь.

Не только болью, но и желанием. Его эротическое чувство было неразрывно связано со страданиями и унижением.

В конце мая Кузмин получает долгожданное письмо от Всеволода Князева. «Милый, любимый, единственный мальчик!» — восклицает Михаил.

В июне Всеволод снова в Петербурге. И они встречаются почти ежедневно. Князев приходит с крючками для сапог — специальным приспособлением, без которого узкие гусарские сапоги невозможно надеть. А значит, собирается разуваться. И они будут вместе. Михаил каждый раз любовно отмечает эту деталь в дневнике: «Всеволод взял крючки».



Они пишут вместе, собираются издать сборник «Пример влюбленным».

Тем временем другого гусара Сергея Миллера гонят из полка, и он начинает пить. Повторяется история Павлика Маслова. Кузмин запрещает швейцару его пускать, а сам встречается с ним и зачастую уступает просьбам и о близости, и о деньгах.

А Всеволод знакомится с Ольгой Глебовой-Судейкиной.

11 июля вся компания едет в Петергоф. Зайчик, Ольга-Тявочка, Судейкин, Всеволод. Шумят фонтаны, солнце дробится в тысячах брызг. Друзья выходят к морю. И тут замечают, что Всеволод и Оленька куда-то пропали. Еле смогли отыскать.

В поезде Кузмин пригласил Всеволода на ужин, но тот отказался. Зато сразу согласился на предложение Судейкиных. Кузмин обиделся. Попытался покинуть компанию, но его догнали и утащили к Судейкиным. «Я думал, что все кончено, — записал Кузмин. — Всеволод липнет к каждой юбке, все рушилось, и любовь, и книга, и все».

Но проходит день, и Всеволод снова у Кузмина, даже с крючками. По-прежнему, любимый.

Его родители сначала были благосклонны к Кузмину, но к концу июля, видимо, поняли подоплеку отношений сына со знаменитым поэтом. Мать плачет, отец сердится. Всеволод делает все им наперекор и в тот же день приглашает Кузмина к себе. Дома вытаскивает том Уайльда, обнимает Михаила, читает стихи. Провожает его до дома. «Люблю его, как сына, как друга, как возлюбленного, как невероятную красоту», — пишет Кузмин.

В августе в издательстве «Скорпион» выходит сборник стихов Кузмина «Осенние озера», посвященный Миллеру. В последний момент Михаил пишет отчаянное письмо владельцу издательства Сергею Полякову, умоляя снять посвящение: «Если этого не будет, произойдут та-



кие неприятности и несчастья для меня, что не только задержка книги, но даже само отсутствие ее ничто для меня в сравнении с ними». Но посвящение успевают убрать только из части тиража. И Кузмин получает рассерженное письмо от Всеволода, узнавшего о сопернике. А ведь Михаил хотел к Всеволоду в Ригу!

Однако поездка не отменяется. 30-го он на вокзале, а 31-го Всеволод встречает его в Риге. Узкие улочки, старые дома, покрытые черепицей, немецкие вывески, Рижский собор. Кузмину устраивают комнату, соседнюю с комнатой Всеволода, и они открывают между ними двери. Днем гуляют по городу, говорят, ходят в кино. И проводят ночи вместе. Всеволод «страстен и мил». «Спать вместе ночь — это какое-то странствие по разнообразной и чудной стране любви. Обворожительно. И он, как 1001 ночь, прекрасен».

Но ночи нежности сменяют дневные ссоры.

— В 1911 году ты пошел в бани сразу после того, как я отдался! — упрекает Всеволод. — Это не любовь, это гадость.

— Можно и при любви иметь другого, — говорит Кузмин.

— В таком случае между нами все кончено, — заявляет Всеволод и уходит.

Михаил лежит, плачет. Потом идет к нему.

Всеволод тоже в слезах:

— Чтобы это было в последний раз!

Наконец помирились.

«Только бы он не читал дневника», — решил Кузмин. И спрятал его так, что едва находил время, чтобы делать записи в отсутствие Всеволода.

И началось мирное, любовное житье. И так почти две недели до отъезда Кузмина.

Прошло еще около двух недель.

30 сентября в Петербург приехал Всеволод, и они расстались навсегда. Что послужило причиной? Продол-



Олег Волховский

жающиеся встречи Кузмина с Миллером? Влюбленность Всеволода в Ольгу Глебову-Судейкину? В дневнике одни намеки: «Это было ужасно, как кошмар, тем более что у нас были Сологубы, Коля и Иванов. Опять снова начинать жизнь, а силы уже не те с каждым разом. Он упрям, жесток и не чуток...»

Но главная трагедия еще впереди. В марте следующего, 1913 года в Риге, запутавшись в своих отношениях с Ольгой, Князев совершит попытку самоубийства и умрет в больнице через несколько дней. Кузмин отметит это записью холодной, краткой и почти равнодушной: «Князев вчера умер».

Впереди у него новая любовь.

ИСТОРИЯ ЮРОЧКИ ЮРКУНА

В марте 1913 года Кузмин влюбился в восемнадцатилетнего начинающего писателя Иосифа Юркунаса, литовца по происхождению, прозванного им Юрочкой Юркуном, который на многие годы стал его прекрасным Дорианом, нежным Иосифом и взбалмошным Рембо.

Откуда в жизни Кузмина появился этот юноша до сих пор не совсем ясно. Видимо, они познакомились в Киеве в начале 1913-го. Юрочка провел детство в провинциальном Вильно, бежал из иезуитского пансиона и скитался по стране с театральной труппой, где он выступал под замысловатым псевдонимом «Монгандри» и частенько исполнял женские роли. Ко времени знакомства с Михаилом он играл в маленьком оркестре.

Это был сероглазый молодой человек, высокий и широколицый. С прямым носом и русыми волосами. Вечно он Кузмина куда-то тащил, торопил, шалил, капризничал, нервил и устраивал истерики. Зато вдруг раздевался и оказывался в постели. И все происходило. Видимо, этим и покорила Кузмина. Сначала еще жаловался на усталость, дела и головную боль. Но вскоре стал вообще безотказен в сексе. «Может быть, он понял, чем меня удерживать», — заметил Кузмин.

Даже влюбленность в Наденьку — сестру Зноско-Боровского и жену Сергея Ауслендера не мешала. Впро-



чем, Юра то ли быстро разочаровался, то ли потерял надежду на взаимность. И объявил, что от Наденьки излечился и жить не может без Михаила.

20 июня в дневнике Кузмина появляется печальная запись: «Сегодня случилось нечто совершенно неожиданное. Я расстался с Юркуном».

Все началось как обычно. Поехали к романистке Евдокии Аполлоновне Нагородской, с которой Кузмин очень сдружился за последние месяцы. Потом в кино. Вернувшись, нашли там юного поэта Ленечку Каннегисера, «томного и нежного».

Юркун пришел в бешенство. Ругался с Ленечкой и рвал свои рукописи. Каннегисер ушел.

Явился знакомый Нагородской антиквар и коллекционер картин Яков Израилевич (Жак). И тогда ушел Юркун.

Жак проводил его взглядом и начал обвинительную речь:

— Он же просто издевается над вами, тратит ваши деньги на девок. Он вас не любит и не ценит. Он известен в полиции и порочен до мозга костей.

Кузмин согласно кивал. И только придя домой, записал в дневнике: «Как, — никогда не видеть Юрочки, не чувствовать его тела, потому что мои знакомые шокированы, какая глупость!» Но тут же начал колебаться и оговаривается: «А может быть, и свобода? И за что его мучить?»

На следующий день Юрочка занес письмо с обещанием покончить самоубийством и просил спуститься. «Что делается в его сердце, в его теле, каждую пядь которого я знаю и обожаю! — пишет Кузмин. — Я не знаю, что бы я дал, чтобы прижать к себе этого злодея, этого актера».

Ночью стук в дверь. Это Юрочка. Жив, не утопился. Говорил с Жаком и просил пустить его к Кузмину. Михаил согласился.

Вошел.





— Вам говорил Яков Израилевич? Я исправлюсь.

И глаза — «заплаканные фиалки», и сам будто побитая собака.

— Люблю по-прежнему, завтра приду, — шепнул Кузмин.

— Я так и думал, — сказал Юрочка и ушел успокоенный.

С этого дня они опять вместе.

А в начале июля Кузмин переезжает к Евдокии Нагродской. Это экстравагантная дама, склонная к мистике и мистификациям. Выдает себя за розенкрейцершу, хвастается участием в их съезде в Париже и тем, что именно ей поручено родить для мира нового Мессию. Любит зажигать электрическую лампочку на бюсте: «Сердце светится, нету сладу!» «Постойте, я укрошу его, неудобно выходить к людям». Постоит, закрыв бюст руками, повернет выключатель, и сердце погаснет. Но при его свете «уютно, как на елке».

Переезд осложняет жизнь влюбленным, поскольку представления Нагродской об уранической любви циничны и пренебрежительны. Кузмин принимает их на свой счет, обижается и спорит. Возможно, она просто влюблена в Кузмину и ревнует. Сцены, которые она устраивает, возможны только между любовниками, а потому вдвойне неприятны. «Она обижена, что я с Юр. не только целуюсь, но дружу и разговариваю, — записывает Кузмин. — Но неужели из-за этого перестаешь быть сыном Божьим? из-за того, что я предпочитаю Юр. Евдокии Аполлоновне? Это — пустомнение, и больше ничего».

Не меньше Евдокии Аполлоновны мучает безденежье. Кузмин снова весь в долгах, все заложено, он занимает деньги у Нагродской, а Юркун носит драные сапоги.

Июнь 1914-го. Юрочка болен. Видимо, ничего серьезного, но Кузмин воображает его умирающим в затхлой комнате на подушке, запачканной рвотой. И думает, что любил бы его и таким. Юрочка выглядывает через дверь, не одеваясь, ведет в комнату. И вот они в посте-



ли, и «милое тело последние усилия делает страстно и упорно». Юрочка выздоравливает, даже порозовел.

18 июля. Объявлена война. «Сколько будет убитых, — пишет Кузмин. — Жизнь единственно невозвратная вещь». В первый же день вводят сухой закон и закрывают винные лавки, а в ресторанах вино переливают в кувшины, пьют из чашек и называют «соком». Нагородские собираются в тыл армии, Сергей Миллер едет на фронт, Гумилев записывается добровольцем, а у Кузмина появляется новая проблема — его милому Юрочке тоже грозит призыв.

И вечное отсутствие денег, чем дальше, тем хуже. Нет средств не только на одежду, даже на кино. В конце концов, Кузмин начинает прописывать имеющиеся суммы в конце каждой дневниковой записи: 10 р., 5 р., 25 р., 3 р. А Юрочка бранится на малые заработки Кузмина и на чем свет стоит ругает гомосексуализм, а сексом порою занимается так, словно кость бросает. Но все же не уходит и не гонит. И даже иногда проявляет инициативу: лежит тоненький, томный и желанный и вдруг соберется «быть».

«Чтобы стать знаменитым, надо умереть, — записывает Кузмин. — Прежде было житье с мамой и у сестры, потом известный блеск искусства и жизни, теперь лямка без одобрения, без среды, без кружка».

Юркуна начинают потихоньку печатать, правда, чаще отказывают. Кузмин злится и расстраивается, обижается на несправедливость редакторов. Он считает Юрочку очень талантливым, даже гениальным. В 1914 году у Юркуна выходит повесть «Шведские перчатки» — нежный и искренний юношеский дневник, однако написанный столь профессионально, что вызывает подозрения, не прошелся ли по нему Кузмин рукой мастера.

В июне 1915-го к Юркуну приезжает мать. «Она страшно милая и молодая, но Юр. тяжело будет», — записывает Кузмин. Юрочка в истерике. Ночует у Кузми-



на. Однако история с матерью заканчивается неожиданно счастливо: они снимают квартиру на троих.

«Пожалуй, придется Юр. идти на войну, — записывает Михаил 22 июля. — Это же ужасно! Что мы будем делать! Он умрет или будет убит». Приходят бумаги о призыве: 2-й разряд. Это те, кто негоден к службе в постоянных войсках, но способен носить оружие.

Кузмин волнуется, работа идет плохо. Юрочка засыпает рядом с ним, вдруг говорит спросонья: «Миша, милый, меня в солдаты возьмут!» Кузмин с обожанием смотрит на него: «Неужели будет это чудо, эта прелесть в окопах?.. Когда-то кончится эта дурацкая война!» Настроение как перед дуэлью, операцией или казнью.

19 сентября медкомиссия. И «нежного сына» Юрочку освобождают от воинской повинности. «Мои молитвы услышаны, — пишет Кузмин. — Какая радость». И тут же пугается: «Но значит, он болен».

26 октября к вечеру выпал снег. Тепло и тихо. Юрочка спит. Михаил любит его: его худенькое тело, руки, ноги и то, что дороже всего на свете.

Театр, богема, кафе, походы в магазин, чай за самоваром. Почти мир, еще теплится культурная жизнь, еще можно быть счастливыми.

Последняя запись в дневнике сделана 28 октября и не содержит ничего примечательного. Ею заканчивается шестая тетрадь. Седьмая — с 29 октября 1915 года по 12 октября 1917 года в архивах отсутствует, и где она — неизвестно. Нет и тетрадей 19–20 годов.

Что они делали, как жили в это страшное время? Сведения неполны и отрывочны.

Кузмин был абсолютно аполитичен, если не считать короткого периода в 1905 году, когда он вступил в «Союз русского народа». «Пускай нами управляет хоть лошадь, мне безразлично», — писал он. Он не занимался полити-



кой и ненавидел «общественность», но после 1917 года политика занялась им.

30 августа 1918 года Леонид Каннегисер, тот самый поэт Ленечка, который бывал у них в доме и был слегка влюблен то ли в Юрочку, то ли в Михаила, застрелил председателя Петроградской ЧК Урицкого.

31 августа Кузмина разбудил шум. ЧК. Обыскивают комнату Юрочки. Забрали роман, какие-то записки. Юрочку уводят.

Кузмин бежит за ним. Успевает встретиться. «Сидит следователь, красноармейцы».

— Юр, что это?

— Не знаю. Арестовывают, говорят, что не надолго, недоразумение...

«Я вовек не забуду его улыбающегося, растерянного, родного личика, непричесанной головы», — пишет Кузмин в дневнике 1918 года.

По делу арестовано множество знакомых и все родственники Каннегисера. Передачи не принимают, якобы Юркуна нет в списках.

Кузмин вспоминает старые связи, бежит по друзьям и просит за «милого Юрочку». Самый влиятельный — Максим Горький сначала хлопотать отказался, но 18 сентября все-таки подал список Зиновьеву. Кузмин обращается к Луначарскому, и тот тоже посылает бумагу. Знакомых Лени начинают постепенно выпускать. Он не назвал никого, объяснив убийство мстью за расстрел своего друга Перельцевейга. Юркуна выпустили через три месяца, 23 ноября: «Вдруг Юр. звонит из лавки. Боже мой, Боже мой! Выбежал на крыльцо, смотрю. Идет с красным одеялом, родной, заплетает ножки. Так радостно, так радостно».

Встреча нового 1921 года. Среди гостей молодая художница и драматическая актриса Александринского



театра Ольга Гильдебрандт, выступающая под сценическим псевдонимом «Арбенина», доставшимся ей в наследство от отца — актера Малого и Александринского театров. Живая, улыбчивая, похожая на мальчика, она играет пажа в пьесе Дюма «Генрих III и его двор», но вызывает восхищение и как женщина. Ей посвящают стихи Мандельштам, Бенедикт Лившиц и сам Кузмин, а Николай Гумилев ухаживает и собирается жениться.

Короткая стрижка, челка, задорный взгляд. Девочка-сорванец. Девочка-подросток.

Ломаны брови, ломаны руки,
Глаза ломаны, —

пишет о ней Кузмин.

Юркун и мечтал именно о такой. «Его идеалом была женщина-авантюристка, но, конечно, с «лирикой», — вспоминала Гильдебрандт. — Он мечтал (в детстве) иметь такую обольстительную сестру».

Он вступил в неравный бой с Николаем Гумилевым. И победил. Разрыв произошел тут же, в новогоднюю ночь. Юрочка увел ее, «как глупую сучку, как женщину, бросающую свой народ, свой полк, свою веру».

Кузмин уговаривал Юрочку:

— Что вы делаете!!! Она собирается выходить за Гумилева.

— Она его не любит.

— Вы же не можете на ней жениться. Что вы делаете?

И Ольга «выпустила из рук на волю ко всем четырем ветрам на охоту за другими девушками, на тюрьму, на смерть своего Гумилева».

Политика снова вмешалась, на этот раз на стороне Юрочки: 24 августа 1921 года его соперник был расстрелян, а Ольга стала гражданской женой.

«Я думаю, его трагедия была в том, — напишет Ольга о Кузмине, — что он влюблялся в мужчин, которые лю-



бят женщин, а если шли на отношения с ним, то из любви к его поэзии и из интереса к его дружбе. Свои однокашники (что ли?) ему не нравились, даже в прелестном облике».

Вторая Ольга в жизни Михаила Кузмина. Первая — Ольга Глебова, тоже актриса, игравшая пажей, увела у него двух молодых людей подряд: художника Сергея Судейкина и гусара Всеволода Князева. Но у Юркуна было множество таких мимолетных романов, и Кузмин поначалу не воспринимает соперницу всерьез и даже пытается принять ее:

Пришлица, войди в наш дом!
Не бойся, снежная Психея!
Обитель и тебе найдем,
И станет полный водоем
Еще полней, еще нежнее.

Еще один тройственный союз в богатой подобными эпизодами истории русской литературы. Он просуществовал до самой смерти Михаила Кузмина в 1936 году.

Ольга продолжала жить отдельно, но, скорее, из-за матери Юрочки, невзлюбившей ее, чем из-за Михаила Кузмина. «Ю., бедный, спрашивал, не перестал ли я его физически любить и что в случае чего он может отказаться от Оленьки. Бедный мой», — писал в дневнике Кузмин.

И от «Оленьки» отказываться не пришлось. 49-летний Кузмин стал терпимее, а Ольга Гильдебрандт обладала куда более покладистым и уживчивым характером, чем Ольга Глебова.

Юра очень ее любил. Когда она болела дизентерией в 1925 году, брал на руки и выносил в комнату. Через год Ольга снова заболела, на этот раз скарлатиной, и ее положили в клинику. Юра навещал ее. Матери Ольги необходимо было уехать, и перед отъездом она раз-



говорила с заведующей отделением. Та успокаивала: «Вы можете ехать спокойно. Муж вашей дочери любит ее не как муж и даже не как отец — он любит ее как мать».

Только политика не оставляла их в покое.

Вскоре после знакомства с Ольгой Юркуну гадал некий известный гипнотизер. Встретил на улице, заинтересовался то ли лицом, то ли рукой и попросил зайти. Они стояли вместе в темноте перед зеркалом, гадатель за спиной у Юры, а там, словно отражения, мелькали сцены детства Юркуна, потом — юности и молодости. Все точно! Все совпадало: полузабытые пейзажи, лица людей, события. И фигура в зеркале менялась, становясь более плотной и возмужалой. Наконец, он увидел тюрьму и суд и почувствовал полное безысходное одиночество и беспомощность.

Примерно тогда же Юре был составлен гороскоп. Он говорил о «власти над толпой», любви к музыке и искусству, спасительной вере в Бога и опасности тюрьмы или изгнания. «Гороскоп готов, — записал Кузмин. — Жизнь гения и умницы с постыдными страстями. Несчастливы 7-е и 9-е годы. Слава, но нет успеха. Тюрьма. Опасности... Юр. что-то неблагоприятное выходит по гороскопу. Боже мой, когда же все это кончится».

После 1923 года Юркуна больше не публикуют. Ему 28 лет, он автор двух романов и книги рассказов. Многие авторы только начинают печататься в этом возрасте. Он — закончил.

Пытается рисовать, иллюстрирует Кузмина, делает коллажи. Входит в группу художников-графиков «Тринадцать», но принимает участие только в первой выставке группы в 1929 году.

1927 год. Кузмин с Юркуном собираются пить чай. Вдруг звонок. Это писатель и историк Лев Львович Ра-



ков, в которого Кузмин был влюблен в начале 20-х годов и посвятил ему цикл «Новый Гуль». Раков перепуган. Уводит Михаила в комнату Юрочкиной матери, шепчет на ухо:

— Меня вызывали в ГПУ и расспрашивали о вас. Кто у вас бывает, вы ли научили меня монархизму, о чем у вас говорят. И что нас связывает, кроме педерастии. Говорят, агентурный материал — толстая тетрадь!

«Я был как во сне», — записал Кузмин. Теперь понятно и отсутствие публикаций, и это «странное отхождение многих».

В 1929 году выходит его последняя книга — поэма «Форель разбивает лед».

1931 год. Ночь с 13-го на 14 сентября. Снова обыск. Большинство рисунков и коллажей Юркуна изымает ЛенОГПУ, и они пропадают. «Чего от него хотят? — возмущается Кузмин. — Чтоб он морально умер? физически зачах? И так он уже почти не пишет. Нашел обход рисование, и тут удар... Сердце обливается кровью, когда у Юр. спрашивают про его рисунки. Когда у него все отобрали, какие тут коллекции. И делать вид, что ничего не случилось!»

Что инкриминировалось Юркуну, неизвестно до сих пор. Вместе с рисунками конфисковали и три тетради дневника Кузмина. Пропали 1929–1931 годы.

На следующий день Михаил начал новую тетрадь, в которой рассказал об обыске.

31 сентября Юркуна вызвали в ГПУ и заставили подписать согласие стать осведомителем. Разглашать беседу запрещено, но Юрий начинает вести себя странно, словно безумный. Кузмин пытается выяснить, в чем дело, но Юркун признается только 4 ноября.

Михаил едет в Москву хлопотать об освобождении от обязательств. Бросается к Лиле Брик, которая дружна не только с литераторами, но и с чекистами, потом к



председателю ОГПУ Менжинскому, с которым он когда-то вместе дебютировал в «Зеленом сборнике стихов и прозы». И добивается своего.

Политика бьет рядом, пока промахиваясь. Арестовывают и высылают друзей: Хармса, Введенского, Бахтерева.

Кузмин и сам почти не печатается. Зарабатывает переводами Шекспира, Апулея, Мольера и Сервантеса для издательства «Академия» и тихонько сетует на столь «скандальное» свое использование. И денег как всегда не хватает. Чтобы поправить положение, он пытается продать свой архив, что ему и удается. В конце 1933 года дневники Кузмина покупает Гослитмузей и выплачивает ему огромную по тем временам сумму — двадцать тысяч рублей.

Уже 1 февраля 1934 года архив Кузмина запросил к себе «для изучения» секретно-политический отдел ОГПУ.

Кузмина потом упрекали в невольном убийстве многих, упоминавшихся в дневнике, проданном государственному учреждению. Это не совсем справедливо. Аполитичный Кузмин практически не писал о политике. А отсутствие статьи об ответственности за гомосексуализм было предметом гордости советской юриспруденции. Мог ли он предугадать всю опасность того, что делает?

17 декабря 1933 года Кузмин получил деньги за архив и послал расписки. «Дошло все благополучно, — писал он, — хотя почтовое отделение и было потрясено, и мы ходили дважды с чемоданами получать мои тысячи, как в старом кино «Ограбление Виргинской почты»».

В тот же день? 17 декабря 1933 года ВЦИК принял постановление об уголовном преследовании гомосексуалистов. Случайное ли совпадение? Словно ждали, когда он получит деньги, и сделку невозможно будет аннулировать!



В январе 1934 года начались массовые аресты. А 7 марта соответствующая статья, предусматривающая лишение свободы до 5–8 лет была внесена в Уголовный кодекс. И закон обрел невозможную для нормального законодательства обратную силу. То есть людей сначала арестовали, а потом ввели статью.

Политика в грязных сапогах уже вошла в дом и норовит лечь в их постель. Но Бог пока хранит. «У меня (вероятно, за старостию лет) обошлось в этом отношении благополучно», — записал Кузмин.

В 1934 году Кузмину поставили диагноз «грудная жаба» и обещали не более двух лет жизни. Он умер 1 марта 1936 года в больнице с символичным названием «В память жертв революции». «Михаил Алексеевич умер исключительно гармонически всему своему существу: легко, изящно, весело, почти празднично, — писал Юркун. — Он четыре часа в день первого марта разговаривал со мной о самых непринужденных и легких вещах; о балете больше всего».

«Смерть была для него избавлением от страданий», — сказал он на похоронах.

Мать Юркуна стала наследницей Кузмина «по праву иждивенчества», а Юрий — душеприказчиком. Это случилось в конце апреля 1936 года.

Они еще пережили 1937-й.

Юркун был арестован в ночь с 3 на 4 февраля 1938 года по так называемому писательскому делу. Незадолго до смерти, органы ГПУ наконец-то признали его настоящим писателем, и он оказался в компании Бенедикта Лившица, Заболоцкого, Корнилова, Стенича и Зоргенфрея. Всего по делу проходило 75 человек.

«Допросы начинались ночью, когда весь многоэтажный застенок на Литейном проспекте озарялся сотнями огней, и сотни сержантов, лейтенантов и капитанов гос-



безопасности вместе со своими подручными приступали к очередной работе, — вспоминал Николай Заболоцкий в книге «История моего заключения». — Огромный каменный двор здания, куда выходили открытые окна кабинетов, наполнялся стонами и душераздирающими воплями избиваемых людей... Часто, чтобы заглушить эти вопли, во дворе ставили тяжелые грузовики с работающими моторами».

20 сентября 1938 года Юрий Юркун «за участие в антисоветской правотроцкистской и диверсионно-вредительской организации» был приговорен к расстрелу. Приговор был немедленно приведен в исполнение, то есть в ночь на 21-е. Вряд ли, не менее аполитичный, чем его любовник и покровитель, «милый Юрочка» умел отличить правого троцкиста от левого.

Родственникам сообщили о высылке с конфискацией. Пресловутые «десять лет без права переписки». Конфискацию проводили 8 октября. Были изъяты рукописи Юркуна и принадлежащие ему архивы Кузмина. Говорят, часть рукописей вывалилась на лестнице из порвавшегося мешка, была подобрана дворником и возвращена Ольге, чтобы потом погибнуть в блокаду.

Февраль 1946-го. Юрия Юркуна нет в живых почти восемь лет.

Ольга пишет ему письмо:

«Юрочка мой, пишу Вам, потому что думаю, что долго не проживу. Я люблю Вас, верила в Вас и ждала Вас — много лет. Теперь силы мои иссякли. Я больше не жду нашей встречи. Больше всего я хочу узнать, что Вы живы — и умереть. Будьте счастливы. Постарайтесь добиться славы. Вспоминайте меня...

Я думала о Вас все время. Я боялась и запретила воображать себе реальную жизнь, реальную встречу. Но я молилась о Вас, вспоминая Ваше гадание — и свой, и Ваш



гороскопы, — меня утешали друзья, верившие в Вас и Вашу внутреннюю силу, — и готовилась к встрече, не думая о ней. Мама продала пианино и купила для Вас отрез Вашего любимого коричневого оттенка. Я перештопала все Ваши носки и накупила новых: целый чемодан. Картон для кепок. Купила для Вас чудный темно-красный плед... Синюю пижаму... Мама сварила варенье: черную смородину и ананас...»

И тут же о том, как всех забирали, как стояли в тюрьмах в очередях, кто умер в заключении, кто повесился, кто погиб.

«Я видала сны про Вас (или, вернее, про человека с именем Иосиф) и про смерть, и про кладбище — когда он умер, я утешала себя тем, что другой Иосиф умер вместо Вас, — а похоронили его как раз там, где мне приснилось (а я даже не знала, что там есть кладбище)».

Он похоронен на Левашевской пустоши, вместе с другими расстрелянными в 1937–1938 годах. Это ли место видела она во сне?

«Сейчас у меня нет никого и ничего. Никаких надежд и даже никаких желаний. Рисовать я больше не могу. Без Вас исчез мой талант».

А в блокаду погибли рукописи, дневники, рисунки, письма...

Все потеряно, и жизнь прожита напрасно, и душа отлетает во сне и стонет ночами над Левашевской пустошью...

Ольга Гильдебрандт не покончила самоубийством тогда в 1946-м и дожила до реабилитации Юркуна. В 1957 году протоколы его допросов были признаны сфальсифицированными.

Последние рыцари и шуты, коломбины и пьеро Серебряного века еще доживали в эмиграции (много



Секс в эпоху декаданса

реже — в России), но «прекрасная эпоха» умерла, расстрелянная в революцию, перебитая в Гражданскую, погибшая от тифа и голода и утопленная в крови в 37-м. Окончилась феерическая пьеса с труппой: то нищей, то изысканной, то экстравагантной, с богемными ресторанами, Шабли и ризотто, мистическими видениями, формулами розенкрейцеров и тяжелыми перстнями на тонких пальцах.

И занавес опустился.

Содержание

Предисловие	5
Бодлер	7
Верлен и Рембо	31
История негоцианта Рембо	74
История поэта Верлена и его женщин (а также мужчин)	83
Оскар Уайльд — сбывшиеся пророчества	100
Гиппиус и Мережковский	154
«Башня»	186
Михаил Кузмин — литератор	231
Михаил Кузмин — человек театра	260
История Юрочки Юркуна	303

Олег Волховский

Секс в эпоху декаданса

Пряные ночи

Издатель *Т. Бушева*

Редактор *О. Водовозова*

Оформление обложки *В. Ковригиной*

Технический редактор *В. Ерофеев*

Верстка *С. Чорненького*

Корректор *Т. Шальнева*

Подписано в печать 30.09.08. Формат 84 x 108 1/16.

Тираж 4000 экз. Заказ № 2965.

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2; 953000 – книги, брошюры

ЗАО «Издательский дом «Гелеос»

115093, Москва, Партийный переулок, 1

Тел.: (495) 785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972

www.geleos.ru

ЗАО «Читатель»

115093, Москва, Партийный переулок, 1

Тел.: (495) 785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972

ООО «Нью Лайн Продакшн»

115093, Москва, Партийный переулок, 1

Тел.: (495) 785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972

Отпечатано в ОАО «Рыбинский Дом печати»

152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

пряные НОЧИ

СЕКС В ЭПОХУ ДЕКАДАНСА

*В сущности, вся человеческая
и мировая деятельность сводится к Эросу, нет больше ни этики,
ни эстетики — обе сводятся к эротике.*

Вячеслав Иванов

ОНИ ЗДЕСЬ.

Злой подросток Артюр с неизменной трубкой в зубах, вонзающий нож в кисть Верлена, возвышенного поэта, раба абсента, сбежавшего от жены с любовником. Денди и аристократ Шарль, уверенный в собственном превосходстве лишь тогда, когда совокупляется с худшими из проституток, ощущает себя не любовником, а хирургом или палачом.

Рыжеволосая и нежная красавица с хризолитовыми глазами, святая дева Зинаида Гиппиус, смеющаяся над своей славой гермафродита.

Серебряная влюбленность Дмитрия Мережковского — Ольга Флоренская.

Так похожая на египетскую царицу Таиах Маргарита Сабашникова — ангельская жена вечного девственника Макса Волошина. Непреодолимо прелестная Елизавета Дмитриева-Черубина — звонкая страсть Гумилева. Михаил Кузмин с незабываемой греческой головой и похотливыми глазами, похожий то ли на Казанову, то ли на Калиостро, то ли на гробовой труп раскрашенной проститутки. А с Кузминым, конечно, Юрочка Юркун — его прекрасный Дориан, нежный Иосиф и взбалмошный Рембо...

ОНИ ЗДЕСЬ.

Со своими роковыми влюбленностями, страстями, тайнами...

Секс в эпоху декаданса: пряные ночи (1488)
Одесса "Свиридова"
бульв. Новосельского, 60
тел: 726-81-33

821323298

Цена: 85.30 грн

911785818915517>

www.geleos.ru